

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

С. В. Прожогина

ВЗЯТИЕ СЛОВА

(о творчестве марокканца Тахара Бенджеллуна)

Москва

ИВ РАН

-2022-

ББК 83.3. (6Ал + 6Ту + 6Мар)
П 80

Ответственный редактор:

Н. А. Ксенофонтова, к.и.н., Институт Африки РАН.

Рецензенты:

Е. Л. Скворцова, д.ф.н., ИВРАН.

Н. Д. Ляховская, д.филолог.н., ИМЛИ РАН.

Утверждено к печати

*Издательской комиссией Ученого совета
Института востоковедения РАН*

С.В. Прожогина

П 80 Взятие слова (о творчестве марокканца Тахира Бенджелуна) /Отв. ред. Н. А. Ксенофонтова, Ин-т востоковедения РАН. – М.:ИВ РАН, 2022.– 364 с.

ISBN 978-5-907384-96-5

Книга посвящена творчеству знаменитого марокканца Тахира Бенджелуна, создавшего значительные образцы поэзии и прозы магрибинской франкоязычной литературы XX–XXI вв. и социопсихологических произведений, запечатлевших глубину и остроту проблем североафриканской эмиграции на Западе. Образы родной страны — Марокко — воссозданные в причудливом сплаве реальности и фантазии, портреты современников, испытывающих груз традиций Прошлого и страдающих от гнета резких противоречий и социальных контрастов окружающей реальности Настоящего, но видящих и необходимость прорыва «из мрака к свету», открытость Будущему, — в основе и смысле «взятия слова» человеком, живущим в нелегкое время смены эпох — от крушения колониальной к строительству Независимости, понимаемой им как свобода и справедливость. Во имя этого поэт, писатель, публицист, педагог, переводчик современной арабской прозы, лауреат многих престижных литературных премий Франции, Италии, Бельгии, Германии, Японии, переведенный на многие языки мира, в том числе и на русский, Тахар Бенджелун неустанно трудится, всегда посвящая свое творчество родной стране, заботясь только о правде.

Наблюдения автора книги, начиная с 60-х гг. XX в. по настоящее время, помогут широкому кругу интересующихся культурой и современной историей Марокко расширить горизонты знания о возможностях художников слова запечатлеть образы мира, их окружающего.

ISBN 978-5-907384-96-5

© ФГБУН ИВ РАН, 2022

© С.В. Прожогина, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

К Читателю	5
Глава I. Романтизм воображаемого и реализм совершаю- щегося	9
Глава II. Оковы настоящего и цепи прошлого	74
Глава III. Всполохи современности	169
Послесловие	268
Приложение	277
Список произведений Т. Бенджеллуна	356
Заключение (на русском, французском и англий- ском языках).....	358
Об авторе	360

**«Моя жизнь исполнена
тоской по родной стране»**

Тахар Бенджеллун

*Не всё подвластно литературе.
Многое осталось невысказанным.*

Тахар Бендж еллун

К ЧИТАТЕЛЮ

Имя марокканца Тахара Бенджеллуна сегодня безусловно значимо для мирового литературного процесса. Его творчество переведено на разные языки, в том числе и на русский, и он — лауреат многих престижных литературных премий как в странах Европы, так и Азии. Во Франции это была Гонкуровская за его роман «Святая ночь» в 1987 г. Но Т. Бенджуллун известен не только как прозаик, но и публицист, и социолог, и журналист, умеющий откликнуться на события в горячих точках планеты, и как поэт, и именно с поэзии и началось его творчество еще в 1960-х годах XX века. В недавно изданном во Франции собрании его сочинений опубликованы и его домашние записи ранних юношеских стихов и его рисунки. И я решилась как бы в ответ на это издание предложить Читателю свою точку зрения на последовательность этапов эволюции творчества писателя в том способе изучения, когда акцентируются в хронологической череде его произведений те, которые, на мой взгляд, особо значимы в наши дни.

В названии этой книги — слова самого Тахара Бенджеллуна из его поэтической книги «Харруда». В его родной стране, когда он начал писать, «взятие слова» для выражения Правды — и об окружающей жизни, и о стремлениях народа — было делом нелегким. Но уже тогда еще молодой человек, преодолевавший свой собственный недуг, — он

долго был прикован к постели тяжелой болезнью, — начал писать свои романтические стихи, наследуя творчеству своих предшественников — поэтов и прозаиков Марокко, основоположников новейшей литературы в этой стране, выросших, естественно, не только на ее богатых традициях словесности, но и образцах западной литературы, создавших особые образцы и гражданской, и патриотической лирики в эпоху национально-освободительного движения против колониализма, и яркие повествования, исполненные надежды на «окончательный разрыв» с Прошлым.¹

Одним из первых марокканцев — предшественников Т. Бенджеллуна был замечательный прозаик Дрис Шрайби. Его «взятие слова» исполнено надежды на то, что Прошлое уже ушло (роман так и назывался «*Le passé simple*», 1954) и было временем не только избавления от колониальной эпохи, но и от догм религии и звучало как уверенность в торжестве Цивилизации, которая виделась писателю поначалу в облике Запада. Но в родной стране роман писателя был сразу же запрещен. Дрис Шрайби покинул Марокко. Живя на Западе, хотя в последнее время и на далеком маленьком острове в Атлантическом океане, но имея долгий опыт знакомства с «ценностями западной цивилизации», он был глубоко разочарован их подражательным усвоением на своей далекой родине, контакты с которой не прерывались после его гражданской и художественной «реабилитации», когда Дрис Шрайби был уже повсюду признанным писателем после выхода в свет его многочисленных произведений и о Марокко, и о Западе.² На исходе 1990-х и в начале XX века Дрис Шрайби пишет серию ярких и одновременно горьких романов о родной стране, и один из них назывался «Место под солнцем», где в гротескной форме изображен «новый марокканец», чиновник, в худшей форме усвоив-

¹ См. подр. об этом в «Истории национальных литератур стран Магриба». Колл. авт. М.: Наука, 1993.

² О творчестве Д. Шрайби см. подр. мою работу «Дрис Шрайби, или Новое время в литературе Марокко. М., 1986 (премия изд-ва «Наука»).

ший «привычки Запада», искоренявшие все способы проявления недовольства народа, пытавшегося всеми силами еще как-то сохранить свою самобытность.

В зальтом солнцем прекрасном краю земли — Марокко — это особая проблема. Но это — правда жизни. У Тахара Бенджеллуна она, эта правда, по-своему интерпретирует и «прогресс», и «своеобразие», и необходимость порой освоения и того, и другого. Писатель в начале 2000-х годов даже показал миру свою страну в образе «ослепительного торжества мрака», порой наступающего после отнятия у нее ее вечной надежды видеть Свет, сияющий в небе и манящий вперед. Книга его так и называлась — «Это ослепительное отсутствие света» (*Cette aveuglante absence de la lumière*. Р., 2001) наделала много шума, вызвала бурю волнений в стране, но не была запрещена. Ведь она была создана писателем как бы по мотивам дневника одного известного тюремного узника, да к тому же уже повсюду были известны и подлинные события, запечатленные в биографических книгах Малики Уфкир, дочери мятежного генерала, поднявшего бунт против королевской власти, приговоренного к расстрелу, чья семья провела на каторге в Сахаре восемнадцать лет, совершила побег и со временем перебралась на Запад.³

Свое «место под Солнцем» Тахар Бенджелддун счастливо для своей судьбы имеет и у себя на родине, и во Франции, где в свое время учился, преподавал социопсихологию, где живет его большая семья и четверо детей, и где охотно публикуют все его произведения, будь они о Северной Африке, или жизни на Западе. И не только потому, что он художник слова весьма удивительный сочетанием в нем и воображения, и реальности, но именно потому, что он действительно пишет правду. Но как было бы возможно не издать во Франции яркий публицистический памфлет, од-

³ См. подр в наших работах: «Магрибинки рассказывают...». М., 2020; «Время не жить и Время не умирать». М., 2021.

новременно имеющий черты и глубокого социопсихологического анализа о «Французском гостеприимстве» (1974)? Республика не может скрыть правды. Ведь здесь североафриканским эмигрантам, а о них идет речь в книге, действительно выпала доля оставаться навсегда на обретенной новой земле, обещавшей когда-то Свободу Равенство и Братство, людьми «второсортными», несмотря на постоянную востребованность рабочей силы в этой стране. Или, как можно было не издать его романы о том, как живет его родное Марокко в реальности, хотя происходящее в его романах 1980–1990-х годов весьма насыщено метафоричностью и даже символичностью? Эта страна издавна интересуется французов. Также как невозможно было и не публиковать и не знакомить мир с его удивительной журналистской новеллистикой (впоследствии собранной в книге «Страна на нервах» (2017), повествующей не только читателю газет и журналов, но и художественных книг о политической ситуации сегодня и на Западе, и на Востоке. Французский язык, несомненно, позволяет сделать это быстрее и объемнее, чем если бы это всё было написано Т. Бенджеллуном только по-арабски, хотя и на этот язык писатель давно переведен.

Может быть, моему Читателю будет интересно познакомиться с примерами и моими характеристиками творчества этого яркого представителя франкоязычной литературы магрибинцев, взявших за перо еще в эпоху, предшествующую отвоєванию независимости для своих стран. Мне знакомо Марокко, а потому мне кажется, что в произведениях Т. Бенджеллуна есть и настоящее дыхание, и голос его родной страны. И слышались мне даже в нем звуки надежды поэта-средиземноморца на то, что «морская соль» разъест, наконец, «цепи рабства», и человечество будет свободно от любой несправедливости в миропорядке.

Глава I

РОМАНТИЗМ ВООБРАЖАЕМОГО И РЕАЛИЗМ СОВЕРШАЮЩЕГОСЯ

*Земля моя, ты вселялась
В сердце мое и тело,
И подарила голос,
Чтоб твое молчание пело...*

Луис Сернуда

Мое знакомство с творчеством Тахара Бенджеллуна началось еще в 60-е годы XX века, когда мне посчастливилось увидеть в Марокко поэтический альманах «Суффль» («Веяния»), где печатались тогда многие начинавшие свою жизнь в литературе молодые таланты, решившие, что в стране после прихода к власти нового короля Хасана II подул ветер перемен и социальных, и политических, принеся надежду на демократические реформы, на свершение идеалов независимости и свободы. Новый монарх был молод, весьма образован, говорил на многих языках, и хотя носил традиционное одеяние — белые галабею, бабуши и темно-красную феску, казался человеком вполне светским, часто заявляя, что его народ выйдет на дорогу Прогресса. И даже однажды в интервью моему мужу с улыбкой сказал, что «будет строить социализм»...

Пристальное внимание к жизни освободившейся от колониализма страны, ко всем ее противоречиям и контрастам, ощущение своей причастности к истории народа, страдающего от новым форм духовного и социального гнета, рождало у марокканской интеллигенции, поэтов и писа-

телей в частности, то мироощущение, в котором обозначились со временем и горькое их разочарование, и бунтарское неприятие существующего миропорядка, и бескомпромиссное стремление изменить и перестроить его. Поэты были в авангарде — это особое свойство любой эпохи перемен.

Тахар Бенджеллун (род. в 1944 г.) — яркий представитель той молодой поэзии Марокко, которая¹ вместе с М. Лахбаби, А. Лааби, М. Ниссабури и А. Тлатли была начинателем поэтического движения, сформировавшегося вокруг журнала «Суффль». Там и публиковал свои стихи, которые в 1971 г. собрал в свою первую книгу и назвал ее «Люди под саваном молчания»². Одна из тем этой книги — трагическая обреченность североафриканцев, уехавших в Европу в поисках работы, безысходная нужда мытарства людей, вынужденных далеко за морем искать кусок хлеба для себя и для своих детей, станет в 70-е годы ведущей в творчестве Бенджеллуну, но и здесь она — особенная: гражданским пафосом проникнуты стихи поэта, в которых звучат боль и гнев тех, кто испытал на себе «приманки» капиталистического «рая», кто сполна ощутил все ужасы бездны, пролегшей между мечтой и действительностью:

*Товарищ, сделали ль тебе прививку
От всех болезней и от всех несчастий?
Сумеешь ли ты охранить себя от передраг и бед
И сердце заковать свое в оковы,
Чтобы отдать всю кровь свою, Свой голос, тело
Во имя процветанья чьей-то индустрии?
Ты нужен им, как ящик апельсинов,
Картонная коробка для консервов,
Ты нужен им безликий,
И без взгляда, фамилии,
Без чувств, без мыслей,*

¹ Подр. о ней — в «Истории национальных литератур стран Магриба». М., 1993.

² Ben Jelloun T. Hommes sous linceul de silence. Casablanca, Atlantes, 1971.

*И без семьи, конечно.
Как сила грубая, ты нужен,
Как цифра голая,
И как бульдозер, как подъемный кран,
Нужны твои мозолистые руки, стальные руки,
Которыми они торгуют, как простым товаром...*³

Когда-то Д. Шрайби в романе «Козлы» уже нарисовал страшную картину жизни североафриканцев во Франции⁴. Книга его еще раз заклеимила те преступления, которые были прямым следствием колониализма: расовую ненависть, животное отвращение к людям «второго сорта» — арабам и «чернокожим», всем тем, кого в общей системе капиталистических отношений рассматривали лишь как «рабочую скотину», используя на самой грязной и черной работе. Алжирец Рашид Буджедра тоже со временем продолжил и развил эту тему⁵, а Бенджеллун разработал ее позднее «вглубь», вскрыв сам механизм социально-психологического «отчуждения» иммигрантов, причем сделал это не только в художественной форме отображения, но и на уровне научного обобщения фактов. В 70-е годы писатель несколько лет проработал в Париже в Центре медико-психологических проблем, связанных с положением трудящихся-иммигрантов во Франции. Три года подряд он выслушивал «исповеди» своих соотечественников, которые рассказывали ему обо всех перипетиях своей злосчастной судьбы: «Ты — брат, ты нас поймешь...». Они рассказывали ему о своем одиночестве, о жизни, полной лишений, болезней, страданий. О жизни тех, кого оторвала от родины и от семей теснившая и угнетавшая нищета («не хуже прежнего колониализма»), тех, кто на Западе обрел новые цепи бесправия, угнетения, издевательств и обманов.

³ Ibid., p. 5.

⁴ О творчестве этого зачинателя современной марокканской литературы см. подр. нашу работу «Дрис Шрайби, или Новое время в литературе Марокко». М., 1986.

⁵ Boudjedra R. La topographie idéale pour une agression caractérisée. P., 1978.

Это были люди, чье существование нельзя было даже назвать человеческим — они жили «хуже зверей», отказывая себе во всем, чтобы послать на родину жалкие, заработанные тяжким трудом гроши. Жили, превратившись в «автоматы», без чувств, без желаний, без надежд, «отброшенные», презируемые обществом, где царил закон эксплуатации человека человеком.

О жизни этих «несуществ», которых повсюду именуют лишь одной кличкой: «грязный араб», «бико», — Бенджеллун напишет не только стихи, но и повесть «Одинокое заключение» (1976)⁶, и социально-психологическое эссе «Самое глубокое одиночество (1977)»⁷. (Исследованию проблем, связанных с положением трудящихся-иммигрантов, будет посвящена и докторская диссертация Бенджеллуна.) Книги эти — еще один документ, свидетельствующий о бесправии и бесчеловечности порядков, царящих там, где идет ничем не прикрытая эксплуатация людей, нуждающихся в куске хлеба.

*— Материальную нищету, — писал Бенджеллун, — можно констатировать, описать, даже измерить. Но чем измерить всю глубину отчаяния, которым полна душа этих людей, обреченных на изоляцию в обществе, питающемся их кровью и одновременно обвиняющем их во всех тяжких грехах?*⁸

Обозреватель французской газеты «Монд» после выхода в свет эссе Бенджеллуна «Самое глубокое одиночество» написал о том, что поведать миру с такой силой правды о жизни иммигрантов, рассказать о боли их души мог только «один из тех, кто принадлежит этому народу, кто знает их язык и нравы, обычаи и традиции, кто мог услышать и соощутить с ними то, что недоступно, скрыто от взора других». И марокканец Бенджеллун смог запечатлеть эту тра-

⁶ Ben Jelloun T. La réclusion solitaire. P., 1976.

⁷ Ben Jelloun T. La plus haute des solitudes. P., 1977.

⁸ «Монд», 18–19.IX.1977.

гическую бессмысленность пути из мира, претерпевшего колониальное порабощение и долго несшего на себе его следы, в мир другого рабства, где разрушалась уже сама человеческая природа, личность, где посягали не на недра страны, а на недра человеческой души.

Но возвращаясь назад, к стихам Бенджеллуна 60–70-х годов из его «тетради» — так он назвал свою первую книгу — «Люди под саваном молчания», к его поэтическому творчеству, которое являлось тогда доминирующим в процессе освоения и осмысления им окружающей действительности, мы вместе с поэтом вернемся в ту, одну из красивейших в мире, страну, с которой были вынуждены расстаться обреченные и там на бесправие, «обреченные на молчание» люди. Молчание, подобное тому, которое царит в «одиночной камере», молчание «слепоглохлого» общества, чужого, отчуждающего, обрекающего на «самое глубокое одиночество». Молчание, подобное могильному, «саваном наброшенное» на этих изгнанных из жизни людей, саваном скрывающим, «умалчивающим» об их несчастьях и болях, кто «терпеливо страдает и ждет». И поэт словно предупреждает о том, что вместе с этим терпением вызревает и гнев, а в горле давно «клокочет огонь ненависти». «Жаждой лучшего завтра, ощущением грядущих перемен, страстным, нетерпеливым ожиданием рассвета проникнуты стихи Бенджеллуна, обращенные и «заживо погребенным»:

*Поднятые ввысь кулаки
Прорвут саван молчания!
Люди, не ждите зари!
Размыта плотина терпенья!⁹*

«В этой тоненькой книжечке, — писала солидарная с поэтом марокканский критик З. Дауд, — поэт уместил всю свою родную страну, познакомил с подлинным ее образом,

⁹ Ben Jelloun T. Hommes sous linceul de silence, p. 51.

исполненным страданий и надежд, гнева и нежности; этот образ сказал нам больше, чем все обширные научные доклады и толстые статистические отчеты. В стихах поэта — прежде всего правдоподобие и искренность. Они волнуют сердца своей строгой и простой красотой. Это говорит Человек, и его надо слушать, потому что голос его обращен не только к марокканцам, но и ко всем, кто страдает и ждет»¹⁰.

*Люди! Слушайте меня!
Я руками своими в пыль разотру эти камни,
И кончится наша тюрьма,
И кончится ваша ссылка...*¹¹

Надо сказать, что прогрессивные марокканские критики и литераторы были тогда единодушны в своей оценке Бенджеллуна как поэта «подлинно национального». Эта подлинность понимается ими как неразрывность его поэзии с голосом его страны, с выражением ее страданий и надежд. Когда через год после выхода в свет первой книги стихов Бенджеллуна появился еще один сборник его поэзии, «Шрамы солнца»¹², Мухаммед Хайреддин, один из зачинателей «новой волны» марокканской литературы¹³ так приветствовал на страницах журнала «Жен Африк» собрата по перу: «Место действия и форма выражения? Тахару Бенджеллуну их, без сомнения, удалось правильно найти. Это — сама марокканская земля, высшая точка человеческой драмы. Для него эта драма — прежде всего нищета и невежество народа, не прекращающаяся политика издевательств над ним, гнета и несправедливости. Порядок, тысячу раз низвергнутый и тысячу раз воскрешаемый на крови тех, кто страдает и умирает. Как же обо всем этом писать стихами? Тахар Бенджеллун не занимается чистой эстети-

¹⁰ «Жен Африк», № 553, с. 46.

¹¹ Ben Jelloun T. Hommes sous linceul de silence, p. 11.

¹² Ben Jelloun Tahar. Cicatrices du soleil. P., Maspero, 1972.

¹³ О нем подр. см. в нашей работе «Марокканский ноктюрн». М., 2015 и др.

кой. Он просто пишет саму суть. Он сам родом из этих мест и этого пространства и времени... В "Шрамах солнца" дышит сам народ, угнетенный, страдающий, но не смирившийся с позором, в который его повергли. Народ, не считающий свои раны, но осознающий свою судьбу и свое предназначение... В книге его сама жизнь Марокко, его будни, вековые традиции и сегодняшняя поступь. Тахар Бенджеллун хорошо знает родную землю, которой вскормлен. И он воссоздает ее образ для читателя с редкостной силой и искренней, светлой яростью...»¹⁴.

Ранние стихи поэта, опубликованные в первых номерах «Суффль», и те, что объединены в поэтических тетрадах «Люди под саваном молчания» (1971), и «Шрамы солнца» (1973), поэма «Монолог верблюда» (1974) и новые его стихи и новеллы вошли в сборник «Миндальные деревья умерли от ран»¹⁵. Практически он был антологией поэтического творчества Бенджеллуна тех лет, по которой можно было судить об эволюции его эстетических и социальных воззрений. Характерно, что эволюция эта, укладывающаяся в отрезок времени, равный десяти годам, прослеживается в «спиральной» хронологии произведений, вошедших в сборник, структура которого зависит не от движения от раннего к позднему, а от логики развития основной, организующей книгу мысли. Поэтому стихи последних лет как бы возвращаются к стихам прежним, находят в них свою опору, перекликаются с ними, темы и образы ранних произведений разрабатываются, усложняются, развиваются, приобретая новые качества. И главным элементом композиции антологии становится, таким образом, не временная, хронологическая последовательность системы художественных образов, а внутренняя закономерность, организующая поэтическое пространство книги так, чтобы зримее и ярче обозначились основные слагаемые творчества поэта в

¹⁴ «Жен Африк», № 553, с. 46.

¹⁵ Ben Jelloun T. Les amandiers sont morts de leurs blessures. P., 1976.

целом. И общая тональность звучания этой книги обнаруживается именно в этой закономерности чередования старого и нового.

Глубокий лиризм, пронизывающий все входящие в сборник произведения, их определенная, «заданная» ритмика, всегда очевидная метафоричность, контрастность образов и интонаций позволяют отнести весь цикл к жанру поэзии. Этому не противоречит и вкрапление в него небольших новелл, по форме своей несомненно ближе всего стоящих к поэмам в прозе. Чередуясь с верлибром других жанров (элегий, песен, лирических миниатюр и монологов), они создают в целом тот особый стиль, многоголосие которого поддерживается и организуется их внутренним единством.

Светло-печальным вступительным аккордом, своеобразным зачином книги является поэтическое «Письмо» о «тихом» и «радостном» уходе из жизни старой женщины, который трудно даже назвать смертью — так он похож на *вознесение* к заветной цели к вечному приюту на легких крыльях мечты о где-то существующем счастье... Она не «отошла», но «отлетела», и благоухающий саван ее был украшен звездами и розами. «Умереть как она» — так называется этот короткий рассказ. «Пусть придет смерть, но лучше голубая, как цвета пепла», — так звучат его заключительные слова. И как бы в трагический диссонанс с ними врываются строки другого письма, с «обожженной» и «растерзанной» земли Палестины¹⁶, где смерть имеет цвет и запах пожарищ: «Я видел, как заржавленные от крови земли зубья машины посыпались на груды песка. Ветер унес вывороченные ею корни. Раненные в саму свою землю, убитые участью своих деревьев, мы стояли застыв, и ужас смерти сковал нас». Миндальные деревья умирали от ран... И над головой уже не плыла тихая музыка лазури: свинцо-

¹⁶ Которую многие поэты земли называли когда-то «землей, где зацветает миндаль», — вспомним, к примеру, А. Вертинского.

вый саван «лживого неба», смятого «дряхлой рукой», поднявшейся из пепла», навис над землей. Голубое становится пепельным, розовое — кроваво-красным, зеленое — серым, когда смерть — не избавление, а насилие, когда надежда, едва успев расцвести, «осыпается», как крона сломленных, раненых деревьев. «Сколько же крови в этой серой земле, сколько олив умирает с холодным рассветом...»

Резкое противопоставление, синкопирование образов и тем характерно для поэзии Бенджеллуна. Так, в плавную, кантиленную, слегка окрашенную мотивами щемящей грусти мелодию «Поэм о любви» (о девушках из марокканского Тетуана, «неслышных», целомудренных и скромных, как «белые голубки», неторопливых и сдержанных в привычном одиночестве и «забвении», «журчащем, как ручей» в светлом и тихом городе; о девушках из «международного» Танжера — «сообщницах ветра и ночи», живущих в «ракушках нежности на берегу моря», чье назначение — «рассеивать мрак и утолять жажду») постоянно вторгаются ноты сострадания и гнева. И тогда интимная лирика становится гражданской, а мотивы социальные, обличающие бесправие женщин, удел которых — «терпеть и смиряться», заглушают и саму мелодию песни любви.

Контрастирующие элементы поэзии Бенджеллуна иногда сливаются, и тогда звучит строгий, вполне уже в середине 70-х годов подытоживающий аккорд, как синтез раздумий поэта о назначении своего ремесла: *«Нет, Орфей, ты больше не можешь петь о любви. Ветры пропели тебе о горькой свободе, о жизни без завтра».*

Так, словно упав «с небес на землю», сразу настроившись на волну жестокой действительности, поэзия Бенджеллуна подводит читателя к первоисточкам этого диссонанса.

*Пусть мой народ меня простит...
Я врежусь в раны памяти его
И в плоть его, которая молчит,*

*И вместе мы расскажем о весне...
О том, как сеяли надежду мы в полях
И видели, как ввысь поднимутся деревья-исполины,
Взметнутся сотни тысяч рук,
Готовых прямо к солнцу
Поднять и донести свою страну...
Мы верили в алмазную зарю и забывали,
Что может свет зачать иную жизнь...¹⁷*

Глубоко ощущая свою нерасторжимую связь с родной землей, поэт особенно остро чувствует горечь утраченных иллюзий, связанных с трудностями построения новой жизни в стране, обретшей независимость. Желанная свобода пришла, но остался груз прежней социальной несправедливости, и возникли оковы нового гнета, и стала еще более нестерпимой «нищета и бесправие трудового народа», когда-то отстаивавшего родину в борьбе с колониализмом. Новая цепочка казней патриотов, расстрелы антимонархических демонстраций, переполненные тюрьмы, интриги и политические козни королевского двора, попытки дворцовых переворотов «сверху», после которых усиливаются репрессии по отношению к народу...

*Странное царство,
Где правоверные пять раз на дню
К небу молитвы свои обращают,
Где современность обрушилась вдруг
И пробудилась с силой внезапной
И где растерзана, растоптана жестоко
Революционная мечта...¹⁸*

Все это становится источником такого мироощущения, когда в реальной действительности резче и острее видится тень, а не свет, боль, а не радость, когда поэзия сама рож-

¹⁷ Ben Jelloun T. Les amandiers sont morts de leurs blessures, p. 83.

¹⁸ Ibid., p. 20.

дается из человеческих мук, исторгнутая гневом и горем народа:

*Слова рождались из растерзанной земли
И прятали лучи печальными и длинными руками,
И стыд укутывал нас в ткань из глины красной,
И траур белым саваном ложился на пустынный день...*¹⁹

Генезис поэзии определял и ее тематику, образную ткань. Причем поэтическим материалом Бенджеллуну не всегда служит родная страна, это может быть и земля Палестины, и холодный приют Франции, куда ценой унижений и издевательств, получив паспорт, уезжают до сих пор на заработки эмигранты, не найдя у себя на родине работу. В «параллельных» образах, созвучных той реальности, которая перед глазами, резче слышится и своя боль, четче проступают, открывшись взору, горизонты тех несчастий, о которых у себя на родине поэт не всегда мог, как и другие, говорить в полный голос. Этот голос становится иногда то шумом морского прибоя, то грохотом ливня, то плачем детей, то лязгом и скрежетом металла, то жалобой царя пустыни — верблюда... Но главным было не дать народу «уснуть», не дать «савану смерти укрыть его память», памяти — не дать «завянуть», забыть о прошлом, когда еще была живы надежда и мечта.

В стихотворении «Разбитая память» возникает образ человека, подбирающего осколки упавшей звезды — «маленькие осколки неба», надежды, которые должны зажечь людей изнутри, как огонь «светила, сжатого в сердце». Поэт страшится «оцепенения» народа, глубоко упрятавшего свою мечту, которая теперь «течет слезами по улицам пустынным». Эта метафора, пришедшая в поэзию Бенджеллуна из поэтики сюрреализма, призвана

¹⁹ Ibid., p. 251.

вселить почти метафизический ужас, дать почувствовать пронзительную и горькую боль обманутых надежд. Простительно ли «преступление» уличного шарлатана, кричащего о том, что «правда и розы живут под другими небесами»? Бунт слышится в обращенном к нему вопросе, крик, рвущийся из души: «Доколе будешь ты баюкать нашу память рассказом о дорогах, ведущих к игрушечному раю?!» Народ не имеет права себя хоронить, «укрывать свою спину мягкой травой иллюзий», не имеет права молчать, ибо молчание — это «саван, под которым люди — заживо погребенные». «Боль от молчания», «боль от одиночества», «боль от света безразличия, идущего от холодной звезды, в многократно повторенном рефрене «мне больно», печальной и медлительной литании, вдруг обретает иной характер в горьких и жестких строчках стиха:

*Мне больно, если день встает
И создает преграду из песка между нами,
Когда меня зовут уныло «брат мой»,
А не решительно и храбро «мой товарищ»...*²⁰

Так появляется «взорвавшийся человек» в поэзии Бенджеллуна — бунтарь²¹, не выдержавший страшных видений «мертвых рассветов», бессмысленного «вхождения и выхода» людей в автобусе, везущем их по замкнутому кругу нищеты; бедных и грязных детей, подбирающих на автобусных стоянках брошенные окурки — здесь они «сытнее», еще не успели догореть...

«Можно ли жить, отгородившись от мира, спрашивает поэт, и «липнуть к своей коже, как жевательная резинка», если «тринадцать тысяч пар детских глаз видят солнце

²⁰ Ibid., p. 253.

²¹ Многие магрибинцы-писатели изначально были в особом споре с основоположником концепции «бунтующего человека» алжирца по рождению — А. Камю. См. подр. в кн. С. Прожогойной «Алжирская сюита». М., 2014; она же. в кн.: «Regards russes sur la francophonie littéraire». P., 1997.

лишь в зеркале чужих ботинок», которые им надо чистить каждый день, «чтобы заглатывать двойными порциями свои страдания истертыми в кровь руками», им, «детям солнца», как любят говорить на Западе? Можно ли спокойно спать, слыша рыдания тех, кто оплакивает мужей и отцов, уехавших далеко от родного дома, чтобы не дать умереть с голоду своим близким?

Тема эмиграции обретает в этой книге Бенджеллуна форму и ритм народного предания. С горькой улыбкой поведает поэт о том, как человек уехал в Марсель в трюме корабля в одном из ящиков с апельсинами, увозя с собой все свое «состояние»: горсть земли, да полученный с таким трудом паспорт, да несколько бумажек денег. «Он увез с собой горсть родной земли, вдыхал ее запах и прикладывал к лицу, чтобы отогнать одиночество...» Потом он вернулся обратно, выброшенный вон «железным презрением», в «контейнере с оружием», всю дорогу питаюсь пороховой пылью...

В отличие от своего алжирского собрата по несчастью из романа Р. Буджедры «Идеальная топография для характерной агрессии» герой притчи Бенджеллуна «Кожа и камень», попав в «стальной капкан Европы», не погибает в адском лабиринте грохочущего ада метро, не остается только «живым укором» сытому и безразличному ко всему Западу, но становится «камнем, брошенным в болото ржавого равнодушия» и «жестоким чуждостью», «тысячью лиц в одном лике, возмущающем стоячие воды» этого безразличия. Так происходит столкновение двух миров в поэзии Бенджеллуна. Но ледяные глаза расиста, которые видит африканец в Европе, процеженное сквозь зубы «бико, грязный араб» — это та самая черная изнанка умильного восхищения африканской экзотикой толстосумов, приезжающих поглазеть на «планету обезьян». Это они из-за моря-океана торгуют «солнцем Марокко», его весной, его независимостью. Поэма «Планета обезьян», включенная в

книгу, — страшное обличение расизма и неоколониализма, стремящегося не только обескровить недра Марокко, но и разрушить его естественную красоту, превратить страну в «один из филиалов международного средиземноморского клуба с французским окружением»²².

Создавая цикл стихотворений, объединенных общим названием «Шрамы солнца», поэт хотел показать, что даже щедрость природы и богатство национальной культуры губительны для страны, где народ не властен распоряжаться сокровищами своей земли. Так возникает серия «портретов» городов с «вонзенным в их тела ножом» инопришельцев, высасывающих из них кровь для улады своего разгулявшегося от экзотики воображения. Городов, чья древняя культура разрушается под грубым натиском современной цивилизации.

«Города-лики», «города-очи», «города-вдовы» — каждый марокканский город неповторим в своей красоте, в своеобразной характерности. Вечно цветущий, залитый солнцем и охваченный пламенем красного померанца Мараккеш, куда собираются ежегодно миллионы туристов поглазеть на праздники берберских племен и послушать под луной длящееся часами протяжное пение «синих людей» (туарегов), удивиться их нескончаемому танцу под звону бубнов; тысячелетний Фес, красоту которого воспели все марокканские писатели и поэты, «отверженный временем» город, где история застыла на спящих в мареве солнца холмах, и в темных улочках-лабиринтах, и в душном полумраке старинных мечетей; «ворота Африки» — шумный и суетный Танжер; «пеннорожденный» город у моря — Азиллах. Все эти города в поэзии Бенджеллуна открываются не просто как лики его родной земли, как многоцветные грани ее национального характера. Они — прежде всего свидетели ее несчастий и «идеальная топография» вековой траге-

²² Ben Jelloun Tahar. Les amandiers sont morts de leurs blessures, p. 145.

дии: «Могучая рука вспорола твой живот и роется во чреве у тебя»...

Образ родной земли в стихах Бенджеллуна являлся чаще всего в своем метафорическом облике как ждущая разрешения от бремени женщина. Бремя ее — это тяжесть истории народа, «снесенного в море волной забвения», истории «красной земли», покрытой «шрамами солнца». Чтобы понять глубину этих ассоциаций, надо представить в единой цепи те разрозненные звенья ее, которые постоянно мелькали в стихах поэта: солнце — надежда — надеждой опаленная земля — угасшее светило — засохшие рубцы ожогов... Но это еще и «темные холодные лучи», как зарубцевавшиеся раны, несущие лишь «оцепенение» и страх разбедить старую боль... Этот страх сковывает, погружает в забвение. И тогда в стихах поэта возникает фантастическая картина наступающего на сушу моря, которое затопляет, поглощает город вместе с его площадями и набережными. Но странное дело: оно не повергает в священный ужас «оцепеневших» в забвении своей мечты людей, не становится символом всекарающего апокалипсиса, как страшная, разбушевавшаяся стихия в романе знаменитого алжирца М. Диба «Кто помнит о море»²³. В поэзии Бенджеллуна оно словно будоражит и освежает людей, стряхивает с них сон: «Морская соль разъела цепи». И вот пена волн «посылает в эфир свое первое коммюнике»: «Хлеба и Землю!» Недаром одно стихотворение Бенджеллуна называется «Кто помнит о красной земле». Ибо главное — память не о несчастьях, а память о той «весне, что вспыхнула когда-то на горных склонах» Рифа²⁴, память о том, что земля «ждет разрешения от бремени», от своего «томления». Вот почему в поэме «Заря на изразцах» «взрываются улицы» от «вспученных плит», разламываются от распирающей их силы, идущей

²³ О нем см. подр. в нашей работе «Обречение Авеля». М., 2020.

²⁴ О попытке революции 1925 г., совершенной берберами, восставшими в горах Рифа, см. в книгах историков Луцких Н.С. и В.Б., Ланды Р.Г. и др.

щей из глубины недр, изразцы на стенах и полах домов и мечетей, «разверзаются скалы», «плавится земля» и текут из нее мутные воды тех долгих «ненавистных лет, когда царило вековое горе». Земля мстит за саму себя и побеждает надежда.

Так «разбитая мечта» не застыла лишь в ненависти, которую хотел поэт в ранних своих стихах «выплеснуть» на пожарище «горькой свободы», не превратилась в бессмысленный протест анархиста, мечтавшего в экстазе псевдореволюционности выйти «голым на улицу во всей ортогональной истине», не заглохла в мрачных тупиках безысходности. Мечта «выпорхнула птицей» и полетела «из поэмы в поэму», открыла «окно в небо» и «остановила тучи», заставила вдов снять траур, а солнце — «заблестеть у них в глазах» («Заря на изразцах»).

Соединяя фантастическое с остросоциальным, Бенджеллун делает это слияние основным элементом своей поэтики. Причем фантастическое рождается не в произвольно совмещенных и хаотически нагроможденных ассоциациях, как это зачастую происходит у художников-сюрреалистов, но в логически оправданной, выстроенной на содержательной основе цепочке образов. И чем резче неожиданность образа, чем острее он, тем оправданнее.

В притче о верблюде (автор недаром выбирает столь «национальное» животное для своей аллегии), которого веками истязали и угнетали, пока царило «время предательского ожидания, а корни ненависти были еще зелеными», вдруг появляется ребенок. Он выходит из распоротого брюха несчастного животного, которого настиг нож палача, выходит «весь в крови, но улыбающийся и ясный». Перекидывая мостик от этой притчи к поэме «Разбитая память», в заключительных строфах которой, сквозь плотную ткань метафорических сцеплений просвечивает конкретное и земное желание «увидеть завтрашний уверенный день без ран», можно понять, с чем связана неожиданная концовка

притчи. «Должны зарю увидеть дети, зарю, встающую над их мечтою». Так мечта, надежда, вера в будущее, «где нет места боли», становятся семантическим центром всей поэзии Бенджеллуна. И этому организующему ее смысловому началу подчинена и вся поэтическая техника.

Сталкивая возвышенность и пафос одних художественных образов с заземленностью и прозаичностью других, Бенджеллун всегда стремится к естественному взаимопроникновению этих контрастирующих начал: он показывает «земные» истоки высоких идеалов и в то же время озаряет светом нежности, поэтизирует повседневность забот и простого человеческого бытия.

*У Си Абдессалама в лавке
Укус в бутылках пластиковых «Национальный»,
Мыло кусками из Мейна,
Мешки с мукой от фирмы Дрисси,
Спички лионские,
И борода его седая,
Несколько дней не бритая,
И сам он с рукой, нам навстречу протянутой,
Приветствует вас нежным и дружеским взглядом...*²⁵

Или:

*Время проходит у борта.
Песок засыпает лодку.
Старые рыбаки, бывшие муджахиддины,
Слушают, как ветер затягивает их раны...*²⁶

В переходах от насыщенных символикой стихотворений к простым и ясным произведениям в ритме народной поэзии нет различных граней периодов творчества поэта. Если в начале своего пути поэзия Бенджеллуна и отличалась известной долей усложненности, то это не значит, что

²⁵ Ben Jelloun Tahar. Les amandiers sont morts de leurs blessures, p. 64.

²⁶ Ibid., p. 68.

она становилась абсолютно «простой». «Земной» же его поэзия была всегда. Но, возможно, некоторая «зашифрованность» поэтических опытов, публиковавшихся в первых номерах «Суффль», диктовалась необходимостью своеобразной маскировки, к которой прибегали многие поэты, чтобы быть услышанными у себя в стране в условиях жесткой цензуры. Хотя «эстетика понимания» всегда была путеводной звездой молодого поэта, его прочной опорой, ибо он твердо верил в то, что когда-нибудь его стихи придут и туда, где еще не умеют читать ни на родном языке, ни по-французски: на родине поэта высокий процент неграмотности — главный барьер для поэзии «о народе».

Сложные метафоры и символы, появляющиеся и в сегодняшней стилистике поэтических произведений Бенджеллуна, дерзкие, но порой и трудноуловимые ассоциации, иногда используемые поэтом, в целом, не мешают рождению смыслового образа и даже наоборот, интонационно усиливают смысловую значимость.

Так, через метафорическую вязь слов «закат и молчание измученных камней» или «белое отсутствие, как далекая смерть /в тот день, когда светило забвения/ опустится на мокрую траву смятой памяти» — сквозь все это нагнетание трагически окрашенных образов рвется мелодия душевной боли и горя, словно сбрасывая покровы с реальности:

*Смерть кружится в легком платьице
Всегда на заре, без усталы,
Перелетая из леса в тюремные камеры,
Преображая в руины поэзию...
А мы, пять мужчин и еще тысячи,
В высокое небо кровавое
Мы посылаем проклятия,
А девочка на морском берегу стоит*

*И поит нас водой,
Затылки нам лижет пена*²⁷...²⁸

Но, взрастив древо своей поэзии на полях человеческих мук и народного гнева, поэт не давал его листве отшуметь и завянуть в душном воздухе «охваченной грозой земли». Недаром в зеленый цвет надежды окрашивается все вокруг: из «поэмы в поэму летают зеленые птицы», «зеленые камни любви летят на берег воспоминаний», «дети идут за весной, босоногие с сердцами зелеными...» И «щедрая сестра сумрачных небес» — надежда — озаряет тот торжественный ритм стихов, где точный размер и гармоническое созвучие всех ног рождают обращенное в будущее поэтическое послание, которым и завершается книга:

*Мы были скалой, разбивающей волны,
Мы были широкой рекой полноводной,
И в памяти нашей сияла весна,
Как в утреннем небе пылает заря...*²⁹

В поэзии Т. Бенджеллуна того времени, по справедливому замечанию современников, «возрождается миф о народе, тесно связанном с солнцем. Спаянном с ним кровавыми узами... За эту любовь, за этот союз ему приходится жестоко расплачиваться с прожорливыми хищниками, торгующими его страной. Книги поэта полны символов. Но в них не только критика, разоблачение. В каждом стихе, в каждой фразе — освежающий ветер, в дыхании которого — надежда на возрождение...»³⁰

Это, на наш взгляд, точное определение содержания поэтического мира Бенджеллуна, мира, который присутствует

²⁷ Намек на репрессии и казни, свирепствовавшие в стране после массовой демонстрации 1969 г.

²⁸ Ben Jelloun Tahar. Les amandiers sont morts de leurs blessures, p. 24.

²⁹ Ibid., p. 261.

³⁰ «Жен Африк», № 617, с. 46.

и в другой книге, ставшей первым его опытом освоения прозаической формы.

«Харруда»³¹, названная романом-поэмой, написана Т. Бенджеллуном в 1973 г. К этому времени уже были созданы его основные поэтические произведения. Поэтому инерционно Бенджеллун еще продолжал разрабатывать те поэтические темы, которые появились ранее в его творчестве. Даже структурно новая книга писателя несла следы предыдущего этапа: поэтические тексты сами собой вписывались в строки этого полуфантастического, полуреального «романа-поэмы». Да и необычайная, образная, метафорическая насыщенность, смелость ассоциаций, лирическая фрагментарность книги — все эти характерные черты говорили о том, что это, несомненно, проза поэта.

Задуманная как своеобразная аллегория, «Харруда» превратила традиционную для литературы магрибинцев повесть о детстве и юности в причудливых очертаний картину символического «пробуждения жизни» от векового сна колониальной ночи, высвобождения из оков гнетущих традиций, выхода к подступам, ведущим к жизни новой, к дороге правды, к определению смысла своего пути и предназначения. Последнее особо важно для Бенджеллуна, ибо рассказать о себе означает для него рассказать о Марокко, но не щедрыми, полными любви словами из «Ларчика чудес» Ахмеда Сефриуйи³², или же горькими и резкими из «Простого прошедшего» Дриса Шрайби, а теми и другими вместе, одновременно угадывающими, разгадывающими, проникающими в глубинный смысл явлений и событий и устремляющимися к заветной цели, к далекой мечте, к неясной, но манящей дали.

И тема родины, кровной привязанности к ней, олицетворение ее с мифической женщиной (подобной легендарной

³¹ Ben Jelloun Tahar. Harrouda. P., 1973.

³² О творчестве этого марокканского прозаика см. подр. в нашей работе «Современная литература Марокко и Туниса. М.: Высшая школа, 1968.

воительнице Кахине или *femme sauvage* из ранней драматургии алжирского писателя Катеба Ясина «Предки усиливают жестокость»³³) с поруганной честью, но гордой и не сломленной, имя которой и проклиналось и боготворилось, с образом которой были связаны и грезы любви и горечь разочарований, — эта тема по-новому звучит и варьируется в романе Бенджеллуна. Она «сгущается» в одновременно «низком», пугающем своим обличьем образе принадлежащей всем и в то же время овеванной легендой независимой женщины, жены великана (а этот образ характерен для фольклора берберов)³⁴, обладающей грозной, таинственной силой, притягивающей к себе, зовущей и ускользающей в небытие и внезапно возникающей как надежда, — в образе Харруды — «птицы, лона, женщины, сирены». Ей и посвящает свою книгу писатель. Но, расширив границы посвящения до «мифологических» горизонтов (птица — лono — сирена), автор тут же сужает их, замыкая это символическое посвящение другим, коротким, однако тоже исполненным многозначительного смысла: «Моей матери».

В одном из интервью после выхода книги Бенджеллуна спросили: «Для вас и морская пена, и каменная глыба, и пространство города — все превращается в женщину или же становится поводом, чтобы рассказать о ней. Может быть это наваждение?» Бенджеллун ответил, что такого рода наваждение обусловлено тем, что он потрясен положением женщины в своей стране. «А положение женщины неотделимо от условий человеческого существования вообще. И за это должны быть ответственны и история, и мы сами»³⁵. Вот почему образ Харруды, с которого начинается и которым заканчивается роман, появлением которой отмечены многие символические страницы повествования, —

³³ Kateb Yacine. *Boucherie de l'espérance*. P., 1990.

³⁴ См., напр. Farès N. *L'ogresse dans la littérature orale berbère*. P., 1994.

³⁵ «Жен Африк», № 684, с. 36.

образ, вобравший в себя так много смысла: женщина — страна — народ — история...

Харруда в романе — без возраста, без лика: она то древняя и черная, «как ночь», старуха, то прекрасная и чистая, как юная дева. В ней сокрыты глубокие бездны. Она хранительница памяти, которую не притупили грубые шрамы несчастий и бед. Памяти не tatouée (татуированной), а immaculée (нетронутой, чистой). Харруда — и синяя, «как смерть», и красная, «как гнев», и, как небо, прозрачна и чиста. В ней бушует весна и слышны раскаты моря, она как песнь на заре, как миг, как радуга, но и как птица, у которой подрезаны крылья и «вот-вот» угаснет надежда, как птица, которая станет предвестницей ночи...

Эта многоликость и многослойность образа рождается не в процессе выявления его в разных сюжетных ситуациях, не в рассказе о жизни этой удивительной женщины, а складывается постепенно в воображении ребенка³⁶, затем юноши, «всплывает» одновременно с его представлением о мире, изначально совмещенном в сознании с этим полусказочным, полуреальным существом. И если вдруг возникала или вдруг исчезала Харруда, если образ ее как-то распадался или, наоборот, ярко вырисовывался в памяти, то это было связано либо с каким-то неожиданным событием, иногда печальным, иногда радостным, либо с несчастьем, бедствием, «расчленением», исчезновением жизни, а потом и с ее возрождением. Цикличность исчезновений и появлений Харруды и была сама жизнь, ее река, течение, крутые берега и обрывы, пороги, разливы, река, которую иссушали суховеи и поили дожди. Но, что бы ни случилось, всякий раз Харруда выживала. Она выжила и тогда, когда, казалось, ее настигла смерть.

Она поднялась, собрала по частям свое тело в мешок и удалилась к Великану готовить войну. Войну, которая про-

³⁶ Писатель в детстве был вынужден по болезни долго лежать, много слушал сказок, потом рано научился грамоте и много читал (С. П.).

никнет во все наши поры... Мы долго поджидаем Харруду на улице. Родители нас старались не выпускать из дому, запереть. Закрывать наглухо двери С тех пор как чужеземцы пришли в нашу страну, нам запретили выходить за порог дома. Страх. Страх получить шальную пулю. Страх быть раздавленным демонстрацией. Страх быть схваченным палачами, которых засылал Великан... Война или сопротивление³⁷ — все слилось воедино. Харруда вернулась закутанная в знамя. Она отравила Великана и освободила детей. Достоинно и гордо она пронеслась над домами. На лбу у нее сияла вытатуированная³⁸ звезда. Однажды мы бежали за ней до самой реки. Она уже едва тащила и кашляла кровью. Мы видели, как она боролась с течением, а потом исчезла в бурлящей воде. И мы, бессильные ей помочь, остались ждать ее. Но больше она так и не появилась. Ее унесло течение... И нам больше не снились сны. Харруда не витала уже над крышами наших домов... Мы стали сиротами...³⁹.

Так, сиротство ощущалось и как «утрата грез» и временно как начало вступления в другое жизненное время: «грезы принимали другое измерение»⁴⁰. Пришедшая из мира волшебных сказок символика, обволакивавшая страну детства, постепенно принимала реальные очертания. Злой Великан, чьей непокорной женой была Харруда, грозный Великан⁴¹, загубленный ею, сместился, а потом и вытеснился образом другого свирепого врага — колонизатора. Пробуждающееся сознание героя выхватывало из истории страны тот кусок жизни, который хронологически точно

³⁷ Речь идет о разгаре национально-освободительного движения в Марокко, которое в 1956 г. закончилось завоеванием страной независимости. Конец Второй мировой войны и сопротивление колонизаторам как раз приходятся на период детства писателя.

³⁸ Татуировка — обычай, принятый в Марокко, особенно в женской среде как способ украшения лица.

³⁹ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 18–19.

⁴⁰ Ibid., p. 21.

⁴¹ Распространенный в магрибинском фольклоре образ Ogre (не просто людоед, но именно великан), имеющий женой своей Ogresse (С. П.).

соответствовал и «пробуждению национального самосознания»: повсюду росло сопротивление колониализму, сопровождавшееся упорной и непрекращающейся борьбой народа за свои права. Как же подготавливался взрыв этого сознания? Где и как «кончился сон» и появилось ощущение нового измерения? Перед читателем возникает еще один «фрагмент» памяти, он переносит его в кораническую школу.

Родители не подозревали даже, что, бросая нас каждое утро в глубине мечети, они приучали нас к коллективному бреду... К постижению освященной религией лжи и к воспитанию в себе ненависти, внушенной историей, опутанной колючей проволокой железной логики шестидесяти сур...⁴².

Бессмысленное бормотание, заучивание наизусть этих сур, отупляющее разум и усыпляющее душу, — как медленно действующий яд, и воплощением этого Зла был старый и гнусный развратник — учитель коранической школы.

Убить его: вот что стало нашей главной заботой, нашей единственной мыслью. Мы заклинали свою злость, мы учились насилию. Освободить себя от этого проклятого старика! Отправить его на тот свет с нашего благословения!..

И вот:

Старик лежал в луже лжи, растекшейся в отбросах не знающей оправдания жизни...⁴³.

Совершавшаяся жестокость (как свершившееся возмездие), возможно, всего лишь плод детской фантазии, воображения, во власти которого жили дети... Но это уже тогда

⁴² Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 24.

⁴³ Ibid., p. 28.

«стоявшее у власти» воображение, питающееся несомненно реальной действительностью, заставляло восставших детей идти все дальше; отождествляя слугителя культа, растлевавшего тела своих учеников (факт, постоянно отмечаемый в произведениях магрибинцев), с вампиром, «пьющим теплую человеческую кровь», они предают его еще и проклятию Харруды. Она силой своего колдовства заставляет раздавленного в воображении старика подняться и броситься в колодец — отдаться во власть бездны.

Фантастическое вновь сменяется реальным. За коранической школой последовал французский лицей. Переменились декорации, но все осталось прежним: и ложь, и «яд забвения» — самих себя⁴⁴, своего языка, своей истории, своих корней.

Мы жили вне пространства и времени. Жизнь в лицее текла, не сливаясь с рекой той жизни, через которую прорывался наружу язык предков⁴⁵.

На этом языке говорили там, где царили старинные обычаи и обряды, где совершали традиционные омовения, — в «черных» «мавританских» банях, где свято отмечали все религиозные праздники с их жертвоприношениями и «экстазом опьянения» кровью зарезанных животных — ягнят... И этот язык тоже казался «диким и странным».

Праздник рождения — режут барана. Кровь должна течь к востоку. Имя ребенку давали вместе с кровью. На пороге жизни — пепел смерти, жертва. Обряд обрезания: высвобождают мужчину... Надо было научиться читать поток этой крови...⁴⁶.

⁴⁴ Во французских школах учили историю по учебнику для французов, где в первой строке есть фраза: Наши предки — галлы...

⁴⁵ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 31.

⁴⁶ Ibid., p. 40.

...Каждый магрибинский писатель давал нам свое «прочтение» мусульманских обрядов и традиций в свойственной ему системе средств художественной изобразительности. Поэтически возвышенно — А. Сефрауи, сатирически гротескно — Д. Шрайби, объективистски документализированно, в духе «натуральной школы» — А. Мемми, эмоционально напряженно, экспрессионистически резко — А. Буджедра, философски заостренно — М. Диб и т. д. У Бенджеллуна остро реалистическое видение, обличительные интонации порой концентрируются, экспрессионистски предельно фокусируются в единственный образ. И образ этот может быть либо предметом, либо его качественным признаком (цветом, например), но в любом случае приближающимся к символу, в котором и сосредоточивается протест писателя против социальных структур, цепляющихся за отжившие нормы человеческих представлений и верований...

*Я вычленяю из туманности далеких лет эти мгновения жизни и вспоминаю о них, как об огромной зияющей ране, оставшейся во мне после кровавой бойни... Как о насилии, затмившем для меня небо, залившим меня кровью, прожогшем насквозь мою кожу*⁴⁷.

Контрастом этому торжествующему в жизни цвету — цвету крови, в который была «выкрашена история его народа», был цвет романтических грез ребенка, мечтавшего о том времени, когда «он станет хозяином жизни», «волшебником», который, «дергая за веревочки, опустит звезды с неба», чтобы они оставили свой яркий след на земле. «Они погаснут в этой толпе охваченных безумием людей и зажгутся в душах всех униженных и обездоленных»⁴⁸. Ему грезился «серебряный сад», и белые птицы, и ясное небо. Потом он мечтал о том времени, когда «не будет ночи... и

⁴⁷ Ibid., p. 41.

⁴⁸ Ibid., p. 35.

когда в каждой протянутой руке вспыхнет звезда, и встанет вечный день, и озарит все, и вернет людям утраченную память»⁴⁹.

Эта романтическая «память»⁵⁰, как набат, отзвуки которого слышатся во всех произведениях Бенджеллуна, и она, именно как набат, должна напомнить людям не только о героическом прошлом, но и о том, зачем и во имя чего люди живут на земле. Частицей этой «тотальной» памяти является эмоциональная память лирического героя книги — безымянного «я», от которого ведется рассказ-воспоминание. Автор сознательно избирает путь поначалу импрессионистских зарисовок и фиксаций моментов прошлой жизни через передачу чаще всего ощущений пережитого. Связать, выстроить в единый, последовательный ряд фрагменты прошлой жизни — такой способ подачи материала для Бенджеллуна был неприемлем, ибо автор убежден, что из «глубин тотальной памяти» (во всем ее объеме) не может выплыть наружу, выплостаться, выпростаться из-под груза различных наслоений и обнаружить себя в тексте «суть явлений». Не сами явления, они, как объективная данность, «вне текста», а именно их суть. Вот почему прочтение жизни через воспоминания-видения, воспоминания-ощущения, реализуясь в самом тексте, остаются в нем, оформляются телесно, становясь «текстовой параллелью» самой жизни. И пусть это тело расчленено на куски (а вернее, собрано по частям), оно глубоко отмечено, несет в себе «шрамы памяти», всю боль ее, и «всю пронзительную

⁴⁹ Ibid., 37.

⁵⁰ Для Бенджеллуна, как и для многих других марокканцев (М. Ниссабури, А. Катиби, М. Хайреддина), с понятием «памяти» сопряжено прежде всего охранение и сохранение чувства связи с родной землей, с историческим прошлым народа, с верностью его духу свободолюбия и независимости, проявившемуся в его непрекращающейся, упорной, героической борьбе против испанского и французского колониализма. (Названия произведений Катиби «Татуированная память» (*Mémoire tatouée*)) и Ниссабури «Самая высокая память» («*La plus Haute mémoire*») в основном связаны именно с таким значением этого слова.) «Правда — в памяти» — этими словами русского писателя В. Распутина можно точно определить и сам замысел книги Тахара Бенджеллуна — «путешествие, жизненный маршрут» по следам, хранимым памятью.

глубину ее взгляда»⁵¹. Таким образом, текст — это словесная инкрустация или, как называет ее Бенджеллун, «татуировка» средствами самой человеческой памяти, «прочтение жизни в иной протяженности».

Само по себе включение в роман подобного рода эстетической программы — явление, примечательное для магрибинской литературы 70-х годов. Формально не противореча той традиции, из которой эта программа, очевидно, вырастает (и французская «школа письма», и «новый роман» позволяли такого рода импрессионистские и сюрреалистические реминисценции), по смыслу своему она существенно ее поправляет, если вообще не уводит далеко в сторону. И подтверждением этого служат сами темы для «прочтения жизни» и интерпретация смысла такого прочтения.

Если первые воспоминания-ощущения еще недостаточно вычленены из сознания мифологического, особым образом слитого либо с миром реальным, по-своему трансформировавшего и отразившего его, либо с миром внезапного ощущения, то более высокий уровень воспоминаний захватывает, запечатлевает конкретные образы конкретного мира. Так рисуется картина жизни родного Феса — города, являвшегося олицетворением, символом освященных веками традиций, устоев мусульманской веры, хранителем древних поверий, обителью многих святых и главного из них, своего покровителя Мулая Идриса. Сюда, к древним городским стенам, и по сей день стекается поток паломников, моля святого о ниспослании милости и благодати, доверяя ему свои тайные помыслы и надежды, прося его заступиться, охранить о т бед и несчастий.

Все знали, что Мулай Идрис не мог ничего ответить из глубины своей могилы, однако продолжали беседовать с ним. Ожидали ночи в надежде услышать его слово...⁵².

⁵¹ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 47.

⁵² Ibid, p. 50.

Мешались сны и реальность, грезы и действительность. Но общение со святым было неотъемлемой частью традиционной жизни.

Ее (традиционную жизнь. — С. П.) пытались совместить с другими видами жизнедеятельности. Мораль находила для себя живой источник. Святой питал воображение, рассеивал тревоги. И было бы вполне естественным, если бы он вдруг восстал из своей могилы целым и невредимым, безмятежно спокойным и получающим радость...⁵³.

И, словно подводя черту под нарисованной картиной, автор, отстраняясь от нее, вычленил себя из этого «древнего потока», суммирует свои воспоминания, вскрывает смысл самого паломничества к святым местам: общение со святым, с иллюзорным источником утешения печалей было всего лишь единственным для народа способом утешения жажды лучшей жизни, безотчетным стремлением к иному существованию, к безбрежному простору надежд. «Надо было либо продолжать жить вместе с ним (святым. — С. П.), либо покинуть его и ослепнуть»⁵⁴. Ибо свет прозрения порой ослепляет.

Но к каким просторам могли устремляться мечты? Древний город, тысячелетний груз традиций, медленное течение жизни посреди раскаленной, выжженной солнцем земли, высушенной горячими ветрами.

Иди излить свою тоску в пустыню. И ты прочтешь в песках о смерти и аде... У нас не было моря... Нам снились цветные сны, которые плохо кончались...⁵⁵.

«У нас не было моря» — этот печальный рефрен многократно повторяется в «Харруде». «У нас не было моря... А

⁵³ Ibid., p. 51.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., p. 58.

были только толстые глухие стены и ритм древних легенд... У нас не было моря...»⁵⁶. Символика этого рефрена — в органическом единстве с «прочтением» Феса. Замкнутость в тисках «вековых стен» традиций, давящих, удушшающих, подавляющих волю, иссушающих душу предрассудков, окостенелость, летаргическая медлительность течения жизни — вот, собственно, смысл «прочтения» Бенджеллуном Феса — символа феодально-патриархальной сущности доколониального бытия, которое еще и колониализм упорно продолжал культивировать в качестве «восточной экзотики» и приманки, искусственно поддерживая и в то же время хитро и умело «взрывая» изнутри. Привнося известные блага технической цивилизации и приобщая к новым формам знания и общественных отношений, колонизаторы в то же время опутывали страну и сеть своего рабства. Бездушный, жестоко расчетливый мир Запада без особого труда вторгнулся и разъедал этот застоявшийся и иссохший в своей неподвижности старый мир Востока. Трагизм заключался в том, что «одряхлевший мир» казался привычным. «Люди свыкались с его миазмами и с его нечистотами». А он нуждался в «море», способном омыть его и очистить (и об этом море нам поведал поэт уже в своих стихах). Но мир этот разрушали, вырывали с корнем, сметали с лица земли...

В притче (где фантастический гротеск и реальность слились воедино) о молодом, «модно одетом, модно причесанном, выхоленном, выкормленном» инженере с «отсутствующим взглядом, пожелавшем наполнить золотоносной водой древний уэд (пересохшее русло реки), слышится не просто стихийный протест «разрушителей машин», но и отчаянное прощание народа с миром, который должен был неизбежно погибнуть под натиском истории, но с которым было еще и слито понятие свободы и независимости, само-

⁵⁶ Ibid., p. 79.

сущности и самопринадлежности и который насильственно вырывали из сознания народа чужими руками.

У инженера в голове была машина, в желудке — бар, на затылке — хорошо организованный уик-энд... Он говорил, и машины, подъемные краны, бульдозеры выпрыгивали из его рта. Он их быстренько сплевывал вместе с цифрами, с тоннами, годами, графиками, чертежами. И вдруг огромная крыса выбежала из его желудка и пустилась преследовать нас. А инженер, несмотря на хлеставшую из него кровь, откинул крышку своего черепа, взялся за руль своей машины и исчез в проломе городской стены... Крыса кусала стариков, которым не удалось убежать. Между тем машины приступили к работе: они срывали дома один за другим⁵⁷.

И как бы связывая тайный, затекстовый смысл этой притчи с кошмаром, который может привидеться в больном воображении, писатель завершает ее так, словно читатель был одновременно и зрителем фильма ужасов:

Экран стал белым. Кадры исчезли. Наша память рассеялась в пыль, которая билась о стены металлического равнодушия. Нам оставили развалины города и искры гнева. Нас ожидало второе рождение⁵⁸.

(Примечательно, что это второе рождение и было началом освободительной борьбы, которую народ начал против «инопришельцев», не улучшивших, но истерзавших его привычный мир, началом войны, которая вспыхнула из искр гнева на руинах старого и на «миражах» нового мира.) Но в памяти — вместилище «шрамов», которые остались от ран, нанесенных телу родной земли, еще долго будут

⁵⁷ Ibid., p. 60.

⁵⁸ Ibid., p. 61.

храниться и всплывать эти страшные видения: прощание с прошлым.

Я вышел на заре, чтобы догнать последние исчезающие осколки сна. Все происходило как в молчаливом поединке... Осталась лишь куча камней и взрыхленной земли... Я хотел пройти по дороге — но улицы уже не было. Только пустырь. Остов дома. Руины, пахнувшие еще взорванным теплом жилища... Новая улица пройдет через спальню одних и ванную других. Улица сменила свою ось. Теперь она должна была окружить столетнее дерево, корни которого окутали весь город. Многие просили у этого дерева благословения, как у какого-нибудь святого. Машине не удалось его вырвать из земли⁵⁹. Целые семьи цеплялись за него в надежде, что улица пройдет стороной, не заденет их. Но медину⁶⁰ всю снесли... Медина истекала кровью... Она погибла к большому огорчению и всех туристов. Муниципалитет принял решение восстановить один из ее кварталов во всей экзотике. Чтобы автомобиль мог вплотную приблизиться к прошлому... Мулам больше нечего было делать. Их резали, а кожи их продавали благотворительным обществу. Жертвы прогресса, они решили организовать и занять главную конюшню. Однажды ночью дети коричневой земли освободили их и выпустили на волю... Святой исчез из своего мавзолея. Поползли слухи, что он удалился в горы, на восток страны, чтобы готовить войну⁶¹.

⁵⁹ Интересно отметить, как такие удаленные в «социальном» пространстве друг от друга художники, как марокканец Бенджеллун и русский В. Распутин (хотя и писавшие свои книги почти одновременно), одинаково остро не только ощущают и передают связь людей с родной землей, но и показывают всю боль их прощания с нею, боль отрыва от нее. И даже используют одни и те же символы. «Царский лиственень» из «Прощания с Матерой», который так и не удалось ни своротить, ни поджечь, ни спилить, лиственень, глубоко вросший корнями в обреченный на затопление остров, и старое, могучее дерево из «Хар-руды», которое так и осталось стоять несломленным посреди дымящихся руин снесенного города; оба они — как символ верности родной земле, неискоренимости самой жизни и ее вечных истин.

⁶⁰ Старая часть города.

⁶¹ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 62–63.

Так смысловая многозначность, многослойность, порой гиперболизация примет «времени перемен», которая характерна для всей поэтики романа в целом, позволяет писателю делать неожиданные, хотя и не резкие переходы от конкретных, реальных образов к обобщенно-символическим, от «каталогизации» превращений, происходивших в мире перед глазами ребенка, к фиксации их смысла и значения в одной емкой и прогностической даже метафоре:

Тело было выпотрошено, опустошено. От него остались только очертания, только тень, которая ложится на другие тела, на другие лики, ложится тихо, бесшумно... И запечатлевается в зияющей ране целого народа. В пустых взглядах. В укрощенной надежде. В цветных снах⁶².

Так был «прочтен» писателем его родной город — символ тысячелетнего Марокко, его прошлого. Но это прошлое, несмотря на свою обреченность и предназначенность разрушению, — все еще длящаяся в пространстве и во времени История. И она на страницах «Харруды», так же как и сама жизнь, не только многолика, но и многоголосна. Бормотание молитв, пение муэдзинов, крики птиц, шуршание ящериц в расщелинах старых стен, ночные шорохи и звуки пустыни, «гудение» детей в коранической школе, скрежет бульдозеров, срывающих с лица земли дома, стон деревьев и плач женщин... Вся эта гамма звуков, которыми наполнена первая часть книги, постепенно сливалась в один голос, в котором застыла вся скорбь, боль, вся тоска и «поруганная честь» родной страны: это был голос *матери*, «взявшей слово».

С обобщенным образом матери в творчестве магрибинских писателей — и Бенджеллун продолжает эти традиции — всегда было связано представление о несправии и угнетении народа⁶³. «Жестокость по отношению к женщине, —

⁶² Ibid., p. 61.

⁶³ См., напр., Chraïbi D. Le passé simple; La succession ouverte и др.

сказал писатель в своем выступлении на страницах журнала «Жен Африк» (№ 684, с. 36), — у нас ощущается особо и чувствуется постоянно и по сей день. Она — в порядке вещей и не подлежит обсуждению. Это жестокость, так сказать, обычная, привычная, сама собой разумеющаяся. И вскрывается она лишь в самых драматических ситуациях... Это реальное условие ее существования, и я не знаю, изменится ли оно когда-нибудь... Освобождение женщины как бы не входит в планы тех, кто хочет изменить марокканское общество. А журналы и газеты полны рассказов женщин, оплакивающих свою судьбу».

В «Харруде» голос матери — печальный и одинокий — с детства звучит в душе героя, запечатлевается в его сознании как сама мелодия ее жизни, безрадостной, монотонной, повторяющей все прожитые и все существующие, похожие одна на другую, жизни ее соплеменниц: «Я слышал все переливы молчания и бездонного одиночества матери, на которое обрекла ее судьба. Мать носила нас на спине и шептала свои молитвы богу, вместо того чтобы вести разговор с нами...»⁶⁴. «Я заставил говорить свою мать, — рассказывал в своем интервью Бенджеллун, — моими устами. Но ее голосом...»

Хотя и не вполне автобиографическая, но кажется значимой эта история отданной за богатого старика девочки, которая рано стала вдовой, потом еще раз, в пятнадцать лет, попала за солидный выкуп, полученный ее братьями, в дом торговца, нарожала ему детей, схоронила и этого мужа, и так и не видела иной жизни, кроме той, что медленно текла внутри глухих стен ее дома, никогда не знала радости, скрывала свои чувства и свое лицо, была заживо погребена под грузом традиций, религиозных запретов, законов шариата. Повиновение, послушание, а главное — страх. Единственное, сопровождавшее всю ее жизнь, постоянно жившее в ней чувство. Боязнь мужа, родителей,

⁶⁴ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 67.

братьев, чужих взглядов, боязнь поднять глаза и увидеть мир, ощутить его полноту и осознать свое рабство. Восстать против законов, освященных религией, — это граничило с безумием... А ветер новой жизни, несмотря ни на что, врвался в дом⁶⁵.

Оба моих брата занялись политикой. Их лидер приходил к нам. Он вернулся тогда из ссылки. Все праздновали его возвращение. Братья были борцы против колонизаторов и часто закрывали свою лавку, чтобы идти на демонстрацию против французов. Но я — я не могла протестовать. Таков уж был мой удел... Как изменить то, что уготовано судьбой? Я должна была молчаливо сносить все, что мне было предназначено⁶⁶.

Жизнь как смерть, как вечное забвение. Рассказ матери — не просто «фрагмент памяти», не воспоминание — это еще и напоминание, укор тому, кто в смирении видит свою фатальную участь, и в жизни без надежд — способ человеческого существования. Одновременно и свидетельское показание и обвинительный акт. Но этот рассказ Бенджеллун наполняет еще одним значением: сам по себе монолог матери — свидетельство ее прозрения. Ведь, как утверждает писатель, «осмелиться говорить для женщины в мусульманском обществе — значит искушать дьявола и призывать на свою голову его проклятие. Осмелиться говорить — значит уже существовать, стать личностью!»⁶⁷. И в рассказе матери сын видит, в сущности, изнутри весь механизм отчуждения женщины в мусульманском обществе, те моральные устои, на которых зиждутся социальные структуры угнетения, подавления, обезличивания, опредмечивания человека.

⁶⁵ Позднее Т. Бенджеллун напишет новый роман — «Всё о моей матери» («Sur ma mère». Р., 2008), хотя и сохранит эту «канву».

⁶⁶ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 75.

⁶⁷ Ibid., p. 71.

Произнося свой монолог, мать заодно произносит и приговор обществу, подготавливающий тем самым в душе ее ребенка протест и бунт, который выплеснется на страницы книги, как образ разбушевавшейся стихии («этот бунт поднимут дети и птицы»), как «революционный праздник», где «не будет литься кровь и не будет насилия», и одновременно как «предпоследний суд» над Историей, как предупреждение, которое сделает народ... («Это может быть наивно и идеалистично, — говорил Бенджеллун, — но мечта — неотъемлемая часть самой жизни...» — «Жен Африк», № 684, с. 37.)

Для поэтики Бенджеллуна характерны часто повторяющиеся образы-символы. Море, зеленый цвет, птицы, дети. Они связаны с надеждой, с обновлением, освежающим омовением и омолаживанием старого мира. В «прочтении» этого мира основным мотивом было прощание с ним, разрушавшимся под натиском технической цивилизации. «Итоговой» метафорой этого процесса стал странный союз зловещего Великана (олицетворяющего в романе феодализм) и «молодого, хорошо одетого человека, выплевывавшего крыс». Вместе они поселились у истоков реки Сиди Харазем и стали «разрабатывать план благоустройства этих диких мест...»

Говорили, что вода в реке содержит молекулы, порождающие беспорядки и смуту... Одно американское общество занялось теперь извлечением этих молекул и изготовлением на основе этой воды национальной кока-колы...⁶⁸.

Но, видимо, все до конца эти «взрывные» частицы речной воды, издревле поившей землю, нельзя было уничтожить. Потому что вдруг в уже ставший почти призраком город приходит тот самый праздник, который чем-то был похож и на «страстную пятницу»... Этот праздник писа-

⁶⁸ Ibid., p. 88.

тель задумывает как «новое прочтение реальности», как перенесение своей фантазии во времени, как свои «воспоминания о будущем».

До сих пор, считает автор книги, «ничего не происходило», лишь запечатлевалось в тексте «параллельно ему существующее пространство жизни». Запечатлевалось, не изменяя ее. Теперь же писатель снова ставит «воображение у власти» и заставляет детей, птиц заполнить улицы города и размахивать знаменами, возвещая о празднике, «великом празднике», который настанет перед последним страшным судом, «который несет признаки воскресения из мертвых, который рождает в радужном воображении и сеет смуту в привыкших к спокойствию сердцах...»⁶⁹.

«Почему дети? — спросили писателя. — Потому, — ответил он, — что они — единственные существа, которые не рискуют подвергнуться коррупции в этом обществе. Они одновременно и символ и сама чистота. И именно этим детям и предназначено потрясти до основания сами структуры марокканского общества»⁷⁰. К этому надо добавить, мы полагаем, и то, что воображение марокканского художника слегка захлестнуло волной разбушевавшегося «майского праздника» в Париже 1968 г., когда юным бастующим французам (застрельщикам охватившей потом всю Францию всеобщей забастовки) казалось, что они рвут путы и устремляются навстречу чему-то окрыляющему, *другому*, навстречу празднику, который послужил встряской, толчком к пробуждению от усталого гражданского равнодушия общества потребления⁷¹. Волна этих событий, несомненно тяготевших к перестройке существующих не только экономических, но и социальных и политических устоев общества, всего уклада жизни, не могла не докатиться до другого берега Средиземного моря. Тем более что для восприятия

⁶⁹ Ibid., p. 95.

⁷⁰ «Жен Африк», № 684, с. 35.

⁷¹ Одним из лозунгов этих событий был «Imagination au pouvoir!» — «Вся власть воображению!».

ее там давно уже была подготовлена почва. Студенческие волнения не миновали и Марокко. Демонстрации и стачки, цепь репрессий, а потом антиправительственные заговоры и попытка дворцового переворота в марте 1973 г. — этими бурными событиями отмечена марокканская действительность тех лет⁷².

И понятно поэтому желание Бенджеллуна представить подобный праздник у себя в стране, понятно его искушение подсмотреть картину, а вернее, репетицию «Страшного суда» над марокканкой действительностью. Действительностью постколониальной, но несущей на себе и «глубокие шрамы» старого — феодального и колониального Марокко, и «свежие следы» нового — неумолимо наступающего капиталистического уклада и неоколониализма. Вот почему финал этого романтического «праздника», когда были выпущены на волю люди и их мечты, когда все проснулись, стряхнули с себя оцепенение и каялись в грехе «забвения идеалов», несмотря на всю свою фантастичность, больше похож на реальную возможность исхода «пестрого карнавала надежд», возможность, уже не раз, к сожалению, подтверждавшуюся в действительности:

Небо вновь покрылось тучами, и в нем появились всякого рода парашютисты: черные орлы, хищные птицы, прилетевшие с далеких горизонтов Техаса, боевые командос — ударные отряды особого назначения, страшные спруты, в которых поддерживалась жизнь системой искусственного дыхания, огромные стрекозы и богомолы... Они хватали

⁷² События сказались и на литературной жизни Марокко: журнал «Суффль», у истоков рождения которого стояли все прогрессивно настроенные молодые литераторы, приживавшийся в целом антимонархического направления, хотя и отличавшийся порой ультралевой фразой, был в конечном счете запрещен марокканскими властями. С 1974 г. он практически прекратил свое существование, главный редактор (Лааби) был арестован, а многие писатели, в том числе Бенджеллун и Хайреддин, эмигрировали во Францию. Позднее, уже на исходе 90-х годов и в начале 2000-х, появятся книги, где были запечатлены печальные итоги и попытки переворота (М. Уфкир «Узница») и др. О них подр. — в наших работах: «Марокканский ноктюрн» (2015), «Магрибинки рассказывают... М., 2021 и др.

агонизирующие тела и охотились за детьми-птицами... Они устроили кровавую бойню (как говорят, через несколько часов в городе не осталось ни одного ребенка)... Подрывали, взрывали динамитом деревья, в которых укрылись птицы... Порядок и тишина воцарились над городом, где умолкли дети и птицы. Безжизненное пространство... Оркестр андалузской музыки⁷³ устроился на городской площади и играл до утра... Время от времени на улицах появлялись паяцы и заставляли прохожих растягивать губы в улыбке... Телевизоры крупным планом показывали на своих экранах детские головы, насаженные на колья у въезда в город... Верблюд, устроившийся в витрине магазина, горько плакал. Ситуация стабилизировалась. Радио сообщало: «Господь бог не перестает предупреждать нас о том, что мы уклоняемся от праведного пути... Оставим же заботы о мирской жизни и вознесемся к святому духу, указующему нам дорогу в рай!»⁷⁴.

А люди — что же, они давно привыкли к «другого рода празднику и продолжали терпеть ежедневное, хорошо оркестрованное издали насилие, поддерживаемое с помощью ультрасовременных средств...»⁷⁵.

И голос женщины-птицы Харруды⁷⁶, которая вывела детей на улицу, на бой, на праздник, терялся вдаль, уносимый волнами далекого моря.

Эхо его долго слышалось еще из глубины колодца... мы продолжали бороться с крысами, которые хватали людей за ноги, чтобы помочь урагану унести нас всех в своем вихре⁷⁷.

⁷³ Старинная музыка, которая передается из поколения в поколение по памяти (нет ее нотной записи) музыкантами, играющими на особых инструментах, и таким образом сохранявшаяся со времен арабского халифата в Испании.

⁷⁴ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 111.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Образ волшебной птицы Гарруды, как говорят знатоки Востока и Азии, встречается в фольклоре народов Индии (по свидетельству В. С. Семенцова).

⁷⁷ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 112.

Вот такой мрачной аллегорией заканчивается взлет фантазии автора, захотевшего вдруг с помощью «текста» представить себе перевернутой страницу старого мира, мира насилия и несправедливости. «Я продолжаю писать и возвращаю текст на круги своя». И снова в книге возникает момент памяти о прошлом, этап оцепенения, забвения, «предательства» мечты.

На этот раз олицетворением предательства становится другой марокканский город — Танжер — само воплощение переходной эпохи от старого к новому, где Восток и Запад слились, где сосуществуют самые чудовищные формы агонизирующего феодализма и самые жестокие проявления капиталистического «рая». Город двуликий, двудушный, город-предатель, международные «врата» Зла:

Открытая зона. Открытая играм жизни и смерти. Город, продающийся тому, кто больше платит. Украденная летопись истории. Кафтан невесты, залитый кровью. раненая птица пустыни. Город, которому, как писал французский писатель Ж. Жене, «фильмы и романы создали дурную славу, сделали из него ужасное место, притон, где игроки торгуют секретными планами всех армий мира», проклятое место грядущих насилий...⁷⁸.

Для Бенджеллуна Танжер встает в памяти и как город «забвения надежды».

Другие покинули Риф. Земля поглотила их надежду. Они пришли в город, чтоб увидеть море и застыть. Они выкрасили свое тело в цвет земли⁷⁹.

В каждой фразе — «шрамы» старых ран истории, оставившие боль в сердце поэта, в памяти народа. И это прежде всего — Риф — символ народной борьбы, горный край, где вспыхнул гнев марокканцев, свободолюбивых горцев, под-

⁷⁸ Ibid., p. 144.

⁷⁹ Ibid., p. 117.

нятых своим вождем Абдель Кримом на войну против колонизаторов. Не выдержавшая неравный бой разбитая армия Абдель Крима стала символом непокорного, мятежного народного духа. «Залитый кровью», но не убитый, не уничтоженный, не сломленный, он спрятался, «дремлет» где-то в глубине, в памяти тех, кто «хочет, пытается забыть», тех, кто, спустившись к морю, в Танжер, словно бы простился со своей прежней мечтой⁸⁰. Увидеть бы вблизи, вдохнуть свежий воздух моря, чтобы потом оцепенеть и слиться со скорбным цветом могильной земли...

В романе Бенджеллуна оставшиеся в живых участники борьбы, укрывшись в Танжере, курят опиум, грезят наяву и на волнах усыпляющего боль памяти дыма уносятся в страну воспоминаний.

Мечта распадается. Иллюзии медленно разрушаются: это как падение ласточки с подбитым крылом в безжизненное море песка. Все говорит об отрешенности и оцепенении. Словно волны и пена моря застыли, примирившись, на пороге памяти опаленной солнцем⁸¹.

Танжер выбирается автором романа недаром как место, где «застыла» мечта: перекресток «песка и моря», он был исстари воротами, портом, открывавшим в Марокко дорогу войн, захватов, грабежей, воротами, в которые вторглась колониальная история, через которые португальские, испанские, французские колонизаторы протягивали долгую железную цепь насилия и угнетения, державшую народ в

⁸⁰ Абдель Крим в течение нескольких лет (1919–1926) успешно боролся во главе рифских племен против испанских королевских войск, действовавших в испанской зоне влияния. Повстанцы в Рифе в 1921 г. отбросили испанцев к стенам Мелильи после знаменитой битвы при Ануале. Войска Абдель Крима нанесли серьезное поражение и французским постам в долине Уэрги, но в 1926 г. соединенными силами французов и испанцев они были разбиты, вслед за чем вся северная зона Марокко (главный город Танжер) была покорена, а местное население разоружено. Сам Абдель Крим был интернирован на о-ве Реюньон. Отголоски этой войны долго еще звучали по всей стране, осенью же 1938 г. в испанской зоне Марокко снова вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено фашистами (подробнее см.: Луцкая Н. С. Республика Риф. М., 1959; Луцкий В. Б. Новая история арабских стран. М., 1966.

⁸¹ Azeggagh Ahmed (A). L'Héritage. Rodez, Subervie, 1966. P. 119.

извечной нужде, несвободе, невежестве, духовной и физической кабале⁸².

Печатью трагической предопределенности проникнуто и старинное марокканское предание об основателе поселения на горе Тарик (Танжер расположился теперь у ее подножия) — великане Геркулесе: он был проклят «нимфой сумерек», превращен в карлика и замкнут в грот⁸³, откуда никогда не должен был появляться при свете солнца... Печальная участь гиганта, превращенного в бессильного карлика, перекликается в книге Т. Бенджеллуна с реальной судьбой легендарного Абдель Крима. В голосе его, прорвавшегося сквозь «туман лет» (как и в тех картинах истории, которые возникают в воображении рассказчика), — скорбь, поруганная честь и оскорбленное чувство самого народа, идеалы которого были преданы:

Сосланный в чужую землю, мог ли я еще мечтать об освобождении и объединении страны? У меня уже не было родины. Я стал учиться одиночеству... Мне оставалось угасать понемногу. А вожди племен и феодалы, помогавшие мне в борьбе, покинули Риф, обосновались в Танжере, Тетуане, Альхусемасе, занялись торговлей и делами. Иные

⁸² Начиная с 1415 г. португальцы пытаются обосноваться в близлежащей к Танжеру Сеуте. С 1490 г. испанцы проникают в соседнюю Мелилью. Они осаждают Марокко с севера в течение нескольких веков, вплоть до начала XX столетия, когда франко-испанским договором Испании была выделена специальная зона влияния. С середины XVIII в. в Марокко сталкиваются интересы Франции, Испании, Италии, Сардинии, Англии, а потом и США. Экономическое и политическое проникновение в Марокко этих государств постоянно служило поводом для серьезных конфликтов, от которых страдала прежде всего сама страна и ее население. С 1848 г. практически шла франко-марокканская война, ход которой в 1859–1860 гг. подробно освещал, напр., Ф. Энгельс в своих корреспонденциях на страницах «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Империалистические противоречия достигают своего апогея в 1911 г., во время «агадирского кризиса», когда в политическую игру активно вмешивается Германия. Небезынтересна реакция и В. И. Ленина в работе «Тетради по империализму»: «Германия на волосок от войны с Францией и Англией. Грабят ("делят") *М а р о к к о*» (с. 668). Франко-германское соглашение 1911 г. фактически развязало руки Франции в Марокко, и марокканский султан Мулай Идрис вынужден был согласиться на военную оккупацию страны французскими войсками и в 1912 г. подписал фекский договор о протекторате, который фактически лишал Марокко независимости и целостности.

⁸³ Знаменитый «Голубой грот» и до сих пор — достопримечательность Танжера.

стали служить оккупантам... Они предали Риф. Предали страну. Да и что в этом удивительного — эти люди не были с народом. Они пришли ко мне, поддержали меня, потому что мой авторитет и моя власть были им надежной защитой. Да, в рифской войне не было еще борьбы классов... Мы преследовали прежде всего военные цели: освободить страну и победить врага... Оккупанты нас теснили отовсюду, и надо было дать им отпор и развеять миф об их превосходстве⁸⁴.

Когда-то Лиотэ, французский маршал, покоритель и «усмиритель» Марокко, правивший фактически страной в течение двух десятилетий (1912–1934), сказал: «Я люблю горцев Рифа такими, какие они есть, но мне не хотелось бы, чтоб их стало больше...⁸⁵. И вот рифская революция была задушена. «Они целились в голову, и они ее оторвали» — так закончил свой печальный монолог Абдель Крим.

Слова Абдель Крима в романе — скорее анализ «извне», с дистанции времени, авторское понимание истории и ее движущих сил, нежели взгляд «изнутри», оценка рифской эпопеи самим ее вождем. Но в образе вождя народной революции в романе воплотилась сама нерасторжимость единства истории и народа, непрерывность его борьбы за свое освобождение. Реальный призыв Абдель Крима «За независимость! За свободу! За эмансипацию народа!» естественно вливается в романе в символический голос ветра, который «слышен повсюду», совмещается с поэтически обобщенным «пророчеством» вождя, с окутавшей его имя легендой, которая живет в народе и передается из поколения в поколение:

Я хотел бы стать камнем, комом черной земли. Я еще вернусь к своей земле. Я заговорю с вами... Слушайте северный ветер! Слушайте дерево: в нем живет женищина.

⁸⁴ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 135–138.

⁸⁵ Ibid., p. 136.

*Говорят, она безумна. Я не верю! Однажды она спустится в город и расскажет о нашей истории. Будьте милостивы к ней*⁸⁶.

Мифическая Харруда, женщина с поруганной честью, снова возникает в романе, но уже как упрек и как совесть, как лоно, где спрятана вся боль народа, его память, как неотомщенная история и затаенная надежда.

Вот почему становится понятным внезапно появляющийся в тексте книги ассоциативный ряд, в котором слова, образы — как «этапы маршрута», во имя которого и написана, по замыслу автора, вся книга:

Кто сумеет прочесть?

Глаз.

Память.

Память Рифа.

Дева ветров.

Сирена.

Дети-птицы.

Янтарная лошадь.

Синий верблюд.

*Фесский сирота*⁸⁷.

Это не заумная вязь случайных слов, хотя сам прием и заимствован из поэтики «нового романа» и «школы письма», в которых следование сюрреалистическому опыту симультанного «сочленения» резко контрастирующих, удаленных друг от друга элементов становится самоцелью, вытесняющей смысл повествования, затемняющей целостность создаваемого художественного образа. У Бенджеллуна действительно много символической суггестивности, но символы эти вырастают из реальной действительности и обращены именно к ней. Каждое словосочетание этого ассоциативного ряда, включенное в контекст поэтически ос-

⁸⁶ Ibid., p. 138.

⁸⁷ Ibid., p. 133.

мысляемых событий, приобретает многозначительность, но легко дешифруемую, тем более что образы эти — основной «строительный материал» практически всех созданных Бенджеллуном произведений. Они своего рода его арсенал художественных средств, причем сращенных с той конкретной, национальной реальностью, символическими приметами которой и являются.

«Солнечный (янтарный) цвет лошади, ветер свободы, дева ветров — все это сквозные метафоры творчества многих магрибинцев. Синий (страдающий) печальный верблюд, дети-птицы, обездоленный ребенок из Феса — смысл этих ключевых слов во всем уже показанном, увиденном или же пережитом (памятью) в книге, которой, как считает автор, надо уметь «обладать», постоянно ее «вопрошая». И если и дальше судить писателя, как завещал А. С. Пушкин, «по законам, им самим над собой установленным», то появляющаяся метафора в начале главы о Танжере — «они выкрасили свое тело в цвет земли» — не кажется неожиданной, искусственно «сгущенной», нарочито мрачной. Она воспринимается естественным цветовым противопоставлением, контрастом тому «зеленому цвету надежды», которым изобиловали ранние стихи поэта. Очевидно и появление коричневого, бурого цвета в одном ряду с цветом моря. Оно, грезившееся ребенку из Феса — города, опаленного солнцем, иссушенного суховеями, в котором мумифицировалось само прошлое, — это море, так и не утолило жажду свободы, не освежило, не принесло желанного ощущения простора. Набегая «белой пеной» на зыбучие пески, море стирает, смывает следы памяти, погружает в забвение.

Если вам случится покинуть горы и спуститься в Танжер, чтобы послушать пение женщины, крик птицы или звуки старинной легенды, сумеете различить теплый и тихий ветер измены... Обрушившись, океан отливает от наших берегов. Он оставляет нам руины и горечь в душе.

Недостойные даже быть корсарами, мы отступаем под натиском лжи и погружаемся в сон. Иногда ветры возвращаются и бередают наши старые раны... Но Танжер забыл свой Тарик, свою скалу, отвернулся от нее, носящей его имя. И на берегу остаются только обломки прошлого, которые мы продаем безумным и ясновидящим поэтам. Они в клубах дыма стараются прочесть иные письма и различить другие видения...⁸⁸.

Писатель долго будет бродить вместе с этими «ясновидящими безумцами» по «земле одиночества», избранной ими, в лабиринте темных и мрачных таверн, где витают их фантазии, где эти пытающиеся все забыть «поэты» могут отвернуться, «встать спиной к реальной действительности». Кажется, что целью этих долгих и смутных блужданий в утраченном пространстве времени становится полуженное автором горькое признание одного «ясновидца»:

Все, что говорится, — одна видимость. Насилие, совершаемое ежедневно над целым народом, делает всякие слова ненужными и бесполезными. Слова, которые можно произнести вслух, на самом деле не могут выразить всей той злобной силы, что копится, копится до того самого дня, когда она выплеснется на улицу и взорвется на фоне мирного неба. До того самого дня, когда дети и птицы поймут раду, откроют книги, сметут мечети... А пока нам остается смерть, которую можно потрогать руками, прикоснувшись к листу мяты, и наглухо закрытое пространство, едва обозначенное в темных складках сна... И дым этих грез, окутывающий плотной завесой слова, которые застревают в горле, дым пепла, пожарниц, предательства и измен, заслоняющий реальность, притупляющий жажду воспрянуть, жить, быть на этой земле, пить ее воду, впитывать солнце, любить и умереть от любви...⁸⁹.

⁸⁸ Ibid., p. 126.

⁸⁹ Ibid., p. 169.

Однако автор берет на себя смелость разорвать эту завесу, чтобы дать людям возможность выбраться из трясины затягивающего болотного погружения в «спячку души», вырваться к свету, стряхнуть с себя пелену «ненужных слов» и вспомнить о других словах, способных выразить всю правду о тех, кого обрекли и замкнули в «тесные око-вы искусственной жизни», заставив забыть, что и у них есть *голос*. Этот голос словно оживляет и воскрешает сам поэт и говорит от лица тех, кто вырван из поля жизни и лишен права «претендовать на нее»⁹⁰. Он звучит как внезапное отрезвление, как пробуждение от страшного сна с первым лучом солнца.

*Бежать некуда. Укрыться невозможно. Искусственный рай? Но курильщики опиума делают это не ради того, чтобы обрести потерянное... Они не обманывают своего отчаяния, не теряют трезвости ума. Не желают обмануть судьбу. Как дымом можно скрыть нищету, когда она во всех наших порах, видна отовсюду, когда наши тела питаются ею, пропитаны этой нищетой. Истерзанные, они цепляются за остатки отчужденной у них жизни...*⁹¹.

Этот голос, прорываясь сквозь завесу тумана, окутавшего сознание, мешающего взглянуть правде в лицо, словно взлетает ввысь, обнажает сущность всех этих, как говорит Т. Бенджеллун, *syllabes voilées*, из которых соткан «рассказ о забвении», о погружении в бездействие, в безмолвие, в стагнацию. Вспышки сознания молниями освещают прошлое. В поток бреда, видений, галлюцинаций, точно выстрел, попадают обвинения, и, казалось бы, несвязанные, фрагментарные, drobные ассоциации оказываются полными намеков и зашифрованного в них тайного смысла:

Какое насилие — сидеть на грудях руин! Наше детство — безумная и добрая старуха, пронзенная насквозь воспо-

⁹⁰ Ibid., p. 170.

⁹¹ Ibid., p. 172.

минаниями о раненой птице, подобранной где-то между рекой и лесом и преданной потом земле, чтобы дать всходы в необъятном человеческом сердце...⁹².

Из этих «затемненных слогов» (выражение автора) и ткется тот особый текст, который сам по себе для писателя важен лишь как «наброшенная вуаль», как занавес, скрывающий подтекст, смысл, упрятанный в глубине, но не настолько, что до него невозможно добраться.

Смутить, встряхнуть, пробудить людские души, дать выход «злобе сердца», «выпустить спертый воздух» из груди тех, кто стоит у «порога смерти», — вот в чем видит свою задачу автор «Харруды», блуждая в лабиринте людского забвения, оцепенения, «медленной смерти» (бездействия). И, вливая свой голос в мрачный хор голосов тех, у кого отнята жизнь, кому воистину «отрадно спать, отрадней камнем быть»⁹³, он постепенно, а потом настойчивее и настойчивее перекрывает этот хор, заставляя свой голос взлететь над ним, прорваться сквозь него, устремиться навстречу светлomu, радостному хору провозвестников новой жизни, гонцов Будущего.

Мы — дети земли, песчинки моря, шум реки, любовь газели, запах грезы, невесты океана... счастливая толпа, идущая вперед...

Возможно, это всего лишь выпущенные на волю «ноты» мелодии, звучащей в глубине души поэта. Они как бы досказали то, о чем писатель сказать не может: «Мы мало говорим. Не высказать того и не найти тех слов, чтобы описать мечту»⁹⁴.

Как бы то ни было, но слово сказано. Причем сказано не «само по себе», хотя в тексте «Харруды» немало и чисто словесной орнаментальности, которую нередко приходится

⁹² Ibid., p. 175.

⁹³ Из сонета Микеланджело «Ночь» (пер. Ф. Тютчева).

⁹⁴ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 176.

читателю шелушить», чтобы обнажить прикрытый ею смысл. (Словесные «экзорцизмы», «заклинания» словами в 60-х годах были своего рода игрой «взбунтовавшейся» молодой поэзии Марокко, которая, спасаясь за такой хрупкой «оградой» от всеильной цензуры, пыталась удержаться на страницах журналов и газет.) Не ради демонстрации овладения всеми формальными приемами и «ингредиентами» «школы письма» и «нового романа» писалась «Харруда». Поэтому апелляция Бенджеллуна к Ролану Барту, неоднократно цитация на его «Нулевого градуса словесности» — скорее тоже прием, способ показать, во имя чего *не* писалось произведение марокканца: «Ничего не поделаешь. Речь — это всегда сила. Говорить — это осуществлять волю к власти: в пространстве же слова — никакого смысла, никакой уверенности»⁹⁵. Бенджеллуну можно было бы этими словами Барта и закончить свою книгу. Но **обратный** эффект очевиден. «Пространство» слов, которыми написана «Харруда», оказалось достаточно объемным и надежным, чтобы вместить всю значимость смысла повествования.

Автор, противопоставляя свою концепцию «взятия слова» концепции Барта, расшифровывает до конца свой замысел:

Беседа с моей матерью — не выдумана. Это текст прожитый, я слышал его собственными ушами... Тогда я словно получил первое ранение. Надо было сказать слово обществу, которое не хочет его слышать, отрицает его существование, когда речь идет о женщине, осмелившейся взять слово. Это «взятие слова», возможно, иллюзорно потому, что слова произносит не она сама, а другой. Но самое главное в этом тексте не то, что мать говорит, но что она вообще г о в о р и т . Взятие слова — это уже занятие позиции в обществе, которое отказывает в этом

⁹⁵ Ibid., p. 183.

женщине⁹⁶. Взятие слова, сама инициатива выступления (даже если оно спровоцировано) — это политический манифест, подлинная констатация застоя. В том контексте, где слово — обычное явление, молчание тоже может быть позицией. Но в данном конкретном контексте, где слово никогда никому не дается, молчание теряет свою значимость. Немота составляет единое целое со всей обстановкой в стране. Она заложена в природу вещей. В каждом обществе есть свой экран, на котором возникают разрешенные знаки. Все, что за пределами этой знаковой системы, — осуждается. Для нас такой системой знаков является Книга⁹⁷... Но не все подвластно литературе. Многое осталось невыраженным. Не для всего нашлись у меня слова — это не в моей власти. Поле интерпретации сужается и расширяется одновременно. Считается, что цензура урезает смысл. Здесь же она послужила выявлению множества смыслов... Как на экране (в книге) возникает не вся жизнь, так и здесь смысл в том, чтобы не все сказать сразу. Не расходовать сразу всю разрушительную энергию (закон экономии действия в драме)⁹⁸.

Не так уж много было в Марокко писателей. Еще меньше тех, кто осмеливался говорить правду. В данном случае французский язык, на котором пишет автор, служил эффективным средством сообщения этой правды: общественный (и литературный) резонанс, возникает не только быстрее, он приобретает более широкий диапазон звучания. Ведь вопросы, затронутые в книге, касаются жизни целого народа, его истории. И здесь важно все: и как об этом сказано, и

⁹⁶ Позднее Бенджеллун так выразит свое понимание одной из острых социальных проблем, которые стоят в Марокко: «У нас много говорят о женщине. Лично же я не верюнисколько в свободу женщины и в буржуазном обществе. Эта свобода завоевывается только в классовой борьбе. Но и смена социальных структур не исключает риска сохранения феодальных пережитков в лоне семьи. Освобождение женщины может идти одновременно только с освобождением всех эксплуатируемых и угнетенных» («Жен Африк, № 684, с. 38).

⁹⁷ Имеется в виду Коран.

⁹⁸ Ben Jelloun Tahar. Harrouda, p. 186.

к кому это сказанное обращено. Когда Бенджеллуна спросили, как же определить жанр его книги, роман это, поэма или то и другое одновременно, он ответил:

Это текст без последовательно развивающегося сюжета и действия, нелинейный. Можно начать чтение с середины книги. Традиционной романной технике она не подчинена. Избранная же форма зависит от фантазии, воображения, которым следует содержание. А форма — это позиция, точнее, концепция. Мне кажется, что фантазия, воображение способны в самом лучшем виде отразить реальное... Фантазия позволяет мечтать, обращаться к поэзии и превращать воображаемое в реально существующее. Но и собственно реального в моей книге много, время от времени оно заполняет ее, насыщает действительной историей... Чего я хочу, к чему стремлюсь, так это рассказать обо всем максимальному количеству людей. Я надеюсь, что когда-нибудь моя книга будет переведена на арабский язык и будет прочитана и обсуждена⁹⁹.

Конечно, надежды на то, что твой голос будет прежде всего услышан теми, к кому он обращен, сбываются не сразу. Бенджеллун это знал, хотя и прибегал ко всевозможным тонкостям, чтобы миновать пороги цензуры, — насыщая книгу символикой, порой просто шифруя ее, говоря полупонамеками. Само по себе это уже затрудняло общение с читателем, с прямым адресатом. Но от этого не становится менее значительной попытка «взятия слова», «prise de la parole» и самого художника.

Суметь рассказать о том, что такое родное Марокко, какими болями живет и какими надеждами согрето, что знает о себе и каким видит и осознает себя, и выразить все это в уплотненных, насыщенных художественных образах, найти такую емкую структурную и композиционную формулу, в

⁹⁹ «Жен Африк», № 684, с. 38.

которой уместилось бы большое историческое и социальное пространство, сгустить, сконцентрировать его, довести до символического звучания, смещающего и расширяющего границы поэзии и прозы, — это одновременно и заставить услышать не только свой голос, но и голос своей страны, расширить наши познания о ней и дополнить тот образ, который создан другими современными писателями Марокко. В этом писатель видел свой гражданский долг и именно так осознавал свою миссию на первом этапе своего творчества.

*Во имя грядущего
Слушайте пульс планеты,
Освойте язык
Всей земли угнетенных...¹⁰⁰.*

Характерно однако и то, что очевидный романтизм его, сопряженный с юношескими надеждами на изменение окружающего миропорядка, был исполнен мотивов, тем и проблем, которые оказались тесно слитыми и с проблемами новой реальности, «закрепившейся» в Марокко на долгие годы.

И не случайно, что и образ Матери, «молчание» которой было громче, чем любые вспышки современной «эмансипации», и тень Отца-патриарха, и найденные писателем «вечные краски» Танжера как «Города-предателя», «Города Забвения» идеалов борьбы за Независимость и Свободу (а мы вспомним, что оттуда когда-то, в далекие века (711 г.!) началось и завоевание арабами и берберами Южной Европы...). И — главное — образ «детей Солнца», символа марокканской земли и ее народа, лишённые и Света Знания, и Света Свободы, надолго останутся в творчестве писателя (как и мн. др.), уже обращенного не только в «воображаемому», но и к реально свершавшемуся в окружающей действительности.

¹⁰⁰ Ben Jelloun T. Hommes sous linceul de silence. Casablanca, Atlantes, 1971, p. 16.

И если перекинуть мост к произведениям Т. Бенджеллуна конца XX — начала XXI в., то мы услышим в них и эхо, и прежние мелодии его поэтических книг 60–70-х годов. Но и разочарований было уже немало.

И начав эту главу с достаточно объемной презентации раннего периода творчества Т. Бенджеллуна, я могу, завершая ее, вполне аргументированно представить в общих чертах и тот период, где прозвучали, трансформируясь в тональность нового времени уже вполне утраченных иллюзий о «грядущих веснах» родной страны, — и отметить, как в начале XXI в. был воссоздан писателем портрет матери, уже не в воображаемом ее превращении в бесстрашную Харруду — птицу-вещунью, «взрывавшую молчанье», но в реалистическом вполне типичном образе марокканки, живущей в стенах Дома, где властвовала сила давних традиций¹⁰¹.

Исполненное автобиографизма повествование, которое хотя и обозначено писателем как роман (этим только подчеркивается типичность рождаемого художником образа), посвящено своим детям, которые давно уже со своим отцом во Франции (один из них тяжело болен и там и лечится), но не только затем, чтобы напомнить им «о корнях», но, как всегда, и рассказать правду о жизни тех, чьи уста были «сомкнуты вечно», и только череда дней привычной жизни да «память о прошлом» позволили человеку существовать и надеяться «на другую» — где-то «в вечности» — жизнь. Т. Бенджеллун в своем «резюме» этой прекрасной, исполненной нежности сыновьей любви, детальных описаний незыблемого уклада бытия правоверной мусульманки-марокканки, воспроизводя его не только по своим детским и юношеским воспоминаниям, но и тем знанием, которое имел, почти не прерывая свои визиты в «отчий дом», написал: «Уже утасающая память моей матери погружала ее вновь и вновь в последние месяцы в ее детство. И она ста-

¹⁰¹ Ben Jelloun T. Sur ma mère. P., 2008.

новилаь внезапно то совсем маленькой девочкой, то юной девушкой, очень рано выданной замуж... Она начинала рассказывать доверительно, словно исповедуясь, о всех, кого знала, кто был жив и тогда, и сейчас а кто и умер уже...

«Сынóвья, как и дочерняя любовь, часто стыдлива, остается невысказанной или непоказанной. Рассказывая о своем прошлом, моя мать словно высвобождала из себя целую жизнь, в которой она редко была счастлива. Порой целыми днями слушая ее, я восстанавливал звенья цепи ее прошлого, страдал вместе с ней и открывал ее саму для себя по-новому.

Эта книга «О моей матери» и была создана по фрагментам ее воспоминаний, которые жили в ней, которые ее память выпустила на волю. И это позволило мне воссоздать ее жизнь в старом Фесе, в древнем квартале этого марокканского города эпохи 30-х и 40-х годов прошлого века, вообразить (или додумать) и те моменты ее прошлого, когда она могла испытать и радость, и страдания. И всякий раз, когда я пытался описать ее ощущения или эмоции, это было подобно прочтению, или скорее переводу того, что она сама не могла бы позволить себе сказать. Я озвучивал ее умолчания. Или давал слово молчанию.

Вот почему это роман, где рассказано о подлинной жизни, с которой не был вполне знаком раньше, да и просто не ведал о ней»¹⁰². Как и его братья, портреты которых написаны в этом романе, как и многочисленная родня, собравшаяся в доме, где уже шли приготовления к традиционной церемонии прощания с умирающей...

Все собрались за несколько дней до смерти матери, в Танжере, на исходе мусульманского поста, в декабре, когда льют дожди повсюду на том севере Марокко, который ближе всего к югу Европы. А там, как известно, когда-то

¹⁰² Это слова самого писателя, помещенные, как принято в его издательстве (Gallimard) на обложке книги.

царила Андалузия, огромное и могучее государство, созданное арабами и берберами еще в VIII в. и продержавшееся почти до конца XV столетия. Потомки правящих тогда там династий, в одной из которых были, по приданию, и потомки самого пророка Мохаммеда, осели после изгнания из Испании в родных местах, и в Фесе их было довольно много еще и в 60-е годы XX в.¹⁰³ Среди них была и семья матери, как полагали «знающие люди», и она стала в неполных 13 лет супругой какого-то богатого и тщеславного старика, пожелавшего «породниться» с бывшей знатью... С тех пор она знала один удел — рожать детей и почти не выходить за пределы дома, разве что в «хаммам», где совершают свои регулярные омовения марокканские женщины под «присмотром» мужчин — либо мужей, либо братьев, сидящих у порога и бдительно поджидающих, когда они выйдут со своими банными принадлежностями, переодевшись в чистое платье и благоухая ароматами цветочных масел, которые втирались в еще теплую кожу... Почти праздник. А так — череда традиционных обрядов и ритуалов — радость рождения сыновей, потом — их обрезание, потом — свадьбы и далее — ожидание тех же радостей у своих невесток. Выданье замуж дочерей с помощью своих, — договоров с родителями женихов по поводу приданого невест, и снова — ожидание рождения их детей, редкие визиты в будние дни родственников, приходящих со своими рассказами о жизни своих семейств, хлопот по хозяйству, основные заботы о котором брали состоятельные мужья, не позволяя своим женщинам ходить ни на рынок, ни в лавки за продуктами. Из года в год, изо дня в день — почти монотонная жизнь, освещенная лишь одним лучом давней надежды — сходить в паломничество к могиле святого по-

¹⁰³ В одном из таких «старинных» родов» нам с мужем удалось побывать, и старая хозяйка дома показала нам, достав из гардероба, массивный ключ «от дома предков из Гранады».

кровителя Феса — Мулая Идриса — «посредника», — как считала мать, — между ней и самим Пророком...

Первый муж рано умер, и она «досталась» небедному купцу и мастеру по раскрою знаменитых шелков Феса, которые славились далеко за его пределами. Он и стал отцом ее четырех сыновей и двух дочерей, которые пополнили число ее прежних детей, многие из которых умерли еще в младенчестве... Когда сыновья уже выросли и обзавелись своими семьями и даже уехали, как старший, во Францию на работу, у матери были только заботы об их здоровье и благополучии, а о своем житии почти в полном затворничестве, почти «святом», она и не думала, и даже отказывалась от поездок и к морю, и просто «на прогулку» по городу на машине, когда предлагал кто-то из сыновей, а если и выбиралась, то ненадолго, и жаловалась и на дорогу, и на усталость, и просто рвалась домой, где было и привычнее, и казалось «надежнее»...

Второй муж ее относился к ее существованию почти безразлично, посмеивался над ней, — она казалась и ««старомодной», и «неинтересной», и он предпочитал молоденьких и вполне легкомысленных, особо « не церемонящихся» девиц... Он и умер, больной и старый, но с грезами о своих прежних «приключениях»...¹⁰⁴ А она прожила свою долгую жизнь, так и не познав ни радости любви (о которой ей только рассказывали другие), не зная, что такое «свобода», что может или что хочет позволить себе женщина, не обремененная ни «оковами традиции», ни властью мужчин, которым было дозволено «свыше» распоряжаться жизнью женщины, лишая ее права на «выбор». Радостей вообще было мало в старости.

Разве что для своих детей, когда они навещали ее, она любила готовить их любимые блюда и знала, что они всегда ей скажут «спасибо, мама!» и улыбнутся искренне и

¹⁰⁴ Книга об отце написана Т. Бенджеллуном прежде, чем о матери: «*Jour de silence à Tanger*». Р., 1990.

нежно... Так и проходило ее время в долгом ожидании чего-то того, что называла она своим счастьем, и жизнь своя не казалась ни лишней, ни никому не нужной, и не знала она и не ведала, как ее муж, ни «вечных измен» своих друзей, ни утраты веры в жизнь «без предательства» и скуки...

Как и отец, мать умерла в Танжере — туда они перебрались уже после Независимости, установившейся в стране, добившейся ухода французов из Марокко. Но Танжер еще оставался «международным» по статусу городом, и торговля поначалу шла там бойко, и люди были вполне соответствующими намерениям отца разбогатеть. Да и его пристрастиям к «авантюрам». А мать Танжер так и не полюбила. И не случайно в романе она завершает свой «жизненный маршрут» (точнее, своими вспышками памяти о нем) именно в тот черный день, когда шел дождь, словно проливая слезы над той, которой так и не удалось свершить свою последнюю молитву у мавзолея святого в ее родном солнечном городе Фесе... Один из сыновей ее даже решил, что после ее кончины он сам отправится в паломничество, но в Мекку, чтобы там уже помолиться за всех... «И я не знал уже, — пишет автор, — была ли эта волна горя, охватившая ее сыновей или холодный зимний ветер, что поднимал пыль воспоминаний и погружали в горечь дней, оставленных где-то позади...» (с. 262–269).

...Полвека разделяют два знаковых произведения марокканской литературы XX–XXI вв. — роман Д. Шрайби «Это цивилизация, мама» (1954) и «О моей матери» Т. Бенджеллуна. В первом сын воображает свою мать, приобщающуюся к «Прогрессу», к выходу за стены «малой тюрьмы» своего дома, где властвовал Патриарх-отец, пытающуюся воспользоваться «благами цивилизации», научившуюся «больше не молчать», но даже выходящую на демонстрации «освободившихся от рабства» женщин-мусульманок, борющихся за «свободу для всех!» (этот воображаемый образ быстро сменился утратой иллюзий пи-

сателя уже в другом его романе — «Завещание», 1964). Возможно, эта «взявшая слово» Мать стала «пусковым» для образа вечно возрождающейся птицы — Харруды у Бенджеллуна. Но во втором его романе о матери — даже не утраченные иллюзии, но какая-то неизбывная печаль по так и незавершающемуся времени попыток освобождения родной земли и ее угнетенного народа и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е годы, и далее, — как покажет творчество писателя конца XX — XXI вв.¹⁰⁵

Он ведь не просто создает словесные «повествования о жизни», что-то обобщая, что-то многозначно символизируя или однозначно метафоризируя (как образ Матери — земли — лона — птицы-Надежды), но и художник в прямом смысле этого слова (Бенджеллун рисует профессионально — у него немало и рисунков, и есть книга о творчестве итальянского скульптора Джакометти). Можно сказать, что и в этом романе о Матери, и в предыдущем — об Отце возникают портреты на фоне, определяющем настроение их восприятия, что создает *зримый* образ погружения «в мир тишины» и душевного смятения, и бездну горечи, отчаяния человека. И если «молчание» жизни матери обусловлено некоей незыблемостью приверженности женщины к традиционному укладу, к добровольной «прикованности» к цепям суетной череды обычных дней, то «День молчания в Танжере» воссоздает портрет отца на фоне быстро менявшейся эпохи, прервавшей его жизнь в Фесе и забросившей в город у моря «с открытыми горизонтами», внушавшими надежду, преисполнен безвозвратности утрат и потерь, переполнявших жизнь героя романа. «Молчит» пространство дома, где все ему — и не милы, и чужды, и жена, и служанка, и какая-то родня, изредка при-

¹⁰⁵ Т. Бенджеллун был не одинок в своих свидетельствах: о резких социальных и др. контрастах страны писали и демократическая пресса, и политологи, и историки постколониальной действительности, но я, навсегда очарованная природной красотой Марокко, буду доверять именно голосу писателя, сына этой земли, оставшегося идеалом будущего ее «освобождения».

ходящие. Друзья — или умерли, или «предали его», и он не хочет ни вспоминать, ни слушать их бывшие голоса и речи. Ненавистен и шум холодного дождя, льющегося над Танжером, как стал ненавистен и сам этот город, где рухнули его надежды на возможность «кроить свои старинные шелка» для «новых» людей...

Старый и больной человек, уже не верящий никому и ничему (даже лекарствам), пытается как-то избавиться от немощи, утешая себя только воспоминаниями об утехах когда-то молодого его тела, да пытается мысленно возражать своим детям, «не вполне» любившим его, давно покинувшим «отчий дом», не захотев жить в «оковах Прошлого» и не простивших его нелюбовь к их матери. Автор романа, «воспроизводя» этот предсмертный «день молчания» в Танжере, «переводя» его в «зримые» слова прекрасно организованного «потока» текста, даже «озвучивает» последние мгновения жизни и вспышки памяти отца, переходя от описаний «шума дождя» к «шуму» улиц и «живой жизни» в тесной кофейне соседнего квартала, переполненной людьми, пришедшими посмотреть по телевизору футбольный матч: «Дождь прекратился. Ветер стих. Стекла запотели от дыхания... Не различить лица. Но слышен только гул, и даже рев толпы, когда во время матча кто-то забивает гол. В Танжере — прямая трансляция из Испании, и из Англии... И те, у кого нет дорогостоящих антенн, приходят сюда — не выпить кофе, не поговорить, нет, но чтобы вместе с другими сидящими где-то там, на трибунах, испытать тот же энтузиазм или даже ярость и гнев... И эти звуки доносятся и в дом отца... И он хотел бы слиться с этой толпой, теряющей голову из-за какого-то забитого гола... Эту страсть он не понимает, но сейчас хотел бы испытать хоть ее... Хотя саму игру не любил никогда. Не хотел рисковать. Вот и выбрал Танжер. А надо бы было перебираться в Касабланку... Там — сплошь аферисты... Хотел заставить себя больше ни о чем не вспоминать, не думать. Просто по-

грузиться в пустоту. Где нет этих проклятых иголок наваждений Прошлого. Он даже пытается встать. Открыть дверь. Дождь прекратился, ветер сменил направление. Стало свежо. Тучи рассеялись. Сменился даже цвет неба, исчезла серость. И снова вдруг вспомнилось лето, солнечные дни, молодая девушка на велосипеде с развевающимся легким платьицем... Не сон ли это?.. Но он почувствовал дыхание тепла на своем лице... И словно уселся вместе с этой прекрасной юной девушкой на ее велосипед и быстро помчался вдаль, озаренную светом и «сиянием зеркала» (с. 121–123).

Последний его «отблеск» — один из образов романа. Зеркало, стоящее в комнате отца, не давало ему спокойно «дожить» до конца своей старости и немощи, — оно словно отбрасывало его назад, в Прошлое, отражая всю его жизнь в его воспоминаниях. И «рассказали» о нем то, что не знали и о чем не ведали ни его семья, ни его друзья. О его единственном оружии, с которым он сражался со всей вереницей своих неудач — иронии, усмешке, — сознанию своего бессилья изменить что-либо вокруг...

Вышедшие уже позднее «Дня молчания в Танжере» романы Т. Бенджеллуна «Человек расколотый» («L'homme rompu». Р., 1994) и «Похвала Дружбе», где всегда есть тень предательства» («Eloge de l'Amitié, Ombre de la trahison». Р., 2003), как и «Последний друг» («Le dernier ami». Р., 2004) — в общем посвящены основной теме творчества писателя 1990–2000-х годов, где он обращает свой взгляд на новую реальность Марокко. И неслучайно в отмеченных выше романах фон событий — именно Танжер, город так нелюбимый героями книг о матери и об отце, город, воплотивший в себе черты как бы противоположные сути жизни «предшествующей», пусть и в оковах традиций прошлого, но хранившей еще ту особую самобытность, в которой были возвращены и могли уживаться и созреть мечты и надежды юности на будущее. Но всё оказалось жесткой и даже

беспощадно жестокой и циничной реальностью того времени, которое бурлило и кипело после Независимости, когда страна искала и путь в Будущее, выбирала дороги прогресса, но одновременно держалась и на основах монархии, прибегая и к репрессиям, расправам с теми, кто пытался отстаивать принципы демократии и свободы.

В «международном» Танжере кипел котел разных страстей, царил «почти западный» дух торговли и наживы, люди полагали себя вполне «современными» и словно забыли, что они живут и среди тех, кто еще помнил и «заветы предков», и «заветы Аллаха». Герой романа «Человек расколотый» будет метаться в сомнениях и страхах и перед совестью, и перед теми, кого «предал», став обычной жертвой абсолютно коррумпированного общества (еще и называвшем себя «племенем»), совершив однажды проступок, за который будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Он был простым чиновником, работал в какой-то строительной компании, где шеф однажды «подставил» его, зная его материальные затруднения, запутанную личную жизнь и связанные с этим неприятности, и человек взял «конверт», данный ему как взятка за какое-то «дельце» со стройкой дома; он, разумеется, большую часть отдал начальнику, но сам кое-как выпутался из своих затруднений... Однако, с тех пор, с ним стали происходить «странные» вещи — он слышал «голоса», увещевавшие его в бессовестности поступка, снились кошмары, виделись странные «тени», и он стал всерьез подумывать, что уже «ни ночь», и даже «ни смерть не избавят его от тоски и смятения». Выходя на улицы Танжера, слышал «эхо прошлого», «другой эпохи», но наткался повсюду только «на стены жестокого настоящего». Он пытался бродить в «бидонвиях» — нищих кварталах Танжера, но понимал, что и там бедные люди только «бьются головой» о «кривые зеркала» своей жизни, вознося к небу свои молитвы и прося Всемогущего о помощи... «Пеплом рассеиваются они и падают вниз... Небо

ничего другого и не дает. Оно скупое и усмехается, глядя на обращенные к нему глаза людей! О, Боже, как трудно иметь ясную голову и видеть насквозь этот ужасный мир, где не сбываются никакие надежды! Уродливый век, ужасные люди. Но и ужас смерти невыносим» (с. 220).

И «Человек расколотый», с разбитыми надеждами, с потерянной совестью, вернется на «круги своя», в свое «племя», где ему будут рады, подумав о его «выздоровлении», и он не раз и не два еще возьмет этот ему ненавистный «конверт». Однажды, правда, подумал, проснувшись ночью, что «Аллах его не простит». Ведь когда-то в школе он учил Коран и помнил еще на память ту суру в которой сказано, что Всевышний и Всемогущий «ведает о всех людских деяниях» (с. 210). И знал, что будет гореть в «вечном пламени». Но от пагубной уже страсти своей к деньгам «человек расколотый» так и не избавился...

Наступление такого рода «современности» не было созвучно романтическим надеждам молодости, запечатленным в периоде творчества Т. Бенджеллуна 60–70-х годов. Да и тем более зрелым героям тех его романов, которые явлены в образах Отца и Матери, чье поколение, постепенно прощаясь с Прошлым, одновременно теряло и близких людей и друзей, которые и по-своему быстрее адаптировались к новым временам, а порой и просто предавали свои прежние идеалы. И тогда воцарялось и в творчестве писателя тема «измены» и даже «предательства», как в «Похвале дружбе» (переходящей во вражду) или в «Последнем друге» и др.

...На мой слух, в русских синонимах французского слова «trahison» есть оттенки звучания: слово «предательство» как-то драматичнее и глубже, чем «измена». Поэтому «точный» перевод названия повествования с обозначенным только на обложке жанром «Eloge» (т.е. «похвала» или «восхваление») одного явления — l'amitié, приравненного (или уточненного — через запятую) с «trahison», был бы

затруднителен, если бы не глубина горечи, можно даже сказать, отчаяния рассказчика от «утраты» друзей, так или иначе изменивших ему. И эти «измены» переживались каждый раз почти как «смертельная потеря» — не только подруг и товарищей, но и всех их совместных надежд и идеалов, которые на какое-то время связывали их жизни прочными узами. В серии портретов так или иначе «утраченных» друзей (женщин и мужчин, марокканцев и французов) предстают разные индивидуальности, «сложные» и «простые» личности, меняющиеся нравы разных лет на протяжении жизни рассказчика. Трудно сказать, насколько всё запечатленное автобиографично для писателя, однако это и не «роман», т.е. жанр, не лишенный доли воображения и типизации, как «Последний друг», где разрыв с товарищем детства и юности, их совместного пути от начальной «коранической» школы при мечети до Университета, пути, казавшегося ранее «нерасторжимой нитью» связавшего их судьбы, воспринимается рассказчиком (роман написан от первого лица) тоже как «смертельный удар». В «Похвале» дружбе — как бы философское осмысление, подкрепленное цитатами из Цицерона и Сократа, человеческих взаимоотношений, которые «выше любви» и даже религии. «Дружба — это религия без Бога и без кар последнего Суда. Без дьявола, конечно. Религия, не чуждая любви. Но той любви, когда война и ненависть — похожи, и когда молчание — возможно и дозволено. Дружба — это состояние утешения души. Идеальная связь человеческих существований. Связь столь же необходимая, как и редкая... Когда в друге своем можно увидеть, как в зеркале, того себя самого, о котором мечтаешь» (с. 9). Писатель использует и старинную французскую поговорку для определения самого состояния восприятия дружбы: «Toujours présente, jamais pesante» («Всегда присутствует, но никогда не отягощает»). И уточняет, что его «страсть к дружбе «не довольствуется только эгоистическим культом такого рода отношений лю-

дей», но и имеет целью «распространить их на окружающих в попытке объединения» и их «узами дружбы» (с. 48). «Дружба, которую можно прочитать на лицах таких людей, в их жестах, их поведении, — это как цветущий луг, возникший в твоём воображении в глухую ночь одиночества» (с. 123). По-русски «луг» и «луч» почти созвучны. Поэтому продолжение этой фразы, где есть два слова — «*petite lumière*» (маленький свет) можно перевести как «Дружба — это луч, который тихо озаряет рассвет нового дня» (с. 121).

Так что романтизм юношеского творчества оставил свой неизгладимый след в реалистической прозе писателя и конца 90-х, и начала 2000-х годов, уже вполне омраченной тенью тех перемен, которые происходили в родной стране.

Возможно, прибегая к опоре на древние, но вечные мысли, писатель как-то оправдывает «распад», «раскол», «предательство» и «измены», когда замечает, что в Марокко некое (этно-конфессиональное) в истоках — «чувство семьи», «племени», «рода» преобладает над чувством необходимости дружбы, и марокканцы прежде всего думают о «крепости своего племени», чем о том, с кем им идти *по дороге в будущее*, напоминая слова Цицерона, откровенно сказавшего о том, что «природные связи, установленные между родственниками, хрупки. Дружба просто человеческая куда более солидна и прочна. Родственник может и скрыться, и исчезнуть. А друг — никогда. Он должен быть преданным тебе навсегда» (с. 121). Вот почему порой неожиданность предательства друзей воспринимается как «форма молчаливого убийства человека» (с. 134), самой его Веры в Дружбу. «Наступает смерть дара души и сердца... Предательство — это символ преступления. Человека убивают изнутри, бескровно... Акт предательства это не только разрыв Доверия, но и откровение ханжества, воплощение Зла... Оно провоцирует несчастье того, кто часто становится жертвой простой человеческой зависти или ревности»... (с. 135).

...Мое знакомство с писателем ограничено восприятием его в 90-е годы как человека весьма спокойного и даже вполне прагматичного. Мы долго говорили о возможности его дальнейших переводов на русский. (К тому времени у нас уже был опубликован его знаменитый роман «Священная ночь», 1987, русск. пер. 1990), за который он получил Гонкуровскую премию. Хотя я знала, что жизнь его во Франции сопряжена не только с писательской славой, с его научными и публицистическими работами о жизни североафриканцев в этой стране, но и с немалыми проблемами его собственной семьи, да и с резкими изменениями в общественных настроениях после раскола всех «левых сил» еще в 70-е, а потом краха СССР...

В начале 90-х особенно вообще было нелегко русским и отвечать, и задавать вопросы многим, знавшим нашу страну совсем другой... А тут еще и война в Чечне... Тахар Бенджеллун ни меня, ни переводчицу его книги ни о чем не расспрашивал. Он многое понимал. Ему самому пришлось выдержать испытания, и клеветы, и предательства друзей, и зависти и ревности к своей славе... А она далась не просто: «взятие слова», поведавшего Правду о жизни марокканцев и на Востоке, и на Западе, было не только в традиции новейшей литературы североафриканцев, но и обнаружением нового таланта в мировом литературном франкоязычии, способного отстаивать эту правду всегда.

Глава II

ОКОВЫ НАСТОЯЩЕГО И ЦЕПИ ПРОШЛОГО

Если довольствоваться воспроизведением рассказов, передаваемых традиционным путем, не основываясь на правилах, полученных в результате опыта..., на самой природе цивилизации и на характерных чертах человеческого общества, если не сравнивать далекое прошлое с настоящим, то невозможно избежать заблуждений... Только путем тщательного изучения и большого старания можно познать истину.

Ибн Халдун

Я завершала предыдущую главу, перекинув «мост» к произведениям писателя 1990–2000 годов, в которых были отзвуки мотивов раннего творчества. Но если придерживаться последовательности показа эволюции прозы Т. Бенджеллуна, то надо остановиться на тех ярких примерах, которые характерны для эпохи конца 70–80-х годов.

...Тема чужбины — одна из главных и самых горьких тем, которые волнуют писателей-магрибинцев. Особенно тех, кому пришлось жить и работать на Западе. И практически всех франкоязычных прозаиков и поэтов Алжира, Марокко и Туниса, для которых обращение к этой теме — не только выражение заботы художников поведать правду о жизни своих соотечественников на Западе. Это и своеобразный диалог с ними, попытка заново оценить казавшиеся

ранее единственно верными духовные и социальные ориентиры, пересмотреть идеалы, способ обнажить суть «капиталистической цивилизации», послать своеобразный сигнал тревоги, предупреждения не повторять пути, который выбрасывает человека на обочину жизни.

Изображение Т. Бенджеллуном существования арабов во Франции становится одновременно двойной задачей: не только художественным написанием картины жизни соотечественников «за рубежом», но и способом показа истинной реальности, «внутренних болезней» Запада, его некогда «тайных» или стыдливо скрываемых «недугов» и язв, теперь «вдруг» резко обнажившихся, когда глубинные социальные и экономические конфликты и противоречия обернулись острой внутривластной борьбой. А она показала (особенно к концу 80-х годов), что одной из немаловажных причин укрепления крайне правых партий является именно «арабский фактор», очевидное влияние иммигрантского слоя на все сферы общественной жизни страны, так или иначе связанное с решением насущных проблем. «Présence arabe» («арабское присутствие») в Европе, как некогда «présence française» («французское присутствие») — так скромно называл себя колониализм, как некогда в Африке, меняет, внедряясь, многие структуры национальной жизни. С той разницей, конечно, что наличествует в недрах не колониального, но республиканского общества. Но именно поэтому и процесс «проникновения» этого «презанс» идет интенсивнее, приобретая черты драматического конфликта, столкновения с миром, в котором происходит «утрата идеалов».

Сегодня существование многомиллионной армии иммигрантов в жизни Франции — это уже возникновение специфических явлений не только в сфере социопсихологии (приводящих всё к новым и всплескам расизма и шовинизма — отголоскам прежних колониалистских «болезней», и обратным реакциям к всполохам террора со стороны му-

сульман), но и в сфере национальной культуры: литература 80–90-х гг. «бёров» — выходцев из среды североафриканских эмигрантов, уже не в первом поколении живущих по другую сторону Средиземного моря, ставших своеобразным этническим меньшинством, — яркий пример новых напластований в современной литературе Франции, связанных с новым кругом идейно-эстетических проблем¹.

Вопросы, занимающие многих магрибинских писателей, издавна обратившихся к теме «Запада», решались ими преимущественно в плане остросоциального показа и критики явлений, запечатленных в художественных произведениях (например, в творчестве М. Ферауна, А. Мемми, Д. Шрайби, М. Диба, Р. Буджедры и др.). При этом нельзя не отметить все возрастающего «психологизма» в использовании этой темы. Все более углублявшийся показ не только конфликта, вызванного эмиграцией на Запад как следствием экономической нищеты и отсталости, привел к неизбежности социального и политического «изгойства рабочих-североафриканцев (феномен «бико», запечатленный, например, в творчестве Шрайби 50-х годов XX в. и в целом в литературе «бёров»).

Такие писатели, как М. Хаддад, М. Мемми, Р. Буджедра, Катеб Ясин, М. Тлили, М. Диб, М. Шареф, С. Бхири и др., в разное время не пренебрегая показом либо социального, либо политического смысла конфликта «человек — чужбина», блистательно исследовали и психологическую глубину трагедии людей, оказавшихся вынужденными существовать без родины. Чаще всего эта психологическая глубина обнаруживалась в последовательном раскрытии процесса «взаимодействия» героев произведений магрибинцев с окружающими их обстоятельствами жизни (романы Хаддада 50–60-х годов, например, «Набережная Цветов не отвечает» «Ученик и урок», или «Скорпион» Мемми, 1968), или «На-

¹ Подр. см.: Прожогина С. В. Восток на Западе. М., 2003; «Магрибинский роман». М., 2007.

дежда была на завтра» Бхири, 1982), в процессе постепенного «накопления» личностью тех свойств и ощущений, которые приводили ее в конечном счете к конфликту с окружающей действительностью, к неприятию ее, резкому «отвержению».

Алжирец Рашид Буджедра, пожалуй, один из первых в литературе Магриба сломал рамки «традиционного» реализма и, используя технику «нового романа» — «бесстрастную» фиксацию, регистрацию и даже каталогизацию примет «агрессии» Запада, поместил своего героя-эмигранта (роман «Идеальная топография для характерной агрессии», 1975) в капкан подземного ада — метро, где его в день приезда убивают фашиствующие молодчики. Сузив социальное пространство до размеров нескольких станций парижского метрополитена и сократив историческое время до одних суток, сведя к минимуму набор признаков дегуманизирующей сущности той цивилизации, где торжествует конфликт «своего» и «чужого», направил ее разрушающий заряд, убивший человека, отправившегося за море искать Счастье... Алжирец Б. Сансаль в 2015 г. уже создает подобный вариант убийства «наоборот» — на Западе уже случались и продолжают случаться неоднократные вспышки исламского террора — как «жестокую месть» «Востока Западу»².

Процесс «взаимодействия» человека и чужбины, только в плане регистрации возникающих у героев произведений магрибинцев ощущений и переживаний в связи с увиденным, услышанным, непонятым, обрушившимся на них грохочущей лавиной «холодного и «металлического», но одновременно безмолвного, равнодушного, жестокого мира — налицо.

Тахар Бенджеллун в своей повести-исповеди «Одинокое заключение» [Ben Jelloun T. La réclusion solitaire. P., 1973] в определенном смысле вскрыл глубинные истоки

² B. Sansal. Le train d'Erlingen ou la métamorphose du Dieu. P., 2015; 2018

этих взрывов ненависти, сосредоточивая изображаемое по восприятию человеком окружающей его жизни и показе образа героя повести как уже и т о г е свершившегося воздействия, как некоего конечного производного от суммы объективных (социальных, политических, экономических и прочих) обстоятельств: «Мы — деревья, вырванные из земли, отосланные на холод... Когда мы прибываем к берегам Франции, — наши ветви уже не тяжелы, листочки их легки, они — мертвы. Наши корни — сухи, и нет у нас больше жажды... Все тяготеет к смерти в нас, и сок больше не течет внутри ствола...» [с. 56]. Такой способ позволяет писателю выбрать еще более малый масштаб художественного изображения внешнего мира, сокращая его до объема «дорожного сундука» (valise) — символического жилища эмигранта — или убогой «комнаты-камеры», где ютятся на нарах его товарищи по несчастью — североафриканцы, познавшие в своих скитаниях и мытарствах «стальные тиски», «капкан» самой системы, эксплуатирующей само бесправие наемных рабочих, прибывших из-за моря...

Вот почему повествование Бенджеллуна сразу же начинается с мотива «угасшего солнца» — символа уже утраченных, несбывшихся идеалов, несостоявшихся надежд: «Солнце спрятало свои пальцы в пепел тучи, которая закрывает меня от жизни...» [с. 14]. Бенджеллун пишет «Одинокое заключение» как метафору «отделения» человека от самой Жизни, словно имея в виду все первоначальные стадии знакомства эмигрантов с Западом, прекрасно запечатленные ранее и Д. Шрайби (роман «Козлы»), а потом и Р. Буджедрой. (Небольшие зарисовки этапов этого трагического «паломничества» в Европу своих соотечественников Бенджеллун предпринимал и в серии стихотворений и лирических эссе, которые вошли в сборник «Миндальные деревья умерли от ран», о котором мы писали выше.) Весь предшествующий опыт (в том числе и его работа в Центре медицинской и социально-психологической по-

мощи эмигрантам в Париже) позволяли Бенджеллуну сразу углубиться в описание состояния души человека, оторванного силою обстоятельств от родной земли и вынужденно жить на чужбине.

Отсюда и избранная форма повествования — исповедь, возможно, одна из тех, что выслушивал Бенджеллун во множестве, а скорее всего — вобравшая в себя всю горечь многочисленных историй, рассказанных ему и документально зафиксированных в его работе «Самое глубокое одиночество» (1977), ставшей своеобразным «сводом» историй болезней — души и тела — североафриканских эмигрантов, но одновременно и свидетельством, и обвинением преступлений, совершаемых обществом, допускающим тройное угнетение Человека — экономическое, социальное и расовое...

Художественно «сгущенное» в один голос — крик о помощи, в мольбу о сострадании, в плач об утраченной жизни — услышанное во время работы в Центре переходит в содержание «Одиночного заключения», очевидно, написанного как лейтмотив документальных исповедей. Этот лейтмотив — в признании эмигрантами утраты способности ощущать себя полноценными людьми, в постоянно нараставшем у них чувстве потери собственного «я», морального и физического одиночества, изгойства, приводившем к депрессии, неврозам, импотенции, к попыткам самоубийства. Причина в целом и врачам, и психологам, и социологам была ясна, но писателю важно было художественно убедительно запечатлеть последствия очевидной «агрессии», степени «дегуманизации» общественных отношений, самой социально-политической системы, способной привести человека к состоянию «абсолютного» отчуждения — «выбросу его на край человеческого существования», за пределами которого открывается лишь бездна «мрака», «небытия» или — жестокая «месть». И если Бенджеллун-исследователь в книге «Самое глубокое одиночество» ис-

пользует документальную основу, которая сама по себе обладает огромной впечатляющей силой свидетельства не только о Западе, но о Востоке, откуда вынуждены были уезжать люди, не имевшие ни работы, ни надежд «на завтра», то Бенджеллун-художник в повести-исповеди прибегает к развернутой метафоре, дабы создать пронзительную картину нечеловеческой жизни несчастных людей и воззвать к совести Человека, к защите тех, кто приговорен себе подобными «разумными существами» к медленной смерти (или наоборот, к взрыву «мести»³).

Т. Бенджеллун, одинаково профессионально владея и методом фактического доказательства, и методом, использующим способы художественного раскрытия жизни человеческой души, в этой маленькой повести выходит за рамки чисто художественной задачи. Произведение становится еще одним из чрезвычайно эффективных средств воздействия на читателя, когда сам «текст», сконцентрированный на одном художественном образе, на обобщающем примере страдания, содержит тот самый максимальный заряд информации, который и поражает не столько своим объемом, сколько убедительностью добытой правды.

«Оптимистом или пессимистом не становятся на пустом месте. Но случается в жизни вдруг обрести пространство, куда бросают вас, как мешок с песком, перемешанным с кристаллами отчаяния и соли» [с. 9], — рассказывал герой «Одиночного заключения», уже прошедший школу знакомства с новой для себя «территорией» — «суперрынком крови и пота, рабства и безразличия» [с. 13], приобретший жестокий опыт «медленной казни», длящейся для него в этом мире «повсюду и постоянно».

Обреченность жить в своем «дорожном сундуке» — это не только плод большой фантазии «заключенного» в жизнь на чужбине эмигранта, уехавшего во Францию в поисках

³ Позднее этим последним феноменом подробно займется тунисец Альбер Мемми: «Le portrait du décolonisé». Р., 2008.

работы, от нужды и лишений на родине, чтобы помочь оставшейся за морем семье, — это еще и его подлинная изолированность, вынужденная отделенность от благ той цивилизации, которые и он тоже создает своими руками... Поэтому воображаемое им существование, переходящее в физическое ощущение жизни «под крышкой сундука», равно действительной помещенности героя в одну из «клеток» людского муравейника, где в промышленных городах Европы обитают североафриканцы, и до сих пор теснящиеся в грязных каморках — «квадратных ящиках, едва освещенных болтающейся под потолком лампочкой», не имея права на нормальную жизнь в доме, принадлежащем частному владельцу, «ненавидящему арабов»... (Любопытно отметить, что такие писатели как М. Фераун и Д. Шрайби писали об этом еще в 50-е гг., Бенджеллун — в 70-е, «бёры» — в 80–90-е... Мало что изменилось и в 2000-е...). Поэтому и воображаемый разговор обитателя «дорожного сундука» с представителями «высшей власти», пришедшими за ним, не вышедшим на работу («в рабство») как за преступником, «подрывателем» общественного порядка», — это не с только образ (почти цитата) из Кафки, сколько реальное ощущение страха перед жизнью, разбившей иллюзии и идеалы: «Почему вы прячетесь в этом сундуке? — Я не прячусь, я здесь живу... Я положил под дверь мои мечты, выбросил их вон. Я потерпел крах, как терпит крах общество, подводя итоги... Какие итоги? — Да всего этого безумия, которое помогало выжить... — Вы делали заявление? — Я сказал о своем безумии ночи, которая живет во мне... — Мы вас арестуем. Вы виноваты в том, что не похожи на других...» [с. 18].

Герою не просто кажется, что люди, постучавшиеся в его «сундук», присланные свыше, хотят удостовериться, «сморщилась ли и засохла его кожа, пророс ли колючками его язык, одеревенели, как ветки, его руки» [с. 17]. Он знает, что человек, оторванный от родной земли, уподобляется

подпиленному дереву, лишь на короткий миг прорастающему худосочными побегами «из самого себя», а потом медленно умирающему, источающему до последней капли свои соки, почерпнутые когда-то глубокими корнями навсегда оставшимися в родной почве... Отсюда — и «вращенность» героя в свой «дорожный сундук», откуда как бы прорываются наружу лишь слабые ростки его мечтаний, его грез, его видений, посещающих его во тьме, в «ночи» его душного, замкнутого, «тесного» существования. Эти ощущения героя множатся, эхом отдаваясь в рассказах его товарищей — соседей по «клетке». У них всех в прошлом разные судьбы, но сведшие их теперь воедино. Кто-то боролся у себя в стране за политические права для народа, за социальную справедливость, кто-то бежал от нищеты, у кого-то были сугубо личные мотивы отъезда. Но все они оказавшись на положении иммигрантов, испытывают одно и то же чувство — опустошенности, оторванности от мира, «подвешенности к тучам» (вспомним стихи русской М. Цветаевой!), которые «проходят между заводом и жизнью», «надрыва» своей жизни, ощущение «края бездны», у которого стоят они в своем «одионом заключении».

Недаром в сознании героя повести исповедь о своей жизни всё время накладывается на «параллель» рассказа его друга — политзаключенного, томящегося на родине в тюрьме, которого страшно пытаются, требуя признаний в несовершенном им преступлении. Застенок, где его мучают, или «комната-камера», или «запертый сундук», где проходит «истинная» жизнь эмигранта, становятся в повести взаимодополняющими образами бесправия, угнетенности, обреченности, жестокого порядка, который «душит» в человеке человеческое. (Сегодняшние преступления террористов бесчеловечны.)

Остра и вечно неутоленная, как голод, тяга эмигранта к простой возможности «человеческого общения», нормального ощущения себя среди других людей, с которыми

можно было бы «обменяться любезностями, а не выстрелами, не проклятиями и ругательствами, но фотографиями, нотами, звуками музыки, адресами, мечтами...» [с. 38]. «Мне горько», — этот рефрен звучит, как в печальном монологе, в повести Бенджеллуна в каждом эпизоде, рассказанном героем, приехавшим в страну, рисовавшуюся ему когда-то образом счастья, «сосудом с благовониями», «дивным миражом» [с. 48]. Человек знал, что солнца здесь «меньше, чем у него в стране», но не ведал, что погрузится он здесь в бездну «мрака», «холод ночи», что у него, «прогретого солнцем», будет «отнято» и само «жаждавшее жизни тело» [с. 49]. Тяжесть изгойства словно выдавила по капле кровь, иссушила безразличием окружающего душу, которая теперь «застыла», «оцепенела». И если из «дырок в небе» еще слышались иногда какие-то тихие звуки «флейты» (надежды), то их пытались заглушить алкоголем, чтобы не терпеть боль разочарований... Человеку, чье тело «изошло тоской», чья душа наполнилась «пеплом» сгоревших иллюзий, оставалась одна «безысходная печаль». Даже не было надежды на «приют смерти». Ведь и гибель от несчастного случая, и смертельная болезнь не были «оправданием» в «ледяных глазах Власти и Порядка». Эмигрантам нельзя было «просто умереть». Они порой не имеют даже надежды на отправку тела на родную землю или права быть похороненными в чужой земле, но со всеми полагающимися мусульманину обрядами... (Это запечатлено и в произведениях алжирцев 80–90–2000-х гг., — свидетельств предостаточно.) Вот и приходится эмигрантам либо хоронить «самоубийц» или «приконченных кем-то из местных» (как официально именуются скончавшиеся) тайком, завернув тело в одеяло и зарыв его где-то на пустыре, на свалке, или выкладывать сообща последние сбережения, чтобы отправить покойника морем к родным в металлическом ящике... Человек не имеет права умереть, он должен

попросту «раствориться» в пространстве, куда его однажды и так выбросили, как «мешок с песком»...

«Вытолкнутые из жизни» существа, прошедшие свое существование в каморках «более тесных, чем гроб», люди не были удостоены даже и человеческой смерти. Бежав от несправедливости и унижений, а порой и от «цепей средневековья» [с. 78] своей земли, человек обретал видимость существования, был презираем и гоним, «как сухой листок в сточной канаве» [с. 69]... Когда-то переполненный надеждами, становился опустошенным от их несбыточности, «израненным», как осколками льда, новой несправедливостью, новым унижением и несвободой.

Так что же оставалось «человеку из сундука»? Иллюзорный праздник души и тела, который дарила ему «картинка» — простая бумажная картинка, вырезанный из какого-то замусоленного журнала женский портрет — прекрасная Грёза, возникающее во тьме ночи чудесное Видение, легкое, как «тончайший шелк», светлое, как луч Звезды, нежное, как песня ребенка... И вся искомая теплота, весь так долго ожидаемый «розовый теплый свет зари» вдруг заполняли мрачное пространство, где с «неба лила только грязная вода», очищали его, омывали, согревали, и человек уже не хотел больше открывать «крышку» своего «убежища» и выходить на встречу с миром, который отнимал у него жизнь.

Но внешний мир властно вторгнулся в туман иллюзорного Праздника любви. Маленькая дочь писала с родины: «Мы получили твой денежный перевод. Заплатили долги. Хотя, правда, не все... Маме пришлось продать свое вышивание... Брат мой ссорится с мамой. Просит все время деньги и возвращается домой поздно ночью... Мама говорит, что во всем виноват большой город⁴... А по радио со-

⁴ После получения Независимости во всех странах Магриба начался массовый исход сельского населения в города в поисках работы: плантации бывших колонизаторов быстро пришли в запустение — не было «умелых хозяев», да и платить стало некому. В Алжире 60-х мы это наблюдали постоянно (С. П.).

общили о том, что у вас там убили в кафе какого-то североафриканца... Дядя все жалуется на боли в спине, с тех пор, как приехал оттуда, где сейчас ты... Его дети ему не помогают... Вот и все наши новости. Оливковое дерево теперь далеко от меня. А ты — совсем рядом...» [с. 120–121].

И весть с родной земли поднимала его «со дна своего сундука», выталкивала наружу, выбрасывала на улицу, заставляя снова двигаться, идти «сквозь толпу, снова невидящую, не замечавшую его присутствия, идти отрабатывать добытое здесь себе право на «продажу своей рабочей силы», чтобы там, на родине, не обрывалась чья-то жизнь, а здесь — снова продлилась его «медленная смерть».

И снова смена дня и ночи, череда реальности и сновидений, пространство окружающей действительности и пространство «внутренней страны», куда все чаще и чаще «укрывается», как в единственно доступное ему убежище, герой. Он «зарывается» в свой вымышленный мир «с головой, все глубже и глубже», лишь бы не видеть реального обмана, который царит вокруг.

Постепенно повествование о «внутренней стране» (*paus de dedans*) и эпизоды реальности сливаются как бы в нерасчлененное целое, как строчки письма дочери, в которых «далекость» родной оливы (дерева — символа оставленной когда-то навсегда сельскими жителями земли) и «близость» отца, с которым можно общаться при помощи слов, написанных на клочке бумаги, — словно «уравновешивающие» друг друга образы боли и утешения...

Боль пронзала изгнанника постоянно — ледяным равнодушием «толпы», беспощадностью эксплуатации, унижительностью животного существования, безжалостным ритмом жизни, пронизанной грохотом и скрежетом металла, машин, «звоном» самой «тишины молчания» окружающего мира — отсутствием поддержки, сострадания, помощи, понимания. Поэтому так мучительно сладко было вспомнить голоса родных, журчание воды в источнике, что омывал

родную оливу, смех дочери, щебет птицы в его ветвях... И всё чаще в своих грезах он слышал голос «безумца Мохи» (который обретет плоть в следующем произведении Бенджеллуна, где Моха станет главным персонажем повествования), юродивого, «мудреца», «вещуна», который призывал его народ увидеть и услышать «правду», узреть причину его нищеты и бесправия: «Деньги, деньги... Деньгами сочится, словно кровью, небо... И сердца человеческие иссыхают, опустошаясь... А это и есть — обреченность на смерть [с. 13]. И голос этого провидца всё чаще сливается с мрачным видением вытеснявшим прекрасную Грёзу с картинки, — видением раненого осла с тяжелым грузом на спине, бредущего по родной стране: «Он зализывает свои раны. Он хоронит свою горечь в клочке сена и молчании» [с. 29].

Терпение и смирение — участь человека там, откуда ушел герой чтобы выбраться из бесправия и нищеты. Прозрение, обретенное здесь, — не менее тяжелая ноша. «Мне двадцать шесть лет и несколько мгновений... Я живу в этом больном мире и знаю, чувствую, что что-то умирает в этих краях. Нежность и время... Нужда — это нож, который входит в тело» [с. 13]. Круг уже замыкался: нищета, прогнавшая семьи в Город с родных мест, с земли, отобранной новым Хозяином — марокканским промышленником, пришедшим на смену колонизаторам, пытавшимся урбанизировать страну, но не сумевшим обеспечить ее рабочими местами; снова нищета и бесправие, погнавшие человека за море искать кусок хлеба, и новое бесправие и нищета, загнавшие в «сундук», крышка которого должна была уже навсегда захлопнуться от безнадежности и беспросветности царившего в нем «мрака».

Но на краю «бездны отчаяния» он вдруг озарен, словно вспышкой молнии, извлечен из «тьмы» своего «одионого заключения» похожей на прекрасную Грёзу, увидившую героя в странствия по «внутренней стране» (памяти души),

живой, реально существующей девушкой с поэтическим именем Газелла. Хрупкая и нежная, «как газель», ливанка, прошедшая суровое испытание жизнью, разделившая тяжкую участь своего народа, потерявшая в беспощадной войне родных и близких, но не сломленная горем, она выстояла, закалила свою волю и теперь пыталась вдохнуть силы и надежду в таких вот, сходивших с ума от отчаяния, как герой «Одиночного заключения». Прорвавшись через «глухую стену» человеческого безразличия и чуждости, окружавшую изгнанника (образ «стены», как наваждение, преследует героя, то «наступая» на него, то «отступая», то «растрескиваясь» и выпуская в образовавшуюся брешь прекрасные видения родной земли и близких), Газелла, подобно трепетной лани (вспомним газель из романа Хаддада), которую когда-то в юности, герой повстречал в пустыне, вдохнула в него силы, «напоила» живительным соком участия, беспокойства за его судьбу. Но главное — обращала его взор к другим страданиям, к другим ранам, к другой боли, к другому горю, от которого «кровоточат» и другие души... Приумножив боль собственную, эта «чужая» боль на какое-то время помогала выбираться из «внутренней страны» навстречу жизни, рождала желание в чем-то участвовать, что-то менять... А еще — задуматься над словами Газеллы, что история «одиночного заключения» сама по себе драматична, но значима лишь для «одного человека», но не значит «ничто» в сравнении с драматической историей целого народа еще и потому, что «народ уничтожить нельзя...» [с. 133].

Но человека — можно. Как уничтожил сам человек своими собственными руками свою «картинку», свою грёзу, свою мечту. Уничтожил, поняв, конечно, бесплодность своих надежд и бесплодность и безнадежность своего спуска «во внутреннюю страну...» Но еще и потому, что сделал это в порыве отчаяния, так и не найдя для себя выхода через «раздвинутую» Газеллой брешь в «стене»...

Недаром этот образ созвучен в повести образу «разрыва», «трещины», «надлома» в душе героя и постоянен в своем смысле, как и образ высохшего дерева, «лишенного жажды», как образ «мертвого листа», гонимого «мутной водой», как образ морской пены, смываемой прибоем. И образ ручья, поившего живительной прозрачной влагой в детстве, и образ светлого паруса, трепещущего на ветру, — лишь призваны оттенить темноту обступившей героя со всех сторон «ночи». «Я потерял свою душу, как город теряет жителей. Я стал кучей камней, застыл, как бетон» [с. 88]. И даже гнев, который, как огнем, сжигал когда-то душу героя, теперь «застрял в его горле» и «душит своим молчанием» [с. 97]. «Моя внутренняя страна устала... Мои рыдания скопились на краю ресниц» [с. 95, 101]. Исповедуясь и как бы вновь совершая путешествие «на край своей ночи», герой повести Бенджеллуна выпускает в конце концов «приглушенный крик»: внутренняя страна вдруг поразила его своей «опустошенностью», пустынностью своего «пейзажа», уподобленного писателем «труп перелетной птицы», схваченной на лету, посаженной на привязь, отравленной, «убитой неволей», камню, «выброшенному холодной ночью за дверь» [с. 115]. «Все отторгло меня, — говорит герой. — Стены, небо, звезды, кожа» [с. 118].

Чужбина, казалось, мстила за измену родной земле. Героя преследовал не только «холод декабря во взглядах», но и само небо, «ронявшее» на него «гвозди» — звезды ранили своим блеском душу, и даже день складывался «из осколков ночи»... И каждое утро, встречая вновь «жестокость окружающего», испытывая постоянный страх попасть в «облаву на арабов» (в 70-е гг. во Франции это было повсеместно), быть подвергнутым обыску, унижению, — всё заставляло героя только «еще плотнее укрываться своим одеялом» и всё больше приближаться к вере в «торжество пугающей негуманности людей», даже если они не выгоняют вас из вашего дома, не сгоняют с вашей земли, не зары-

вают вас в общую могилу и посыпают ваш прах пеплом презрения...

Такая глубина отчаяния естественно, заглушает призыв Газеллы «выйти из самого себя», из своего «сундука», «уйти в другую сторону, идти с другими» [с. 134]. И пустыня своей исстрадавшейся души кажется «исторгнутому» жизнью человеку непреодолимой. Ибо ее пространство омыто горечью разрушенных иллюзий, а не надеждой, как у того народа, который, исторгнутый из своей земли, ушел в свою пустыню с верой в свое возрождение [с. 132]. Но Бенджеллун писал повесть не о том, как нельзя истребить мечту о свободе, живущую в народе, но о том, как можно «умертвить» человека, числящегося в живых. И как этот человек, продолжая существовать на земле, заставляет прислушаться к голосу особому, не жизни его, но самой «медленной смерти». Поэтому в книге так много мелодий душевной печали и боли. Поэтому и здесь проза писателя — это проза Поэта, умеющего в малое пространство текста вместить всеобъемлющую метафору человеческого Одиночества, которое противно планете Людей. Но Бенджеллун прежде всего — художник. И оттого ему не нужно много слов. Они, как пишет автор «Одиночного заключения», «столько раз преследовали его, что и эта книга — всего лишь переодетое в слова Тело» [с. 137]. А вернее — Плоть Души человека, «разлученного с солнцем» [с. 76], но жившего мечтой о счастье, об «обретении пламени», о «прилете орла», способного вырвать его из мрака и вознести к сияющим вершинам... [с. 12]. Однако ставшей пеплом сгоревших иллюзий.

Мелькнувший в «Одиночном заключении» образ-воспоминание Мохи-безумца, «вещуна правды», чей голос слышал на чужбине эмигрант-горемыка, становится основой другого романа, в котором звучат притчевые интонации и герой которого вбирает в себя черты сказочного персонажа, наделенного даром провидения и прорицания. Од-

нако и здесь существенную роль играет именно социально-исторический контекст, хотя и преображенный условиями жанра (романа-сказки). Роман называется «Моха-безумец, Моха-мудрец» («Moħa le fou, Moħa le sage», 1978).

Продолжатель традиций социально-критического реализма, пришедшего в марокканскую литературу с творчеством Дриса Шрайби, Тахар Бенджеллун, как и другие писатели «новой волны», поднявшейся в литературе Магриба в 60–70-е гг., привнес, как мы увидели, познакомившись с «Харрудой» и «Одиноким заключением», в современную марокканскую прозу дух экспериментаторства, выражающийся в поиске новых форм, в усложненном стилистическом письме, в попытке синкретизации поэзии и прозы, в насыщении текста символикой, в стремлении связать остроактуальные проблемы современной марокканской действительности с мифопоэтическими представлениями, раскрыть в художественных образах, пришедших из глубин фольклорной традиции, вековую мечту угнетенного народа о свободе и справедливости.

Роман «Харруда» стал истоком многих мотивов, которые перешли в новый роман: мифическая женщина-птица, живущая в ветвях большого дерева, она же — Великанша, она же — пророчица и защитница, никогда не сдающаяся, возрождающаяся из пепла руин и пожарищ, — Харруда в романе воплощала символ «оскорбленной», угнетенной, но не «павшей» Родины, через которую прошли разные завоеватели, но которая оставалась гордой и непокорной, хранящей в своих «недрах» свободолюбивый дух, неподвластность тирании. Этот свой главный мотив — живущего в народе несмирения, надежды на избавление и от гнета, и от гнева, — Бенджеллун повторил, хотя и в иной вариации, в «Мохе-безумце».

Возникающий здесь образ «le fou» (безумец) также заимствован из арсенала народных представлений: несомненна его связанность и с мусульманским «махдизмом»

— бытующим в неортодоксальном исламе ожиданием «мессии» — Махди, нового спасителя, который избавит людей от земных тягот; несомненна также и связанность его с фольклорным Джохой — персонажем, широко известным в Магрибе под личиной простачка — блаженного, говорящего людям правду, злого насмешника, не боящегося публично высмеивать пороки сильных мира сего. Сказочный персонаж давно «перекочевал» в художественную литературу и под разными именами появлялся и в творчестве М. Диба, и Катоба Ясина, и Р. Буджедры. В романе последнего «Солнечный удар» Джоха становится даже приемным отцом главного героя — Мехди (или Махди), символическое имя которого объясняет и «мессианские» озарения больного юноши, его страстные проповеди, обличение косности традиционных устоев, обрекающих людей на невежество и духовное рабство, его протест против всего того, что мешает обществу идти вперед. Джоха, как бы уравнивая ниспровергателя Мехди, нес в романе алжирского писателя «позитивный» потенциал народного начала — веру в светлое будущее, заряд «исторического оптимизма», несогбенность духа людей, надеющихся на торжество справедливости. Эта взаимодополнительность обозначала «мессианские» возможности образа Джохи и своеобразное (негативное) преломление и отражение их в Мехди (Махди) как своего рода выразителя настроений народа, ждущего пришествия «избавителя», который способен восстановить справедливость.

Вспышки больного сознания Мехди, несущие как бы откровения, ярко и неожиданно высвечивают тот социальный и исторический фон, на котором вырисовывается закономерность нового возникновения подобных настроений и закономерность авторского обращения к традиционным образам алжирца Р. Буджедры⁵.

⁵ См. подробно нашу работу: Прождина С. В. Магриб: франкоязычные писатели 60–70-х гг. М., 1980, с. 80–118; «Алжирская сюита». М., 2014.

С другой стороны, взаимодополнительность двух персонажей романа позволяла одновременно полностью оставить за Джохой его главный мотив, его изначальное качество, или признак народного, фольклорного героя, человека, крепко связанного с землей, прочно на ней стоящего.

В романе же Т. Бенджеллуна «Моха-безумец, Моха-мудрец» такого рода разделенность функций «безумца» почти отсутствует, и народный Джоха окончательно превращается в подлинного «*le fou*» — «безумца-правдоискателя», мудреца-провидца, единственно умеющего слышать «слезы народные» и призванного «свыше» спасти людей от забвения (*l'oubli*), открыть им глаза на истину, возвестить неизбежность катаклизмов, которые смоят с лица земли зло и несправедливость.

Образ Мохи (марокканская сокращенная форма от имени Мохаммед) уже почти целиком построен на «мессианских» мотивах, хотя и со значительной акцентацией социально-политического начала.

Моха в романе — это тот, кто «призван» сказать народу правду, но прежде всего он тот, кто умеет слышать «задушевный голос народа», чувствовать его страдания. Общаюсь с огромным деревом, в ветвях которого якобы живет оракул, Моха словно слушает пульс родной земли, она переливает в него через корни и ветви и свою силу, и свою боль.

Так, услышанный им голос узника, приговоренного к смерти юноши, которого пытаются в тюрьме, заставляя отречься от избранного им пути борьбы за свободу народа, становится для Мохи сигналом к действию. И Моха, спустившись с дерева, идет к людям, рассказывая им всю правду о стране, об ее «безднах» и ее «ранах».

Бессвязные видения, отдельные эпизоды прошлого, вспыхивающие в угасающем сознании умирающего узника, политзаключенного, как бы восстанавливаются Мохой в единую картину жизни, полную чудовищных контрастов,

жизни, где власть «дремучих» устоев и засилье «хищных» порядков держат народ в постоянной нищете и бесправии, но где угнетенный человек борется за свое достоинство. Так, снова в марокканской литературе возникает образ Сеньора, Патриарха⁶, его вечно живущей в страхе семьи, целого племени, где женщины замучены тиранией мужчин, где безжалостно расправляются с детьми, подавляя их волю, и где дети, когда вырастут, станут сами мстить отцу — Господину, каждый по-своему, враждовать друг с другом, избрав разные пути в жизни: одни, приспособившись к новым порядкам, будут копить свои миллионы, эксплуатируя и обманывая народ, другие — встанут на защиту его интересов.

Так, с одной стороны, на этой картине жизни современного Марокко, воссозданной в романе Бенджеллуна, — роскошные виллы знати и буржуазии, с другой — лачуги бидонвилей, убогие кварталы старой части города — «медины», где теснится бедный люд.

Но реалистический план книги, хотя и поданный на этот раз в творчестве писателя крупно и смело, с выпуклыми деталями, достойными мастерства Шрайби, так или иначе постоянно совмещается с планом *надреальным*, но столь же необходимым Бенджеллуну и столь же масштабным: присутствие Мохи, его окружения (Харруда — «женщина-птица», море, трава, деревья, камни — «застывшие слезы земли»; такие же, как он сам, «безумцы»), которые — мы это тоже знаем по своим «юродивым» — не столько «о своей глупости свидетельствуют, сколько другую выявляют», — «особенно боярскую и царскую»...

И главное окружение Мохи — дети, которые повсюду в произведениях Бенджеллуна, словно птицы-проводники весны, несущие радость, надежду, поднимающие ее «со дна земли», из самых ее недр. Они, рожденные в би-

⁶ Из романа Д. Шрайби «Простое прошедшее» (Р., 1953), запрещенного в Марокко вплоть до 80-х годов.

донвиях, на заброшенных пустырях, выросшие в нищете, как волны, идущие из глубин океана, несут силу, новую жизнь, вселяют надежду. Они — и в этом уверен Моха — и есть настоящие «махди», они и никто другой, кроме них, дети этого нового поколения, которое должно наконец-то отвоевать «украденную у народа свободу» и узнать вкус *подлинной независимости*. И безумец Моха, странствующий по земле, не принимающий никакой кривды, смеющийся над теми, для кого главная цель в жизни — деньги, «главное зло земли», рвущий в клочья ненавистные ему купюры, несет людям новую веру — веру в человека, в его собственные силы, в его предназначение перестроить мир по законам правды.

Моха-безумец, услышав голос своей земли, становится воистину Мохой-мудрецом, почти «святым» (марабутом), кому издревле на этой земле поклонялись, молились, прося защитить, научить, принести избавление. И он — «вещун», говорящий правду, «не ведающий страха», не знающий условий — ведь «безумцам» дозволено всё, — совершает, таким образом, свой подвиг, разнося эту правду по всей земле.

Возможно, писатель преднамеренно воспользовался такого рода персонажем («Что взять с безумца!»), но несомненно одно — традиционный образ Джохи⁷, пройдя ряд трансформаций в литературе, очистившись от «бытовизма», присущего сказочному персонажу, приобрел окончательно черты провидца, своего рода «мессии», чье «послание» людям, не зная границ, идет по земле, звучит «в глубине пространства», уходя в «бесконечность времени», ибо оно — сам голос народа.

Моха сам часто слышал голос Отца, идущий из «недр Забвения»: «О, Моха, ты оправдываешь себя именем народа, но кто избрал тебя, кто заставил идти по этому пути?

⁷ О берберском фольклоре Магриба см. подр. в нашей «Антологии», изд. в ИВ РАН в 1999–2002 гг. (Кабилия, Риф, Туареги).

Живи своей жизнью и не пытайся сдвинуть с места старые камни... Они приросли к земле, полной горя, они лишь прикрывают груды черепов... Обратись к тихому счастью, каким живут другие люди, доверившись милости божией...» [Ben Jelloun T. Moha le fou, Moha le sage. P., 1978, с. 160].

Но Моха — так считал он сам — был прежде всего сыном Айши⁸ и Революции. Знал, что забвение и покой — не для него. И даже убитый, зарытый в землю бдительными «стражами порядка», он продолжал жить, слившись со стоном земли, с криком птиц, с шумом ветра в кроне деревьев. Он обратился в Вечность, уйдя в легенду, став мифом, преодолев смерть: «Возраст! Время! Все ничто. Есть цветы, роса, молчание... Я не умер. Ибо я никогда не существовал. У меня нет имени. Я ниоткуда, и я — повсюду. На каждом холме, в каждой долине, за горизонтом, в беге пространства и времени» [с. 165]. Ибо правда — не умирает, ее всегда услышит народ и не сможет остаться «глухим к призывам узников, к зову камней, тяжелых от слез земли» [с. 166].

Главное — уметь услышать стон земли и отомстить за себя. Представленный в общих чертах смысл произведения Тахара Бенджеллуна позволяет услышать основное его звучание. Несомненно, в романе много различных планов, и каждый из них «выписан» также и глубоко, и остросоциально. Бенджеллун тщателен и в описании специфики марокканского быта, различных традиций и обрядов, ритуалов, образа жизни представителей разных социальных слоев современного марокканского общества. Сочетание «этнографизма» с почти поэтическим текстом, заземленного натурализма с высоким символическим обобщением, гневной публицистики с проникновенным психологизмом — особенности стиля Бенджеллуна, передающего прежде всего ощущение той реальности, которую он изображает. И дает возможность понять и услышать пафос трагедии наро-

⁸ Ставшее в Марокко нарицательным в простонародье для любой женщины (С. П.).

да, интонацию его «бунтующего духа», рокот «недр» самой жизни, которые слышит сам писатель, страстно мечтающий о счастье своего народа, о пришествии подлинной его свободы и независимости. Ведь недаром, думая о своей Земле, он написал такие строки: «Ты вселилась в сердце мое и тело, вонзилась в голос...» [Ben Jelloun T. A l'insu de souvenir. P., 1980, с. 9].

Читая Бенджеллуна, порой забываешь о том, что перед тобой — проза или поэзия, и веришь образу, рожденному поэтом, но ставшему метафорой всего его творчества: «Мысль, как смятая в руке штора, скользящая к стене, подобно реке воспоминаний и слов, похожих на горсть заржавленных гвоздей, зажатых в руке, из которой брызнула кровь...» [с. 53].

Поэзия, которая буквально пронзала прозу Бенджеллуна, снова откристаллизовалась в единый цикл стихов, в которых «на волнах памяти» лирического героя всплывают образы родной земли, людей и стран, отметивших судьбу и путь Поэта. В книге, названной «Невольно вспоминая», Родина являет свой «лик», излучающий «сущностный свет» [с. 9], предстает источником «живой воды», слышится «голосом, исполненным рыдания и смеха». И, как всегда у Бенджеллуна, родная земля — в облике женщины со «сдержанной нежностью в черных глазах и светлой слезой на ресницах», с «измученным телом» [с. 9].

Однако метафорическое обличье из антропоморфного всё чаще прорывается к абстракции, становясь символом (Родина — «это — поэма, обрамленная отсутствием»), и снова из этих «пустых» границ («от горизонта до горизонта») как бы возвращается к своему земному, «телесному» предназначению: «Это — страна, которая должна родиться после глубокого сна» [с. 10].

Ощущение бессилия слов, оказавшихся неспособными выразить «пространство страны», приводит Поэта к живописанию «пространства души», «израненной молчанием

пустого и упрямого неба», души, которая стонет, как «кровоточащее дерево», чья «плоть», как и «плоть» страны, истерзана «общей болью»:

*Остается поэма
Как знак запоздалого траура
По Родине, Лик отнят у которой ... [с. 10]⁹.*

Так, снова возвращаясь к излюбленному символу (Лик = Свет), Поэт не скрывает трагической глубины своих переживаний при виде несчастий родной страны: обезображенной «морщинами» Земли, израненной «трещинами» социальной несправедливости, нелегкой судьбы народа, получившего в наследство от «печальных времен» колониализма свою «тяжелую долю»; земли, пропитавшейся теперь и горечью утраченных иллюзий... [с. 14].

Особая боль Поэта — это боль за тех, кто разлучен с Родиной. Она как бы исходит из первоначала бытия, вырываясь из самых «корней» (это их «обрубленная плоть» раной жгла сердце героя «Одиночного заключенного»), переливаясь в «ствол» Дерева, возвращенного соками своей земли, становясь его «ветвями», его кроной, в мольбе, обращенной к небу, к Свету. Человек в стихах Бенджеллуна соединяется с себе подобными и превращается в «Лес», который, как гонимое ветром перекасти-поле, оказывается на чужбине. Память об этом «Лесе» давит и гнетет вскормившую его землю, мучительно томит ее, как боль тела, «помнящего» о своих «обрубленных конечностях», как сердечная боль «разъединенности возлюбленных», как раздирающий душу «крик раненой птицы» [с. 16]. И в «слепой тоске» стране мерещится «наступление этого изгнанного превратностями судьбы Леса», ее будоражат его «шаги», гулко раздающиеся в «бездне ночи». Но аллегория «горячей земли», задущенной «серебристой простыней», покрытой «саваном

⁹ Стихи из книги «Невольно вспоминая», как и из других книг писателя, даны в моем переводе по французскому изданию: Ben Jelloun T. A l'insu de souvenir. P., 1980.

смерти», завершается «холодным рассветом», как напоминанием о том, что «возвращение Леса» — всего лишь мучительный сон [с. 16]...

*...Какою болью свет пронзает человека,
Согбенного над бездной своей раны,
Объятых безмерной пустотой
И одиночества, и урагана слов,
Теснящихся в груди, хранящей память о тепле,
Исчезнувшем в чужих краях... [с. 20].*

Но рассветная «трезвость» мучительна по-разному. Отрезвление реальности и «просветление» — понятия не вполне совпадающие в поэтике Бенджеллуна. «Свет высшего Знания», «абсолютный Свет» [с. 24] — это истина¹⁰, которая, подобно молнии, вспыхивает во тьме, способная и повергнуть в прах ослепленного прозрением человека, и озарить «тьму» его, поднять выпрямить, заставить его достойно встретить «удар разверзнувшегося неба» [с. 23], помериться с ним силами и даже «принять смерть», погибнуть во имя торжества человеческой надежды.

Светом истины, «внезапно пронзающим небо нашей тоски», разрывающим «полотно забвения» может стать, например, известие о смерти товарища, «приоткрывшее дверь в мертвую землю ссылки» [с. 27], — ведь это печальное событие вдруг обнажает всё бесправие и жизни, и даже самой смерти тех, кто лишен Родины. И когда сила Правды ослепляет человека жгучей горечью прозрения, снова чело Поэта обволакивает Ночь, заливая его Тенью, о б е з л и ч и в а е т (dévisage), превращая в маску страдания. Тогда в стихах марокканского поэта рождается жестокий, абсолютно подобный микеланджеловскому (из «Страшного суда» в

¹⁰ В своем первом приближении бенджеллуновский «Свет» здесь как бы сливается и с кораническим, и с евангелическим «Светом», который «во тьме светит» и который и есть «Жизнь человеков», и есть «Свет истинный, просвещающий всякого человека. приходящего в мир» (см., например, Евангелие от Иоанна, I, 1–14). Однако в общем контексте поэтических образов символ Света и в этой книге Бенджеллуна, и в последующих, очевидно, лишен ««божественного смысла» и наполнен прежде всего смыслом земным.

Сикстинской капелле) в беспощадности к самому себе образ.

*...Печаль содрала с меня кожу
И теплая еще она к моим ногам упала [с. 33].*

«Обезличивание» (как утрата света, нарастание мрака в душе), постепенно наращивая метафорическую плотность, возвращает изначальному художественному образу (Лику) его прежний смысл («Моя Родина — это Лик, это сущностный Свет» [с. 9]), и тогда родная страна становится единственной Целью, единственной Далью, к которой устремляются душа и слово Поэта: «Рассыпаю слова по травам Земли и мечтаю о Лике...» [с. 34].

«Мечтать о Лике» — значит, мечтать о возможности «лицом своим коснуться мокрой земли»; дотронуться до «нежной коры дуба»; ощутить «песок на губах» [с. 35]. Узнаваемость именно марокканской «топики» — в слиянии мотивов дерева (особая специфичность для Марокко его дубовых рощ) и моря (песчаные берега Атлантики и Средиземноморья); в пышном великолепии самого образа земли (действительно роскошного в своей природе края), страдающей от нищеты, от трагической обреченности на «немоту» народа:

*Смерть — как цветущий луг,
Взволнованный молчанием... [с. 35].*

Этот немой бег волн, всколыхнувшихся от ветра боли трав, — пожалуй, наиболее абстрактная метафора тоски по Отчизне в книге «Невольно вспоминая». В поэтике Бенджеллуна — чаще устойчивое сочетание привычных символов и реальных образов. Поэтому их инерция как бы возвращает лирического героя от метафизического переживания разлуки с родной страной к «живым» воспоминаниям о ней. Поэт перебирает в памяти те ее черты, которые рождают в его сердце гордость: «В моей стране / не одолжают бедняки, / но разделяют ваше подаянье. // И возвращенная

назад тарелка / не будет никогда пуста. / Положат хлеб, бобов, щепотку соли / в знак благодарности за вашу доброту» [с. 40]. Или вот такие, «невольно всплывающие» видения, которые заставляют его сердце пылать гневом: в поэме о «Безымянном ребенке», сраженном пулей во время разгона демонстрантов, вышедших на улицы «с поднятыми вверх кулаками», грозившими небу, которое давно уже лишь «источало горечь», и «силам Порядка», обрекавшего людей на нищету, снова возникает образ «разбитой мечты». Только здесь она — не в осколках надежды, ранивших человека, но в самом образе «безымянного ребенка», превращенного пулей в «обрывок грез», в клочок иллюзий, лежащий в пыли на мостовой...¹¹ Мечтавший когда-то о том, что придет счастливое время, он сможет учиться, «станет капитаном», забудет «бедную хижину» и поведет свой «корабль» по «широкому простору», а возвратившись в родной край, оденет мать и сестру в «наряды цариц», он лежал теперь, «зарывшись щекой в землю», протянув свои «хрупкие пальцы навстречу морю». Так, мечта Поэта о счастье «коснуться своим лицом Лица своей земли» трагически превращена реальностью жестоких будней в метафору «конфискованной жизни». В стихах, носящих это название, тоже звучит тема разрушения мечты, ее «удара» о «каменистый берег», и возникают бесплотные образы людей, отданных во власть Ночи и Тени» [с. 43–44]¹².

Безусловная идейная однозначность Мрака как антонима Света, имеющего в поэтике Бенджеллуна особую символическую плотность и прежде всего свою земную «телесность» (Истина, Правда, Знание, Надежда, Красота и

¹¹ Параллель с образом из поэзии В. Гюго «Sur une barricade... (1848).

¹² Подобно тому, как характерное для поэтической символики Бенджеллуна переплетение мусульманских и христианских мотивов Света (как эманации «божественной сущности», как слияния Лица Спасителя, как Откровения Сокровенного и т.д.) переосмыслено им в целом в земном и даже в остросоциальном смысле, так и образ Ночи (в христианской символике — как смерть Спасителя) в противовес Дню как времени его жизни (см. Евангелие от Иоанна, IX, 4) наполняется в стихах Бенджеллуна и социальным, и даже политическим смыслом.

Счастье), раскрывается в этих стихах в своей семантической вариативности: «Ночь и Тень» могут выражать не только «силы Тьмы», но и неведение, отсталость, нищету, «забвенность» людей.

*Мы — кладбище поверженных наземь деревьев,
У которых засохла кора.
Как временем изъеденные камни
На берегу пустынном при морском отливе... [с. 45].*

Образы «покрытого морщинами лица Земли», растрескавшейся от жажды «кровоточащей» почвы, взброженной руслами «пересохших рек» развертываются в метафору страны, «застывшей в горе». Кажется что иначе и не расскажешь о «людях без земли», о «детях без улыбки», о народе, у которого «искалечена жизнь» [с. 46]. Однако Поэт может сосредоточиться и на реалистическом портрете, пристально всмотреться в черты сидящей на каменной скамье у края дороги старой женщины с корзиной в руках, перебирающей четки, на ее подбородке заметить вытатуированную рыбку — символ счастья (ведь она — из воды, дающей жизнь всему живому), на лбу — морщины, следы «нелегкого прожитого века»... Вот и мысли ее прочитаны поэтом, — простые, бесхитростные мысли о привычном, о ставшем уже обыденном ритме жизни, вписавшем и ее самое в извечный круговорот незыблемой «тяготы дней»: о нелегкой ноше прошедшего мимо, нагруженного сеном, покорного осла, о прирезанном на рассвете, не допевшем свою песню петухе; о не явившемся почему-то поутру молочнике; об увиденном среди ночи в тюрьму сыне... «Женщина в небо глядит, что-то ждет / Вечно живая» [с. 52]. Как бы слившаяся «со сном земли» [с. 155].

О нежной сыновней любви к женщинам своей страны, о сострадании к их тяжелой участи Поэт писал и говорил не раз. И всегда он находит новые слова, новые краски, чтобы полнее выразить свои чувства. В книге стихов «Невольной

вспоминая» — зарисовки из крестьянской жизни, портреты тех, кто не скрывает чадрой своего лица, работает от зари до зари, не ведая отдыха, не зная ласки и заботы; о вечно бесправных, вечно униженных... И словно слышит Поэт их упрямый куда-то в глубь души голос. Он — как грудное пение, как стон самой горы, которая «вспоминает о прошлых жизнях...»

В моей стране мужчина любит женщину без ласки.

У женщины замазан глиной рот.

Ее удел -рожать,

И каждый появившийся на свет ребенок —

Как слово, не произнесенное в ночи,

Как крик ее любви,

Как ласка, вырванная вечностью зари,

Как благодать истерзанного лона,

Как зеркало реки,

Сверкнувшей на пустынном горизонте... [с. 60].

Если реальность была, входя в ткань стиха Бенджеллуна как типическое обобщение, конкретизирует, «заземляет» поэтическое начало, то поэтическая проза, присутствующая во второй части цикла «Невольно вспоминая», органически перерастает в притчу, обрастает элементами легенды, становится символической картиной жизни. Так, повествование об одиноко стоявшем на площади в Тетуане дереве, уже не плодоносящем, но хранящем в памяти своей времена славного сына Отечества — рифского вождя Абдель Крима, превращается в поэтическое «свидетельство» о неумирающем в самой Земле идеале воли, свободы, в напоминание о горделиво вознесшемся над городом «знаке» Высокой памяти народа. Это Древо — как «одинокый стих», как «прерывающееся дыхание», вызывающее головокружение, — так сладостно общение с ним, уже почти умирающим, врастающим в землю, сливающимся с вечностью... Но под сенью этой «Высокой памяти» шумит сего-

дня праздник: тетуанские ткачихи принесли сюда свой товар — нарядные покрывала, ковры, пестрые платки и ткани. Звонкими голосами заманивая покупателей, весело торгуясь, лукаво кокетничая, они словно забыли об усталости, о тяжелой, изнуряющей работе, приносящей скудный заработок. И только огрубевшие, натруженные руки говорят об их нелегкой доле — на них, как ветви на старом дереве, переплелись набухшие вены — иссиня-черные, как полосы на их ярко-красных накидках, наброшенных на темные платья. Вот и тенистые улочки белого Тетуана, их бесконечные развилки кажутся теперь Поэту расходящимися внутри города венами на руках ткачих... [с. 57].

Может быть, и Дерево зарывается «поглубже в землю», готовя себе смерть, чтобы не видеть этих измученных работой рук? И думает Поэт, что оно тоже устало давать свою тень и спасительную прохладу и скоро, уйдя, «зарывшись» корнями в самую глубь земли, оставит на поверхности лишь усталые, натруженные руки — ветви, сухие и легкие, и ветер понесет их на своих крыльях к морю...

А вот уже и сам Рабат, столица Королевства, где, как рассказывают, «дерево пустило кровь» и даже заговорило... Оно, простоявшее весь век неподалеку от цветочного рынка, сейчас сопротивлялось тому, кто захотел его свалить и построить «новый дом». Под первым же ударом топора «кровь брызнула» из его ствола, и какие-то голоса поднялись из недр самой земли. Человек же, посягнувший на дерево, весь израненный упрямыми ветвями, был отправлен в больницу. И теперь огромная толпа собиралась у подножия «плакавшего дерева» и почитала его как святыню, касаясь пальцами капель выступившей на его стволе «крови», и слушала «голоса», припадая к нему... Люди хотели услышать, «когда сбудутся их надежды» [с. 105]. Дети же посмеивались, не веря старикам, не веря «чудесам». Но именно чуда и ждали уставшие, измученные ожиданием счастья люди. Их память, хранившая мечту, вдруг «просну-

лась ей навстречу». «Миф» стал жить своей жизнью, и пожарникам не удавалось рассеять толпу паломников к Дереву, и она росла с каждым днем. Архитектор построил свой дом в другом месте, а дерево, «пустившее кровь», было спасено.

Наверное, не только «жажду чуда» услышал и запечатлел Бенджеллун в этой истории. В конце концов, после «чуда» итальянского святого Януария, чье сердце, запаянное в стеклянную капсулу, вот уже много лет «пускает кровь» каждый год в определенный день, ставший в огромном Неаполе праздником Надежды, — чему еще удивляться? «Народная фантазия», «мифологическое сознание», «жажда сверхъестественного», «очарование магического». Вот и «плачут деревья» в современных городах, «пуская кровь» среди сумятицы людей и машин, какофонии сигналов, сирен, тормозов, лязга металла и шума толпы... Дело не в «чуде». Главное для Поэта было в том, что люди спасли свое дерево. А значит, и не дали убить свою жизнь, знаком которой оно издревле было.

Эту «убиваемую», «расстреливаемую», отнимаемую ежедневно жизнь, которую «оплакивают», рыдая, «раненые зори» [с. 75], Поэт рисует, вспоминая Палестину (страну, у которой «кровоточит душа» — «l'âme écorchée» [с. 92], мысленно проходя и по дымящимся руинам Ливана, где тогда «кружила пляска смерти» [с. 72].

Образы этой «истерзанной земли», ее разодранной на куски плоти «ранят сознание», «гасят разум», «холодят душу»: «Я — упавшая в море звезда. Я — звезда, потухшая в небе»... Ощущение холода смерти рождает чувство личной сопричастности к трагедии, переживаемой другим народом: «Я — пронзенное молнией дерево» [с. 99].

Когда гибель дерева ощущается как собственная смерть, тогда и приносимые «на волнах памяти» образы запечатлеваются в книге Бенджеллуна словами, словно написанными своей кровью. В стихотворении в прозе «Костер его лица»

[с. 100], посвященном погибшим в Ливане детям, Поэт сравнивает эти слова с кусками «разодранного болью тела», которые, подобно тяжелым камням, падают с вершин минаретов и опускаются в «пылающий костер» глаз сгоревшего в огне войны ребенка. И этот остановленный памятью, как стоп-кадр, образ, словно навсегда запечатленное в сознании мгновение войны людей, когда живой человеческий факел¹³ слился с охваченной пламенем виноградной лозой, за которую цеплялись, чтобы спастись, детские руки, вспыхнул в стихах Бенджеллуна мрачным кровавым заревом, затмившим на какое-то время и Свет его Надежды.

Но он вспыхнет снова, «займется» в «Рассказе палестинца», герой которого чутко ловит «прекрасные», «чистые» отблески этого Света, согревающие своим теплом «ледяную ночь жизни на чужбине». «Этот Свет менял краски каждый день. Но как он нам, изгнанным, нужен!» [с. 101]. Ибо проблески Надежды были Светом Родины, «ласкавшим душу своим нежным взглядом. Вот и смерть, казалось, уже уходила куда-то».

И Поэт так же трепетно и нежно удерживает в памяти и сохраняет в строках, в музыке своих стихов те теплые краски, те искрящиеся нити, которые связывают человека с Рассветом, с Весной, когда рождается снова мечта, когда вновь зацветает дерево Жизни, когда все помыслы человека устремляются к Прекрасному. Солнечные месяцы («Март в Тунисе», «Май в Каире»), голубая бездонность неба, бескрайняя синь моря, залитые светом просторы, окутанные розовой пылью камни древних городов, образы любимых, близких сердцу поэта людей, согревающих душу теплом понимания, дружбы, участия, воспламеняющих ее своим «горением» за общее дело... Последние стихи и лирические зарисовки цикла кажутся выполненными радужного

¹³ Этот образ ляжет в основу и романа Т. Бенджеллуна «Par le feu», написанного уже после «Жасминовой революции» в Тунисе, в 2012 г.

сияния, спетыми подобно древним «Песням любви», в которых слышалось Поэту когда-то торжество «бракосочетания» родной земли и ее людей, «не знающих одиночества»... [с. 119].

Вспоминая на страницах этой книги об одном из своих любимых писателей — Жане Жене, Бенджеллун написал: «Он чувствует себя причастным к тем, кого преследует смерть, кого отчуждают от жизни, изгоняют со своей земли, у кого разрушены жилища, кого лишают культуры, грубо выталкивают из истории. Своей семьей, своей родиной он прежде всего считал себе подобных, униженных, оскорбленных в человеческой своей сущности» [с. 121–122]. Похоже, что поэтический цикл Тахара Бенджеллуна «невольно вспоминая» и стал словно зеркальным отражением именно так понятой поэтом сущности творческой позиции почитаемого им Художника.

И с настоятельностью потребовал еще раз разрешения волнующих Бенджеллуна тем в новом романе...

Тема «забвения», прозвучав в романе «Харруда» как реквием по несостоявшимся идеалам, возобновляется в «Молитве об отсутствующем» (1981) [Ben Jelloun T. La prière de l'absent. P., 1981], как аллилуйя, возвещающая о рождении Человека, предавшего забвению предшествующее свое существование, свою обреченность на «маленькую жизнь» и отправившегося на поиски своего истинного предназначения. Повествование, таким образом, становится некоей инверсией прежней темы, ибо посвящено освобождению Человека от Забвения, показу его «предстояния» перед истинным Рождением, перед воскресением его духа, обретением Идеала, Надежды на Новую жизнь.

Метаморфоза освобождения от «старого тела», сброшенного, как ветошь, как «полинявшая кожа» рядом со змеиным гнездом, у ручья — превращение жалкого преподавателя философии в младенца, переживающего ночь «на пороге» Новой жизни, происходит в зачине повествования,

названном Бенджеллуном «Страсть к забвению». Потребность забыть, избавиться от «узости», от «тесноты», от «ложности» настоящего своего существования, неистребимое желание свободы, идущие откуда-то из недр души, властный зов «воспрянуть», познать «тайну» радости, отнятой у человека, становятся источником его движения, энергией обретения Голоса, зазвучавшего в «Молитве», дабы прорвать тишину смирения «безмолвного» человека с мизерностью бытия, уничтожавшего надежду, разбивавшего идеалы. Ведь именно так «можно унизить целый народ, заставить его привыкнуть к покорности и молчанию» [с. 21].

И вот где-то на краю кладбища (символа похороненного прошлого), у родника с прозрачной водой (символа порождающего жизнь), у подножия оливы (символа вечного возрождения всего живого), избавленный от «великой печали», которой и была вся прежняя его судьба, взорам трех нищих предстает закутанный в белое покрывало (символ непорочности и чистоты) Новорожденный, с лицом, излучающим ослепительный свет (символ надежды и веры)...

Но и людей, которым оказался «доверенным» этот чудесный ребенок, писатель наделяет символическим значением, как и всё окружающее их пространство (кладбище Феса) и время (раннее утро). Все они — нищие, бездомные бродяги (как и сам обездоленный народ, от имени которого «берет слово» писатель). Но один из них, по кличке «Синдибад» — скиталец знатного происхождения, бывший философ, вольнодумец, поэт; другой — по кличке «Боби», — человек, ждущий удостоверения «своей подлинности», своего истинного — как он считает — «собачьего» — существования; третья — «царица нищих женщин» — Ямна — преданная, поруганная, но гордая и несмирившаяся, вечно вольная и независимая (как бы новая «инкарнация» Харруды)... В каждом из этих имен — намек, «отголосок» прошлого их существования в других «пространствах» и одновременно заданность нового «звучания», смысл которого

проясняется вполне лишь в конце повествования, своеобразно настроенного на тональность старинного сказа о волшебных превращениях, становящегося чем-то вроде восьмого — по современной истории совершенного — путешествия Синдбада из «1001 ночи»... Однако бенджеллуновскому Синдибаду, как и его приятелю Боби, не суждено стать подлинными героями этого путешествия, они лишь участники его и в некотором роде «чудесные помощники» Ямны, которой главным образом предназначено подобрать эту маленькую «утреннюю звездочку» (ребенка) и донести его до источника «высших истин» [с. 54].

А поскольку Властью «королевства Тайны», пославшего Новорожденного как свою «весть» и доверившего его Ямне и ее спутникам, предписано заполнить белые (чистые, пустые) страницы Книги (памяти, разума ребенка) [с. 57], то истинным героем «Молитвы» становится само путешествие к Истоку, во имя которого и совершается метаморфоза.

Вот почему и свет, излучаемый лицом ребенка, слепивший и Боби, и Синдибада, и Ямну, окутывает их своей облачной белизной, подобно «общему савану» [с. 55], но не тем «могильным саваном молчания», как в прежних стихах Бенджеллуна, а сетью незыблемой связанности «общей тайной», надеждой найти ту Истину, которая и станет Великим Откровением жизни.

Вот почему Ямна сурово предупреждает своих спутников, что они, — как и она сама, — лишь помогут Новорожденному «прорвать завесу Ночи», которой окутаны люди [с. 103], обнажить правду, и только тогда свершится Предназначение.

...Как бы обеспечивая дальнейшую судьбу Новорожденному, заботясь о том, чтобы состоялось его подлинное Рождение, его Жизнь, Ямна, сама возрожденная из праха, из грязи, из нищеты, в которой когда-то, уже «в прежней своей жизни», и погибла, оберегает теперь, как Мать (в Марокко и зовут матерей похоже: «Йемма»), хрупкое тель-

це ребенка. И хотя она явлена сейчас миру в торжественном одеянии марокканок — белом хайке (который тоже, «подобно савану», одевает всех женщин, окутывает своей белизной, «скрывая их подлинную нищету и боль»), Ямна хранит эту «хрупкость», как бывало когда-то хранила в своем нищем дырявеньком платице в многочисленных разноцветных кармашках-заплатах «кусочки надежды», «осколки грез», «брызги смеха». Когда простые камешки и стекляшки, засохшие хлебные корки и цветные лоскутки превращались в ее детских мечтаниях в «сокровища рая», в волшебные палочки, роскошные шелка... Когда в самых потаенных местах были запрятаны «ветер весны» и «ожидание дождя», «мудрость и правда» [с. 38]... И для этих сокровенных тайничков Ямна выбирала цвета «надежды»: розовый, голубой, зеленый.

Таким образом, в сказочности зачина «Молитвы» различимы не только реальные контуры пространства и времени, реальные «истoki» и «цели» путешествия, сам смысл метаморфозы, но и постоянные признаки, атрибуты самой художественной реальности, творимой Бенджеллуном из книги в книгу: та его константная «топика», которой пронизана и «Харруда», и «Одинокое заключение», и «Мохабезумец», и все поэтические его произведения.

Одним из важных для Бенджеллуна мотивов и здесь становится «голос», который слышится героям то в трепете листьев, то в плеске воды, то в порывах ветра. Этот «голос», позвавший в «Молитве...» в Путь, принадлежит прародительнице Новорожденного — мудрой Лалле Малике, прожившей на земле целый век и завещавшей похоронить себя «без савана» (ибо хотела она хоть в смерти освободиться от «пут», державших женщину в плену молчания и смирения)... Она, чьи руки всю жизнь растили детей, пекли хлеб, источали нежность и силу, вещала теперь своему внуку шелестом кроны большого дерева: «Ну вот, ты и вырвался, наконец, из чрева старого Феса, стал другим, об-

новленным, обнаженным перед временем, освобожденным от груза напрасно прожитых лет, отдохнувшим, наконец, от ничтожной жизни, от прозябания... Я знала, что однажды мои руки встретят твоё лицо, что мой голос наполнит твоё дыхание и твою жизнь... Ты вырвался из стен... И ты пойдешь на Юг, навстречу пустыне, там, где в песках погребена История... И я знаю, что настанет день, и ты разрушишь тишину и возмутишь спокойствие и привычный порядок вещей... И я могла бы сменить тело, изменить жизнь, но была накрепко привязана, пригвождена к земле, связана и опутана ее корнями, вмята в ее первоначальную глину... Так наказаны бывали наши добродетели, — лишением прав... Но меня всегда вела вперед моя страсть, и когда повсюду копилась горечь унижения, я боролась с предрассудками, шарлатанами, невеждами. Меня знали все бедняки окрестных селений... Я всегда готова была прийти на помощь, всегда по ночам скакала к ним на коне... Рождение человека — это его нетерпение... Так очисти же свою память, отмой свою речь, просветли образ свой, освободись от того, кем ты был...» [с. 37–39].

Призыв к обновлению и очищению, нетерпению и не-смирению предполагает одновременно, таким образом, и «разрыв пут», в которых держит человека традиция, превратившая его существование лишь в простое повторение прожитых ранее человеком этапов бытия, закрепляющих его зависимость от установленного «навечно» Порядка... Одним из символом этого старого Порядка, прошлого, которое «вцепилось» в настоящее, мешая его развитию и прогрессу, обычно в романах марокканцев становится древний Фес, прежняя столица королевства, место скопления потомственной аристократии, хранителей ключей, оставшихся в наследство от когда-то пышных владений в Андалусии... В этом городе «заря принадлежит хозяевам Ночи» [с. 51]. Однако и в этой ночи — феодального и колониального прошлого — вспыхивали свои «искры»: не смирив-

шившийся с утратой былого престижа город не раз поднимался против «пришельцев» — французов, используя недовольство народных масс, терпевших двойной гнет — своих и чужих «хозяев». Фес помнил эти вспышки: 1912, 1937, 1944, 1953 годы. Помнил и то, что именно он стал колыбелью, где родилась политическая партия «Истикляль», партия Независимости, возглавившая национально-освободительное движение в стране. И память об этой истории родного города не должна была стереться в сознании новорожденного, но запечатлеться в нем навсегда с образом тех, кто, борясь с колонизаторами, а заодно и с самодуром «султаном мусульман» — наместником французов, жертвовал своей жизнью во имя свободы. Кто собирался на тайные сходки, готовя восстание, кто порывал с косными традициями, свято охранявшими привилегии знати, презирал ханжество властвующих соотечественников, заигрывавших с «плебсом», но в минуты грозившей опасности нарушавших священную обязанность перед «братьями по вере», забывавших хоронить тела убитых борцов, которых колонизаторы, расстреливая, сбрасывали в общую яму...

«Двойной лик» города явлен памяти новорожденного как вечное напоминание о скрытой «подлинности», о «тайне», которую можно обнаружить, лишь сняв все укрывающие ее покровы. Поэтому параллельно с образом Феса «вписывается» в «чистые страницы Книги» — сознания ребенка — и воспоминание об его «первом рождении» или предрождении в Фесе как «предвестии зари», «конце Ночи», висевшей над страной.

Где-то в глубине души Новорожденного всё еще звучал женский голос, заклинавший тогда злых духов, взывавший к ангелам с просьбой «поскорее показать лик Отсутствующего», с мольбой о счастливом разрешении от бремени роженицы... Младенец появился на свет почти на исходе

«страшной войны» (в 1944 г.!)¹⁴, в тот год, когда свирепствовала в стране эпидемия тифа, уносившая многие жизни и казавшаяся страшной карой за «грех многотерпения», смирения и покорности. И появление младенца было как рождение надежды на новую жизнь, на избавление от войн, от нищеты, на воцарение мира и для сынов ислама тоже [с. 28]. Символически нареченный Мохаммадом Мохтаром («избранником») ребенок предназначался для большой судьбы. Недаром в памяти вместе с «искрами» истории Феса «вспыхивает» и образ маленькой Неджмы («Звезды») — девочки, одиноко порхавшей по опустошенному войной и эпидемией городу в поисках «огонька», который мог бы зажечь людскую надежду, растопить очаг, отогреть истрадавшиеся души, утолить голод [с. 28–29]. В то время всё настойчивее стал звучать призыв марокканцев: «Марокко принадлежит только нам! И никому другому! И оно должно быть свободно, независимо и самостоятельно!» [с. 29]. Но именно тогда уже зрели силы, удерживающие народ от восстания. от беспощадной борьбы, уповавшие на веру, Священную Книгу, «мирное» сопротивление... Эти силы сломили в конце концов волю тех, кто вместе с независимостью хотел добиться и других изменений, социальной справедливости, гарантий свободы и прав. И, погрузившись в «новое молчание» так и не родившихся, «несозревших» плодов, земля снова «замерла», застыла, оцепенела... Отсюда и стремление «стереть» Фес из памяти, забыть «руины души», родившейся в нем «для надежды» [с. 37], вырвать «корни прошлого», пустившие лишь чахлые побеги в «зимнем саду», где вместо вольного воздуха — «застекленная духота» [с. 41].

Но, уравнивая в памяти новорожденного историю Феса с историей страны [с. 42], писатель вводит в эту «формулу»

¹⁴ Этот год указывается во всех изданиях книг Т. Бенджеллуна как год рождения самого писателя, который, однако, в изданном в 2017 г. Собрании своих сочинений в предисловии своем с фактами своей биографии подверг сомнению, поскольку родители его точно не помнили и говорили, что это «событие» могло быть и в 1947 году...

предварительное условие: сам Новорожденный еще в первом своем рождении уже «омыт» водой, большой «животворной» водой, предохраняющей его от уподобления тем, кто, смирясь, дали опутать себя ложью, сковать «цепями» [с. 33] Вот эта «животворная вода» и «омыла» его для Нового его рождения, не дав ему «уснуть», «согнуться», позвав «к морю», открывавшему безбрежный простор, где он еще в своей прошлой жизни мечтал построить на берегу дом, «открытый бездонному небу», и где воздух, земля и вода слились бы «в едином объятии»...¹⁵

И настал момент, когда «живая вода» заговорила, когда долго копившаяся в человеке, но не растрачиваемая им «энергия действия» [с. 45] властно заявила о себе, расшевелила в нем то, что давно уже «жило внутри», что зрело в душе, вынашивалось «под сердцем», как «плод». Тогда-то и произошло освобождение от «старого тела», от «ничтожной жизни», от «неподвижности», обретение движения к новому Истоку, отмывающему Память, вымывающему из Истории тьму Ночи [с. 16], просветляющую Разум. Голос старой прародительницы предупреждал: «Ты увидишь, как встает новый День... Дождись восхождения его и Человека» [с. 46]. И это «восхождение Человека» началось: сначала в глубь жизни, а точнее в «преджизнь», а потом по раскрученной спирали повествования и в глубь страны, чтобы вписать в «белую книгу» памяти Новорожденного те страницы истории, которые окончательно пробудят пока еще «спящее» его сознание... На серебристо-белой лошади (в литературе Магриба — символ воли), в сопровождении Синдибада и Боби, Ямна повезет Новорожденного к дюнам песков юга, где сокрыты «сами корни истории» [с. 73]. Ям-

¹⁵ Отметим попутно, как излюбленные магрибинскими писателями мотивы органично входят в круг топики Бенджеллуна: образ «Неджмы» Катеба Ясина (из романа с одноименным названием (1954) и новеллы Д. Шрайби «Домик на берегу моря» (из книги писателя «De tous les horizons». 1958) словно обретают новое дыхание в романе «Молитва об Отсутствующем», но и факт своего собственного «воскресения» к жизни после долгой тяжелой болезни в детстве, и переезд родителей в Танжер были созвучны этой теме в романе Т. Бенджеллуна.

на расскажет ребенку о том, как люди постепенно научились забывать позор колонизации, позор «рабства», как складывали оружие, устремляя взор к чужим горизонтам, «за море», забывая, где их «истоки» забывая о славном прошлом, когда умели сопротивляться «врагу». Расскажет о том, как в городах медленно иссякал дух сопротивления всякому угнетению, и только еще в горах да среди кочевников пустыни сохранялась память о том, как мог подняться народ на борьбу за свою землю, за свои права. Ямна передает ребенку жившую в народе легенду о героическом Шейхе, поднявшем одно южное племя на борьбу с колонизаторами. В этой легенде, полагала Ямна, должен, как в «зеркале высшей истины» («miroir supreme»), отразиться образ Человека, понявшего суть своего предназначения. С этой легендой Ямна и связала цель своего маршрута: осуществить встречу с памятью о народном герое. И если такая память жива и по сей день, значит, не умер в народе и дух борьбы, значит он, как «живая вода», предохраняет корни народа от «иссыхания» [с. 75]: «Мы идем с тобой к Истоку и началу нашего Времени. И мы почерпнем в этом истоке, в памяти об этом святом Человеке... четыре главных добродетели, забытые смертными на этой земле: отвагу, мудрость, скромность, гордость» [с. 76].

В путешествии (как восстановлении Памяти) [с. 98] путники видят и слышат многое. Картины жизни и рассказы встречных сменяют друг друга, и в них, тоже как в зеркале, — все проблемы страны, заботы и боль ее народа. Безработные, ждущие ответа долгие часы в длинных очередях в бюро по найму рабочей силы, голодные, брошенные на произвол судьбы дети, нищие, больные, бродяги, удачливые дельцы и инвалиды, вернувшиеся из Европы, где работали на «черной», изнурительной работе, которую получают североафриканские эмигранты... «Во Франции тоже нищета, — рассказывали они. — Не надо больше обманывать людей» [с. 105].

Взорам путников открывались пустующие селения, разрушенные дома, брошенные теми, кто ушел в город на заработки, руины, оставленные землетрясением; пережившие стихийные бедствия города и деревни, и на дорогах нескончаемый поток людей, бредущих в поисках счастья... Путь пролегал и через «красивые города», сияющие белоснежными небоскребами и стеклянными витринами: «Здесь — беднякам беднеть, а богатым — наживать богатство...» [с. 113]. Но Ямна знает, что в этих городах, хотя еще пока «молчит» и «дремлет», но не иссякает «запас сопротивления», и если вдруг сверкнет искра гнева, то пламя возмущения охватит квартал бедняков, и тогда «взрыв» — неминуем. «Слишком, слишком много унижения. Люди привыкли унижать слабых, тех, кто не имеет ничего... Однако опасаются тех, кому нечего больше терять» [с. 114].

Большие города, встретившиеся на пути, — не только свидетели Настоящего, но и хранители Прошлого, навсегда «впечатавшегося» в память их древних камней и стен. Так, Ямна воссоздает картины кровавых событий в Касабланке (расстрел в 60-х гг. демонстрантов, требовавших демократических прав и свобод), тирании марракешского паши аль-Глауи, чтобы «вписать» в память Новорожденного урок недавней истории народа, сломленного страхом. Не потому ли так часто в пути странникам встречались те, кто шел «паломниками» к «святым» местам, к часовням марабутов, чтобы вымолить у них защиту, поведать о наболевшем, просить о помощи...

Ямна неумолимо вела вперед своих спутников сквозь Настоящее, сквозь прошлое, упорствуя в продвижении и как бы окутывая протяженность преодолеваемого ими в пути пространства и времени покрывалом легенды о славном шейхе, поднявшем свой народ в начале века на борьбу с захватчиками его земли... Но вот однажды, на заре, она завершила свой рассказ, звучавший всю ночь вместо колыбельной Новорожденному. С вершины минарета, где вы-

брала ночлег Ямна, должно быть, был слышен этот рассказ, и те, кто *забыл о Человеке*, объединившим когда-то под своим знаменем людей, которые хотели защитить свое достоинство и гордость, право на свободу, выразить свою волю и противостоять до последнего вздоха тем, кто отнимал Родину, тоже слышали его. Вспомнили о человеке, учившем свой народ сражаться и любить свою землю, свое общество, «свое единство» [с. 119]. О человеке, учившем беречь и хранить несогбенность духа, волю, бесстрашие перед военной силой и хитростью врага, перед его оснащенной невиданным оружием армией.

Ямна верила, что город-крепость, воздвигнутый в пустыне по призыву шейха, служивший убежищем повстанцев, но завоеванный и разрушенный врагом, не должен являть сейчас только одни руины, занесенные «песком забвения», но должен жить в памяти, в сердцах людей как символ «народного сопротивления» [с. 117]. И если эта память жива или ожила, значит, люди помнят о Главном — о том, что «Свобода — это прежде всего достоинство, защита человеком его собственной чести... И хотя на земле много низости, много расчета и хитрости, и люди свыклись с унижением, забыли о гордости» [с. 165], давняя история должна оставаться вечным напоминанием народу о том, что надлежит защищать... Ведь если бы люди пустыни не начали тогда свою борьбу, может быть, не восстали бы и горы Рифа, а потом и не поднялся бы на борьбу весь народ, отстаивая независимость страны...

Внимая голосу Ямны, ребенок, еще не обретший дара речи, но видящий, различающий уже и мрак, и свет, способен понять, что отныне его жизнь будет ничто без этого «возвращения» к земле, на которой жили героические предки, без этого «слияния» его судьбы с легендой, с «пространством борьбы» — от «южных песков» до «горных вершин» [с. 138].

Так мужало «новое существо» в этом маленьком невинном теле, так «заполнялись» чистые страницы Памяти, так рождалось сознание, в котором будут жить Гордость, Непримиримость, Неприятие рабства [с. 145].

И залогом этих неумирающих и вечно возвращающихся к человеку ценностей, вечной трансмиссии из поколения в поколение заветов чести и мужества, непрестанного возрождения идеалов свободы становится в романе кольцо легендарного шейха, переданное Ямне его наследницей — молодой девушкой, «исполнившей свой долг» [с. 173]. Символическая передача «кольца» (знака общей связи людей, их единства), как и зрелище красного зарева над Марракешом (восходы и закаты пылающего солнца — знаки гнева земли и неба), как и воспоминание о недавнем страшном землетрясении в Агадире (в традиционном сознании это всегда было знаком грозного предупреждения о Судном дне), и сама «бдительность» людей, переживших этот катаклизм, до сих пор припадающих к земле, чтобы «слышать ее пульс» [с. 197], и простертые в сторону моря руки умирающей старухи [с. 207], и уверенность Ямны в том, что «деревья с глубокими корнями переживут» все земные катаклизмы [с. 203], и демонстрации слепых, требующих: «Света!» [с. 209], и пожелание уличного продавца апельсинов (дети которого были погребены под землей, реально разверзшейся в Агадире) получать от людей взамен его товару «только улыбки», — всё сливается отныне в сознании Новорожденного в звуки Гимна Человеку, который обязательно воспрянет, шагнет из мрака забвения навстречу Заре. «Но если рассвет сменяется ночью, то вовек не угаснет Заря сердец» [с. 195].

...Стихи любимого Синдибадом Аль-Халладжа (знаменитого суфия, который, уравнивая человека и Бога, приговоренный к смерти за вольнодумство, перед казнью воскликнул: «Я есть истина!)), как бы переливаются теперь и в сердце ребенка, которому отныне предстоит одному про-

должить Путь «сквозь насилие, несправедливость и нищету». Синдибаду — философу и поэту, не утрачившемуся испытаний, удалось до конца исполнить завет «Королевства Тайны» и донести Новорожденного до «источника истины». Однако он завершит последний миг своего земного бытия в тяжелом раздумье о том, кому доверить невинное дитя в жестоком мире, «где все давно проржавело», и люди ничего не могут изменить... Ему привиделся напоследок родной дом, из которого он ушел много лет назад, и в этом доме всё оставалось по-прежнему, не тронутое временем... И Синдибад мысленно разрушит этот «старый дом», как и все «другие дома» в своем древнем Фесе, разбрасает их старые камни... Осталось только выкрикнуть, как выдохнуть последний воздух, оставшийся еще в груди, слова, сказанные когда-то его другом — безумцем и мудрецом Мохой: «Народ! Что же ты сделал со своим достоинством?! Где твоя гордость, о Народ!..» [с. 230].

Кому же доверить оставшуюся вместе с ребенком Надежду, которую так бережно донесли до цели? Ведь Ямна, чем ближе продвигалась к цели, чем больше посвящал дитя в Правду, тем немогуще становилась, словно освобождаясь от плоти своей, растворяясь в Истории, которую рассказывала Новорожденному, и истаяла, наконец, угасла, как «свеча, которой больше нечего было освещать» [с. 224]. Но и ее в последние минуты жизни мучила мысль о том, что, поведав ребенку легенду о славном Шейхе, из которого «потомки могут сделать национального героя», «миф», она, как и все, сокрыла «другую правду» — о притязаниях этого Шейха на собственную власть в стране...

И, может быть, трагическая участь Боби, избравшего окончательно для себя свой «собачий удел» и добровольно согласившегося жить, «как собака», позволив посадить себя на цепь «в загоне» для умалишенных, ушедшего с Пути, по которому шли до самого конца Ямна и Синдибад — философ и поэт, неся вперед ребенка и надежду, может быть,

именно участь Боби становится наиболее реальным итогом Маршрута, а не смерть преображенной в пророчицу Ямны и изведшего себя терзаниями разума и сомнениями Синдибада?

Однако в романе и «нереальность», и «истина» столь близки друг другу, сколь и в отраженной в нем жизни. Чередование правды и вымысла, мистически окрашенной «тайны» и подлинных, исторически конкретных фактов и даже документальных, репортажных «зарисовок с дороги», типически обобщенных портретов знакомых людей и пристально зафиксированных, выхваченных из самой жизни, из «кипящей» действительности Марокко подробностей, и социально-критических наблюдений, и иллюзорных видений, — весь этот «странный» союз реального и идеального объективно призван «утолить печаль» угасавшей Ямны, рассеять сомнения Синдибада, внушить доверие к легенде о народном сопротивлении, привлеченной в назидание потомкам, чтобы не угасла в сердцах людей, как в разуме Боби, «заря». обещающая Свободу...

Новорожденный оказывается в надежных руках. Завершалось время «между усталой ночью и смутным обещанием дня...» [с. 230]. В свадебном наряде таинственная Невеста увозит его с собой на белой лошади в сияющую даль...

...И как прозвучала в глубинах пробуждавшейся его души и памяти молитва, совершенная когда-то перед его появлением на свет, нетерпеливо взывавшая к небесам о ниспослании на землю «Отсутствующего», так и в финале романа снова звучит эта особая, «чрезвычайная» молитва, когда верующие не простираются в мечети перед пустым михрабом, но стоя возносят к небесам свою мольбу, но на сей раз — не о Грядущем, а о Прошедшем по Жизни, исчезнувшем где-то (в горячих ли песках пустыни, в бурных ли волнах моря, в неприступных ли горах или на чужой стороне), но не пропавшем бесследно для своей земли Че-

ловеке. Ибо память о нем способна будить живущих, стучать в их сердцах, воззвать их воспрянуть и, отряхнув страх, отвергнуть ложь, насилие и унижение, чтобы вернуть людям их поправное Достоинство.

Сегодня уже нет необходимости доказывать значимость Тахара Бенджеллуна для марокканской литературы, для франкоязычной словесности в целом (не только в плане расширения ее географических границ, конечно). Если бы даже он написал только один свой роман — «Харруда», или повесть «Одинокое заключение», или «Моха-безумца — Моха-мудреца», было бы вполне достаточно, чтобы сказать: художник крупный, значительный и по глубине тем, которые разрабатывает, и по способу их осмысления. Но, к счастью, время идет вперед, увлекая за собой и писателя, заставляя его пополнять свои знания о действительности, рассказывать нам о ней в надежде на способность разделить с ним все его боли и тревоги за судьбу родной страны — Марокко...

Все свои книги: романы, поэтические сборники, социально-психологические эссе — Бенджеллун пишет о своем народе, о самых животрепещущих его проблемах, о его надеждах, о его неумирающей мечте — о свободе. Для меня, как и для каждого, кому интересно всё то, чем полна современная история арабского мира, — бесценно всякое правдивое свидетельство, тем более — художественная информация, облекающая его в выразительную, эмоциональную форму, порой оказывающуюся намного эффективнее, чем прямой документальный текст. А в условиях, когда не всякую правду и сказать было можно, эта информация зачастую становилась и единственной вестью из страны, серьезным рассказом о ее жизни... Так, например, было с книгами Дриса Шрайби, так стало и с произведениями тех, кто, как А. Лааби и М. Хайреддин, пришел в литературу в середине 60-х годов, потребовав «радикального обновления» жизни, культуры, литературы. Так было и с

книгами Катиби и Тахара Бенджеллуна, которые в начале 70-х вскрыли истоки и причины тех противоречий и тех чудовищных контрастов, которые раздирали страну и после обретения ею независимости.

Тахар Бенджеллун и в 80-х гг., например в книге «Песчаное дитя» («L'enfante de sable», 1985), остался верен главной своей теме — положению женщины в мусульманском обществе. Для него Марокко — не только самый близкий пример того веками длящегося социального насилия и бесправия, на которое обречена женщина, но и пример парадоксальности: родина великих мыслителей прошлого, одна из твердынь и опор блистательной андалузской цивилизации, страна с необычайно щедрой природой, залежами несметных богатств, имеющая всё, что могло бы способствовать прогрессу, Марокко и сегодня еще полно косных традиций, отсталых форм общественных отношений. Ну, а массовая неграмотность, нищета народа на фоне богатств недр страны, как и в недавнем прошлом, отданных во власть имущих на разграбление всякого рода «чужеземцам» («неоколониализм» процветает там и в своих тайных, и своих явных проникновениях), масса эмигрантов-безработных, покидающих Марокко ежедневно, — всё это, как справедливо считает и по сей день писатель, только углубляет и делает и еще более очевидной и еще более болезненной проблему женщины. Всё еще исключенности ее (оправданной и узаконенной религией) из активного участия в социальной жизни, политике, обреченности «на молчание», на особое, порой этически изощренное, порой приобретшее уродливые формы изгойства, психологического подавления, приводящего к давно несовместимому с «прогрессом и цивилизацией», захлестнувшими XX век. Но остались еще и по сей день вынужденность существования женщины в клаузуре, почти не выходя из дома, скрывая свое лицо, не имея права выбора, права решать судьбу своих детей, покорность безропотно сносить «отвержение» —

акт мусульманского устного трехкратного отречения мужа от жены, обрекающей ее фактически на вечное одиночество...

Марокко, конечно, еще не самый яркий пример бесправия мусульманок: там уже эмансипация имеет и свои немалые успехи, но для Тахара Бенджеллуна всё еще сохраняющиеся «цепи прошлого» — пример символически значимый и в плане общеарабском, и в плане национальном. (Да что уж говорить, ведь и сегодня еще особо значимого для некоторых мусульманских стран...) И те на первый взгляд резкие изменения положения женщин в стране, которые связаны с эпохой независимости, — полученная возможность учиться и работать — для писателя лишь исключение, подтверждающее оставшимся неизменным «закон» (шариат), а он и есть главная норма жизни миллионов не только его соотечественниц.

Вот почему и в «Харруде», и в «Мохе-безумце», и в других своих произведениях и публицистических выступлениях Тахар Бенджеллун так горячо и так страстно поднимает свой голос в защиту женской судьбы — в конечном итоге именно она становится для него судьбой Родины, судьбой народной, символом необходимости обретения права людей на защиту от тиранической власти отца в семье, от деспотизма, от насилия, веками творящейся социальной несправедливости. Тема женщины приобретает звучание темы родной Земли, а потому и такую, в общем достаточно характерную уже и для современной арабской литературы проблематику, и даже, как оказалось, «привычную» для ее старой художественной традиции форму необходимости «обнаружения чувств», «нестеснения» их женщиной¹⁶ марокканский писатель наполняет столь очевидной гражданской ответственностью, столь резким политическим пафосом, актуа-

¹⁶ См., напр., недавно вышедшую в переводе на английский (в 2020 г.) «Антологию женской арабской эротической прозы и поэзии» (с 1400 г. до наших дней). Сост. - палестинская писательница Сельма Дабба — «We wrote in Symbols: anthology renews millennia — old tradition of female Arab erotic littérature». London.

лизируя, заостряя саму проблему и сообщая ей дополнительный символический смысл, значимый и сегодня.

Хотя «Призрачное (или, как называет его автор, «Песчаное» — ср. «дом на песке») — дитя» — роман, искусно стилизованный под занимательные рассказы традиционных для Марокко уличных сказителей, бродячих артистов, чьи устные выступления собирают в мавританских кофейнях и на базарных площадях огромные толпы народа. В нем — современная притча, но со свойственным народным повествованиям разнообразием «концовок». Каждый слушатель что-то «припоминал» из «похожего» либо «случившегося и с ним», а заодно и сообщал новые «подробности», которые рассказчик в другом месте уже естественно вводил в сюжет, используя бытующую форму сказа. Современный писатель сообщает ему новую цель, и занимательная история о родившемся девочкой «прекрасном Ахмеде» становится трагической повестью о социальном мираже, фантоме, существе, имеющем плоть, но ставшим бесплотным призраком, имеющим лик, но обезличенном, рожденном в богатом доме, но ставшим бродягой, отомстившим насильнику, но и до сих пор оставшимся неотомщенным за «великое насилие», избавившимся от тюрьмы домашних стен, но умершим в цирковой клетке — символе очевидного «рабства», надежно охраняемого железными прутьями решетки — «порядка»...

...В сюжете романа богатый сеньор, Патриарх, глава большой семьи получил весть о рождении у его жены ребенка. Но в доме воцарялся траур. Семь дочерей родила ему эта женщина, принеся с собой, как он считал, только «несчастье» в этот дом¹⁷. И на восьмой раз он решил, даже если это снова будет девочка, об этом не узнает никто, всем оповещено будет о рождении у него сына. И все произошло

¹⁷ Древние поверья арабов, когда-то порой зарывавших в землю новорожденных девочек как существ, особо не приносящих пользы в долгих переходах караванов через пустыню...

в глубокой тайне, и никто никогда, кроме принимавшей роды старухи Лаллы Радхийи, вскоре умершей, так и не узнал, что росший в доме маленький наследник Ахмед — девочка... Матери велено было молчать — она с готовностью и смирением подчинилась воле своего Господина, а сестры и родственники не догадывались ни о чем. «Ахмед» рос ловким, подвижным, его воспитывали лучшие педагоги, прививали ему выносливость, он с детства умел скакать на лошади, владеть оружием, ему внушали презрение к женщине, стремление к власти, учили осознавать свое превосходство... Ахмед не знал, что рожден девочкой, презирал подобиюстрастие и рабскую покорность своих сестер и теток, тайно жалел мать, но был сдержан на сыновнюю ласку, гордился дружбой и доверием отца... Однако всё чаще задавал себе вопрос, почему его так настойчиво уберегали от контактов с окружающим дом большим миром... Но время шло. И пришло Прозрение. И книги, и зеркало, и наступившая зрелость открыли «страшную тайну». Но обнаружить ее было равносильно самоубийству — Ахмед уже прекрасно осознавал, что значит роль мужчины и роль женщины; их семья — это только песчинка в океане жизни... Терзания души обернулись желанием отомстить Отцу, взятием реванша, демонстрацией своей неподвластности его воле. А для Отца это означало реальную угрозу открытия Тайны, разоблачения его позора, невозможности узаконить свое извечное право на Власть при отсутствии мужского потомства...

Долго развивавшаяся внутри дома «болезнь», тщательно оберегаемая тайна разъела в конце концов его «организм», ускорила смерть Патриарха, предоставив всю полноту власти в доме «Ахмеду». Ему оставалось только повиноваться судьбе. Он созвал своих сестер и сказал: «С сегодняшнего дня я больше не брат, но я и не ваш Отец. Я буду вашим опекуном. У меня есть долг и право на это. А вы должны быть послушными и уважать меня. Излишне напоминать

вам, что в доме буду распоряжаться только я и что женщины должны быть покорными моей воле. Не потому что сам бог захотел сделать женщину существом низшим или пророк ее таким провозгласил, но потому, что сама женщина приняла свою судьбу, сама выбрала такую для себя участь. Ну, так покоряйтесь моей воле и живите в молчании» [Ben Jelloun T. *L'enfant de sable*. P., 1985, с. 65].

Но, понимая, что природа молчания — рабство, сам Ахмед тоже (будучи женщиной) следует участи тех, кому не предопределено, но людьми обусловлено быть рабами... Только его смирение со своей участью было особым — он сам обрек себя на одиночество, на затворничество, на молчание в смущении от благоприобретенных мужественных интонаций и грубых нот в своем приученном к властности голосе. И вот, избавляя себя от дальнейшей необходимости «раздваиваться», «Ахмед» замолчит навсегда, отдавая распоряжения по дому с помощью карандаша и бумаги. И, осознавая, что противоестественно занимает в пространстве дома неподобающее место, он выбирает скромную келью на самом верху, под крышей, чтобы в одиночестве созерцать из окна открытый мир... Таким образом, восставая против признания «неподлинности» своего рождения, против «низменности» своего природного происхождения, он одновременно продолжает раздвигать, всё углубляя, «рану» узаконенного веками традиции социального унижения женщины.

Но ни книги, ни наркотический туман забвения, ни иллюзорные «путешествия» — ничто не спасало от Знания. Реальность давила на сознание, а вернее, выдавливала правду. Образ разрушения дома, его медленной агонии, начавшейся со смертью Патриарха, — символ давно прогнивших устоев, на которых зиждется угнетение. Осыпалась штукатурка старых стен, расползались трещины, приходил в запустение сад, люди сходили с ума, умирали от болезней, — всё вокруг тлело, распадалось, как ткани, по-

раженные страшной опухолью. И все попытки что-то упрочить, как-то сохранить видимость были напрасны: «зло», разрастаясь изнутри, уже держало в своих тисках весь дом. Да и сами эти попытки были абстрактными — призрачная свадьба «господина» обернулась смертью предложенной ему новобрачной, не выдержавшей правды...

В тайной переписке с не виденным им никогда корреспондентом, спасавшей «Ахмеда» от духовной смерти, он признавался: «...семью, такую, какой существует она в наших странах, где отец — всемогущ, а женщины практически превращены в прислугу, я отвергаю, я окутываю ее туманом и не признаю ее... Я чувствую, как во мне растет гнев, и я больше не могу позволить себе такой роскоши, чтобы уживались во мне в одной ране души печаль и тоска моего существования и гнев, который заставляет меня теперь мыслить иначе...» [с. 89].

Обреченный на смерть от одиночества, «Ахмед», по одной из версий рассказа, обрывает нити, связывающие его со страшной тайной, и исчезает из дому. Дальнейшие его приключения — уже в реальном своем облике под именем Захры — исполнены также тайного смысла. Долго умерщвлявшаяся плоть — природная человеческая суть, давление и оковы косных традиций, сделали свое дело: Захра уже сама по себе несет признаки существа, подобного уродцу, выросшему в глиняном сосуде компрачикоса¹⁸, с явными «деформациями». Женское лицо утратило привлекательность, обросло бородой, а высохшее тело лишилось женской прелести... Ее показывают теперь в цирке, держа в клетке, как «ошибку природы», забывая о том, что Ахмед-Захра — «социальное извращение» [с. 160].

Страдая, закованная в цепи, она странствует по дорогам с бродячим цирком, обреченная теперь сносить всё то, что

¹⁸ Представитель древней «индустрии», существующей, увы, и по сей день, — например в Индии (по моим личным наблюдениям в Мадрасе), — специализирующийся на выращивании и продаже уродов для разных целей. В художественной литературе это явление нашло отражение в романе В. Гюго «Человек, который смеется».

сносит одинокая женщина на дорогах жизни. Не вытерпев унижений и оскорблений, Захра обрекает себя на гибель, лишив жизни своего мучителя...

Повествование со скорбным концом, однако, не устраивает всех слушателей — иные уверяют рассказчика, что «Ахмед ушел из жизни потихоньку», «обратив свой взор к небу, к далеким горизонтам», откуда ждал «света спасения», надеясь на свое «вознесение». И последними его словами были: «Я не хочу ничем перед смертью быть отягощенным. Я избавился от тела, я сжег свою память. Я был рожденной во лжи, и все вокруг было торжеством фальши... Я уйду в молчании. Я был, как сказал поэт, "последним на земле, самым одиноким из живущих на ней, лишенным любви, не знавшим дружбы, несчастнее любого зверя... Да, я был ошибкой, и в жизни видел только маски и ложь"» [с. 160].

Другие вспоминали героические сюжеты, в которых женщина, восставшая против своей участи, скрывалась под именем легендарного рыцаря, защитника людей — Антары. Она так и погибла — с оружием в руках, и, только сняв с нее доспехи, люди узнали, кто был их спасителем, державшим в страхе врага...

Возникают и параллели современные: среди слушателей появляется уже немолодая, прожившая полную драматических событий жизнь Фатума, в свое время оставившая родительский дом, познавшая и жизнь «низов», где влачили нищенское существование дети «отвергнутых» мужьями матерей, вынужденные продавать себя вдовы, не защищенные законом, «брошенные» женщины; где голод, болезни, первобытные условия существования в жалких лачугах бидонвилей на окраинах современных больших городов постоянно выталкивали людей на улицы и площади с требованиями куска хлеба, человеческих прав... В одной из таких демонстраций довелось поучаствовать и Фатуме, и она знает, как жестоко расправляется полиция с теми, кто под-

нимает свой голос... (В одной из предполагаемых записей Ахмеда есть слова о том, что, видимо, общество дойдет и до того, что неугодных детей просто будут сразу после рождения топить... [с. 154]. Но Фатума знала и другое: жестокость привычки молчания, на которую «обречены женщины в этой стране», может быть разрушена только их решительным «взятием слова» — столь же беспощадным, сколь и их рабство...

Вводя в текст повествования разные параллели: легендарные, реальные, фантастические, — писатель как бы уплотняет и одновременно развивает свой основной сюжет, раздвигает границы занимательного жанра, насыщая традиционное нравоучение не только социальным, но и острым политическим смыслом. Для этого подключается и мистический план в рассказе — явление в финале умершей от горя Фатимы¹⁹ — когда-то несостоявшейся «жены» Ахмеда: «Я — та, которую ты выбрал жертвой... Теперь я снова вернулась сюда, где все — вечно. Я вижу, что страна не изменилась... Земля суха и бесплодна... Я снова иду по следу твоей жизни. Я считаю умерших и надеюсь на встречу с теми, кто выжил... Страна не изменилась, и даже более того, я вижу, что многое стало хуже. Как странно! Люди проживают свою жизнь, копя лишь удары судьбы. Их ежедневно унижают, они безмолвствуют. Потом выходят на улицы и разбивают все. Тогда армия наводит порядок, стреляя в людей. И снова воцаряется молчание; и люди прячут голову под мышку. Роют глубокие ямы и бросают туда тела убитых. И так постоянно. Когда я была больна, я не видела, что творится вокруг. Я ждала только выздоровления, спасалась от приступов боли... А теперь я вижу все, что происходит слышу все голоса и звуки выстрелов. А главное — слышу крики детей... Ужасно умереть от шальной пули, когда тебе нет и двадцати...» [с. 205–206].

¹⁹ Разность в написании имен тоже символична: первое созвучно *fatum*'у как судьбе, второе — широко распространенному арабскому женскому имени.

К таким, зашифрованным в бреде, галлюцинациях или озарениях «хроникам текущих событий» магрибинцы 70–80-х годов прибегали всё чаще и чаще в своих художественных произведениях. Бессмысленно упрекать их в использовании уже ставшего одиозным приема «потока сознания» — табуизация некоторых тем еще сильна в национальных литературах, и подспудные, «неуправляемые» мысли персонажей романов, бессвязный, на первый взгляд ряд ассоциаций содержит и ключевые слова, и ключевые образы того главного смысла, во имя которого и пишется книга... (Творчество алжирца Р. Буджедры — яркий пример.)

Понятно, почему и Тахар Бенджеллун так долго держал воображение своего рассказчика в стенах дома, скрывавшего существование Ахмеда. «История — как старый Дом, со своими перекрытиями, этажами, комнатами, коридорами, окнами и дверями, со своими чердаками и подвалами, с полезной и бесполезной площадью. Стены этого Дома — память. Поскребите немножко камни, приложите к ним ухо, и вы услышите так много! Время собрало воедино все, что приносит день и уносит ночь. Оно все хранит и удерживает. И свидетель его — камень. Возраст камня. И каждый камень — это страница истории — каждое зерно камня хранит историю земли. Так и Дом. Он — как книга. Как огромное пространство. И я блуждаю по нему... Я думаю, что источник, в котором черпал я свой рассказ, не иссякнет никогда. Как океан... Ведь он пришел ко мне из глубин жизни... Так будьте же достойны тайны и сокровенных ран, которые открылись вам. Передайте мой рассказ дальше, пропустив его через семь садов вашей души...» [с. 207–208].

Легенда о «Песчаном дитя», услышанная из уст уличного рассказчика²⁰, так и не имела определенного конца, она словно бы и сама уходила в песок, и различные версии завершения необыкновенной истории лишний раз свидетельствовали о том, что дальнейшая судьба Захры не столько туманна, сколько еще не досказана... И действительно, «Призрачное дитя» в целом — лишь некое предшествование жизни героини Бенджеллуна, остановившееся как бы на переходной стадии: вспомним, что поначалу был мальчик Ахмед, лжесын, постепенно осознавший свою «подлинность», а потом постепенная его «трансформация» — по одной из версий — завершилась превращением в полу-женщину с прораставшими усами и бородой... Таким образом, реальность собственно женского своего существования в мире, навстречу которому вышла Захра, в «призрачном дитя» ею прожита не была.

А в романе «Святая ночь»²¹ (Ben Jelloun T. *La Nuit sacrée*. Р., 1987. Гонкуровская премия) она как бы рассказана читателю самой Захрой, поведавшей, наконец, «подлинную» историю своего воскресения и преображения. Причем преднамеренность сообщения «правды и только правды», мотивировка которого — в «невыносимой тяжести всего невысказанного, утаенного и сокрытого» [с. 5], в невозможности дальнейшего существования, «продвижения вперед» без устранения «груза» прошлого, — немаловажная деталь в художественной структуре произведения.

Сосредоточивая априори внимание слушателя (читателя) на «подлинности» своей истории, героиня, таким образом, вручает нечто вроде ключа к расшифровке смысла всего рассказанного ею, а оно — в первом своем приближении — абсолютно ирреально. «Ключ», следовательно, должен помочь настроиться на восприятие происходящего в рома-

²⁰ В Марокко их немало и сегодня на площадях и рынках старинных городов — Феса, Марракеша; а в детстве, когда писатель болел, ему часто рассказывали разные подобные «сказки» его родственники...

²¹ В русск. переводе Н. А. Световидовой — «Священная ночь». М., 1990.

не как на знак, на символ той, подлинной реальности, пережитой Захрой, которая и сама с момента своего возникновения в облике «призрачного дитя» вбирает в себя мотив столь важной и столь дорогой писателю (еще со времен «Харруды») темы: Женщина — Страна — История — Народ. В «Святой ночи» эта тема, развиваясь и углубляясь, раздвигает и границы образа героини, которая становится многозначным образом-символом, сгустившим реальные коллизии в невозможно «горький настой» из боли «раненой человеческой души», превращающий и сам роман в некую «обитель слов, падающих и обжигающих как капля кислоты» [с. 20].

В изначальной нацеленности на «воссоздание правды» — и нарочитость расхождения ирреального плана произведения с его реальным смыслом, нарочитость гипертрофии воссозданного вымысла, призванная лишь подчеркнуть значимость и остроту символически означаемого. В романе Бенджеллуна абсурдная жестокость всего происходящего с героиней не только очевидна — она ощутимо использована именно как знак определенной социально-исторической реальности, которая не приемлется.

Начиная свой рассказ, героиня повествования, после долгих лет скитаний вернувшись в родные края (Марракеш также не случайно избирается Бенджеллуном как город-знак: с ним связана одна из самых мрачных страниц современной истории Марокко, — город долгое время оставался резиденцией крупнейшего феодала, беспощадного тирана и эксплуататора, практиковавшего в своих владениях даже рабство — паши Глауи)²², скажет: «Ничего не изменилось. Ни небо, ни люди» [с. 5]. Поэтому задача растревожить сон «спящих» криком своим, обжечь горечью людские сердца, прорвать «молчание» и расшевелить «неподвижность» (забота поэтических творений Бенджеллуна) — очевидна и в романе, несмотря на «предупреждение» врача, полученное

²² О нем см. в Приложении к нашей работе «Марокканский ноктюрн». М., 2015.

Захрой, когда она лечилась в больнице: «Здесь все продано и предано. Никто не поверит в вашу историю» [с. 164]. Ведь и уличный рассказчик, знакомивший своих слушателей в «Песчаном дитя» с невероятной историей жизни Захры, потерпел крах, потерял аудиторию. Но уже и он угадал в ее жизни, различил в ней «спектр целой несчастной эпохи» [с. 11], а в придуманных и им самим, и другими различных версиях ее необычайных приключений, ее бесконечных «исчезновений» и новых «появлений» в различных ипостасях — упорные (как скажет впоследствии сама героиня) попытки создания непокорного, неподвластного самой судьбе образа.

Разделяя эту цель, Захра, теперь уже в конце своего жизненного пути, хочет «открыть последнюю дверь», чтобы окончательно вкусить «правду», и сама, «очищенная», «омытая» в реке страданий, во имя правды, во имя «полного» знания, творит свои собственные «образы» [с. 20].

В цепи воспоминаний планы реальный и фантастический сливаются воедино, что порождает не просто жизнеспособный символ, но сообщает ему основательную укорененность в точно «закрепленной» за ним определенной социально-исторической действительности. Даже в начале этой цепи — в легенде об одном из бедуинских племен, где был в древности жестокий обычай избавляться от новорожденных девочек, как от «бесчестья», — обычай, нити которого, пусть в трансформированном виде, но дотянулись и до современности (до сих пор среди арабов Марокко, и не только этой страны, рождение мальчика — событие куда более значимое, чем рождение девочки). «Надо знать тебе, как я ненавидел твою мать», — рассказывал Захре ее отец перед кончиной в двадцать седьмую ночь великого поста, в канун Большого Праздника, в Священную для мусульман Ночь, называемую «Ночью Судьбы» (по преданию, именно тогда была ниспослана Священная Книга — Коран, источник их веры и сокровенного Знания...) Теперь вот и доче-

ри правоверного мусульманина настал черед приобщиться к Тайне, узнать правду о своем рождении, услышать ее из уст того, кто сам извратил ее жизнь, превратив в сплошное мучение. «Только поэзия могла прославлять любовь. Нет, к жене я не испытывал никогда даже нежности, напротив, удавалось порой вообще забыть о ней полностью, о ее существовании, о ее голосе... А тут еще твои сестры, все до одной походившие на нее...» [с. 27].

Отторгая их всех от себя, обрекая на немоту, превращая в живые тени, отец, однако, создает подобие другой жизни, делая из новорожденной призрак мальчика, стараясь забыть, не замечать, искоренить все «признаки ее существа» [с. 26]. Но в предсмертной исповеди отца обнаруживаются только тонкие «нити», оставшиеся от древних поверий. Происходит не столько естественное для традиции удержание смысла заботы о наследнике, продолжении рода, сколько историческая модификация традиционных представлений: такое «наращение» на них новых элементов, которое расширяет изначальную социальную (атавистическую) предпосылку до оправдания ее необходимости *во все времена*, а в настоящем — особенно. Ибо отец, его поколение, как и предки в прошлом, ищут в поколении наследников силу, способную приумножить могущество, продолжить осуществление своих идеалов... Такое осовремененное толкование древнего обычая оправдывается и ненавистью к самой возможности «покорности», демонстрируемой «женским началом», его «готовности к повиновению». И, стремясь воспитать свое «призрачное дитя» сильным и непокорным, отец надеялся и на воспитание «могущества его разума», способность и волю противостоять всякому угнетению. «И с тех пор, как ты узнала, что бог — вездесущ, что он — всезнающ и всевидящ, ты делала все, прибегая к невозможному, чтобы вырваться, избавиться от его всемогущества, от его вездесущности...» [с. 29].

Таким образом, бунт, зревший поначалу в душе лже-Ахмеда в подготовивший прозрение Захры, был парадоксально подготовлен и обусловлен наличием самой власти Отцов, их традиций, их гнета, которые и рождали непослушание и сопротивление одновременно со все растущим несмирением и возмущением покорностью и рабством духа тех, кого изначально считали лишенными «силы» и «могущества» разума...

Отсюда и двойственность чувства, испытанного Захрой во время предсмертной исповеди отца, — смесь возмущения и благодарности²³ не только за познание правды о себе, но и правды о Жизни, ее противоречиях, ее драме. Да и само признание отца в эту священную для мусульман Ночь — неоднозначно. Оно совершается при условии, что в эту Ночь не только «все должно быть очищено и приведено в порядок» [с. 24], но и «никто из детей господних не должен ни умереть, ни страдать» [с. 23]...

Следовательно, одно из символических значений исповеди — не только в уничтожении лжи и обнаружении Знания, но и в своеобразном Завещании будущего счастья...

Но освободиться от наследия долгих лет обмана не столь уж и просто, и обрести «новое рождение» героиня смогла, лишь дождавшись смерти родителей. Символические похороны Прежней жизни совершаются на могиле отца, куда она (подобно Матери — героине романа Шрайби «Это цивилизация, мама!») закапывает атрибуты прошлого — не только свой мужской наряд, скрывавший ее «сущность», но и само свидетельство «призрачного» существования, освобождая свою грудь от «стягивавших ее повязок» [с. 57]. И получившая в Святую для нее ночь новое, дарованное ей отцом имя: Захра — Королева цветов, она впервые свободно вздохнула... А могила отца неожиданно, увеличиваясь в размерах, становилась тяжелым памятником

²³ Именно поэтому я предпочла в переводе названия романа эту нюансировку. Последняя ночь рамадана дала героине Знание и стала для нее «святой».

прошлому, одновременно облегчая человека, забирая в себя весь непосильный груз его прежнего существования... «И как тут не поверить, что эта ночь — Ночь судьбы, ужасная для одних и освободительная для других?» [с. 33]. Но это новое дыхание обретено Захрой только тогда, когда постепенно утрачивается, окончательно прерываясь, дыхание другого (становится понятной и символичность болезни отца — астмы). Точно так же, как меркнувший огонек постепенно таявшей свечи у изголовья умирающего отца постепенно «замещается» всё разгорающимся пламенем зари, и сама Ночь, даровавшая Знание, становится источником вспыхнувшего Света.

К этому символу, пронизывающему и этот роман, и будет отныне стянут весь пучок сюжетных «лучей». «Невиданной силы» свет прольется на Захру и на кладбище, и вспыхнет перед ее взором как видение всадника в сверкающей бронзой одежде на белом коне, излучавшем «сияние». Не оглянувшись на родную обитель, которую она назвала в своем рассказе «родимой пропастью» («abîme natal») [с. 58], героиня уходит вслед манящему ее Свету. «Я похоронила в одной могиле отца, свои вещи; мать — в часовне святого у двери ада, сестер — в доме, который должен вскоре разрушиться» [с. 58].

...Чья-то могучая рука подняла ее на белого коня, и вот Захра оказалась среди благоухающего сада воистину райской «страны детей», «хозяев земли». Это была «маленькая республика», существовавшая без армии, идеально организованная на принципах доброты и сердечности, гармонии человеческих чувств и отношений, свято охранявшая свои «тайны»... Там был и «оазис забвения» для «исстрадавшихся сердец». где росли «волшебные травы», способные наполнять душу радостью; там жили люди, умевшие «остановить время», «сохранить молодость», не вспоминая о прошлом, полном несправедливости и горьких обид... Там был и источник «чистой воды», омовение в котором «осво-

бождало тело», вселяло в него чувство воли, легкости, полетности — как в прекрасной грезе... Но именно в этой своей «грезе» Захра наконец-то и становится «живой». «Ко мне словно вернулась душа. Я громко кричала: “Живая, живая!..”» [с. 46]. Хотя постепенно охватившее ее чувство свободы наполняло не только ощущением счастья, но и сознанием противоположного состояния, когда ее существование в прошлом было самым несчастьем, «без правды, без желания жить» [с. 47]. Так «многое знание» рождало большую печаль...

Но возвращаться в прошлое было не в правилах чудесной «страны детей». Закон «вневременья» защищал ее жителей от тягот «внешней жизни», сохраняя вечную молодость, и этот закон был нарушен Захрой, хранившей память о «несчастье». Она вносила смятение, нарушала привычное спокойствие, установленный идеальный порядок вещей... Она должна была покинуть этот «оазис забвения», иначе волшебное зеркало, существовавшее там, вместо того чтобы показывать силуэт Будущего, отразит только остановку времени...

Таким образом, возникший перед героиней образ «чудесного сада» (как синоним «рая») волшебной страны Забвения не стал истинным этапом ее пути, но лишь призрачным миражом, напоминавшим лишний раз Человеку, что в истинной жизни нельзя не помнить о Прошлом и что обретенное навсегда лишь одно Настоящее — иллюзия человеческого существования. Вот почему, освободившись от чар миража, Захра заново начала свой путь от кладбища.

Теперь героиня идет лесом (в поэтике Бенджеллуна этот образ несомненно, связан с древней африканской мифологией, где лес — символ мрака, скопище сил, враждебных человеку), и на самом краю его, а точнее — где-то на пограничье с открывавшимся впереди простором и видневшимся вдали Городом, таинственный незнакомец, чьи шаги преследовали ее, завершает окончательное превращение

Захры в женщину. Причем его «нападение» не воспринимается ею как насилие, но скорее наоборот, как избавление от него, ибо в этом понятии для героини сосредоточен смысл прежнего ее «призрачного» существования. Поэтому и освобождение ее подлинного естества теперь становится как бы самым «прорывом» в реальность. И дальнейшее повествование «опрокидывается» из плана ирреального в план реальный.

Сам по себе внешний, видимый слой этого плана исполнен, как и всегда в произведениях Бенджеллуна, художником, внимательным к мельчайшим деталям и подробностям быта, прекрасно воссоздающим его национальную специфику. Столь же тщательно выписаны портреты персонажей, вспоминаемых героиней. В целом «воссозданные» ею «по памяти» образы отца, матери, сестер, многочисленных родственников из «реального прошлого», как и портреты очевидно иллюзорных всадников и детей из «чудесного сада», как и образ такого многозначительного для повествования персонажа, каким является Консул, — все они убедительны либо меткостью зарисовки, либо точностью социальной характеристики, либо — как Консул — литературной и философской суггестивностью, «наводящей» на расшифровку символического смысла романа. Однако реалистические детали возникающих образов всё чаще вступают в нарочито фантастическое сочетание, которое постепенно метафоризирует «почерпнутый из жизни» материал и превращает его в своеобразную аллгорию действительности. Так, Захра вспоминает, например, как во время своих скитаний и странствий «через ночь» набрела на огромный «склад», полный иссохших, обескровленных человеческих тел... Это оказались «забытые» здесь давным-давно городскими властями несчастные люди, — нищие, калеки, безработные, беспомощные, беспризорные, от которых понадобилось однажды побыстрее «избавиться», чтобы они не портили «лицо» Города, который приукрашивали мест-

ные власти к приезду «знатных иностранцев»: «Необходимо было стереть эту грязь, замазать как-то этот нежелательный облик страны, уничтожить этот ее страшный образ, избавиться от этого сорта населения...» [с. 162]. Чудовищное зрелище «навсегда забытых», выброшенных из жизни, униженных и оскорбленных изгоев общества, обреченных жить где-то на «свалке» (образ, несомненно, возникший в «Святой ночи» под воздействием романа М. Дибя «Террасы Орсоля», 1985, герой которого обнаружил такую «свалку» на окраине одного из западных городов)²⁴, вбирает в себя как бы весь заряд значительной силы, обнажающей правду, которая и сопровождает все повествование в целом...

Возникающие в плане «реальном» и персонажи романа, и сюжетные ситуации существуют в ракурсах, однако столь неожиданных, что, очевидно, полны глубинного смысла и обретают для образа Захры необходимую подлинность.

...После иллюзорного «омоложения» в чудесном прозрачном источнике волшебной «страны детей» Захра совершает новое «омовение» в мрачном, окутанном туманом паров, душном и жарком хаммаме (мавританской бане), что расположен при входе в Город и где не столько смывалась грязь, сколько, казалось, скапливались все нечистоты этого мира... Таким образом, новое «крещение» — как новое рождение Захры — происходит не только в отмывании от «коросты» прошлого, но и в причащении к неприглядной «изнанке» настоящего. Естественное действие (посещение хаммама после долгого пути) приобретает символический оттенок именно в силу совмещения противоположных деталей восприятия хаммама как источника «очищения» и одновременно сборника нечистот. Казалось бы, и старая привратница этого заведения — существо внешне омерзительное, словно исполненное самим мраком, который царит в помещениях, охраняемых ею, — лишь призвана оттенить

²⁴ О творчестве М. Дибя см. подр. нашу работу «Обречение Авеля». М., 2020.

своей безобразностью и немощностью молодость и силу Захры. Однако именно она — отторгнутая от жизни своим уродством, презируемая и униженная людьми, становится в этом мире как бы эхом «призрачного» прошлого существования Захры и, более того, именно она, посвятившая свою жизнь слепому брату — шейху, постепенно приближает Захру к цели, которой следует та с начала своего пути по дороге «истинной» своей жизни... Вначале простая служанка в доме привратницы, потом поводырь слепого шейха, постепенно принимая на себя функции сестры, Захра становится неотъемлемой частью жизни того, кто для нее явится новым источником Света.

Не видящий окружающего, шейх (по прозвищу Консул — то есть «дающий совет») зрит свой внутренний мир, погружаясь в глубины размышлений о смысле Бытия, о смысле Веры, о возможностях Разума. (Подобно тому как в «Песчаном дитя» в образе слепого хранителя библиотеки в Буэнос-Айресе, куда занесла судьба собирателя историй о Захре, угадывается образ знаменитого аргентинского писателя XX века, славившегося изощренным интеллектуализмом своей прозы, — Хорхе Луиса Борхеса, так и в биографии Консула в «Святой ночи» «заложена», несомненно, одна из версий биографии Абу-ль-Аля аль Маарри, выдающегося поэта, мыслителя и философа, арабского «классика» X–XI вв. Ослепший в детстве после оспы, но наделенный необыкновенными способностями, он стал для людей своего времени не только великим художником слова, но и своего рода «пророком», возвещавшим некую общечеловеческую религию и общечеловеческую философию, основанные на глубокой вере в беспредельные возможности и власть человеческого Разума²⁵.

Захру страстно влечет «свет», исходящий от слепого, хотя и погруженного в свой вечный «мрак», но умеющего различать Добро и Зло, утратившего вдохновение и спо-

²⁵ См., подр. у: Шидфар Б. Я. Абу-ль-аля аль Маарри. М. 1985, с. 16–17.

собность к творчеству, но желающего познать радости Жизни. Людям нужно общаться, улыбаться друг другу, даже если они — незрячи, учил Консул. «человеку важен смех, который рушит стену страха, нетерпимости, фанатизма». Преодолевать взаимопонимание, приводящее человека на «край бездны», понять сущность человеческих устремлений, Истину, во имя которой живут люди, сорвать с мира «маску лжи», искажающую лик Правды, — таково было кредо Консула, требовавшего Правды и от других, ибо «слепому лгать нельзя»... Не исповедующая никакой религии, знающая, что ничто «не способно удержать ее в поиске своей правды и истины», «идущая сквозь мифы», а потому — «свободная» [с. 83], Захра, не испытывая «никакого желания никого ни угнетать, ни подавлять» [с. 79], сама избавившаяся от «абсолютного одиночества», загипнотизирована этим исходящим от Консула светом. Привратница, сестра Слепого, объяснила ей, что рожденная в Святую Ночь Захра и сама призвана избавить людей от «Ночи их существования» [с. 113], вырвать из ада их отделенности от жизни, зажечь им «свет» в сумерках их Одиночества, вернуть Слепому его вдохновение и способность творить... Так завершался круг «сближения» людей с «общей раной». И именно Захре, преодолевшей свою собственную «смерть», родившейся заново, выпадает миссия «возрождения» Консула. «Потому что именно ей пришлось когда-то молчаливо сражаться за возможность выйти из зловещего лабиринта судьбы, бороться против несправедливости, засилья религии, ложной морали, против всего, что компрометировало человека, пачкало его, предавало и грозило уничтожением его человеческого "я"» [с. 85]. Сама становясь надеждой на спасение от Мрака и от Холода человеческого жестокосердия, посланница Ночи Судьбы несет, таким образом, на себе отблеск Света, Прозрения, Правды, Любви, а потому и нужна — и как Поводырь, и как Воз-

любленная, и как Посредница между Настоящим и Будущим²⁶.

В плане «реальном» для этого нужно было не допустить проникновения сил Прошлого, помешать им «убить» надежду, а значит, необходимо было самой вступить в борьбу. И вот, выстрелом из маленького револьвера, принадлежавшего Консулу, Захра убивает врага своего покойного отца, преследовавшего ее, явившегося к ней перед ее свадьбой с Консулом востребовать свою долю «наследства», якобы полученного ею когда-то... Страшный призрак Прошлого, вдруг снова возникшего перед ней, как бы оживил всю боль, упрятанную куда-то в глубь тела, души, которую лишь изредка теперь тревожили воспоминания, «расплываясь по памяти, как пятна плесени на потолке» [с. 75]. И вот они нахлынули на нее все разом, захлестнули Свет волной вновь вспыхнувшего гнева и желания отомстить... Ее судили и приговорили к тюремному заключению. И снова потянулись сумерки, опустилась Ночь, которая продлилась пятнадцать лет. Теперь Захра сама завязала себе глаза и не снимала повязки, чтобы *видеть только то, что хранила память об ее Свете* — Свете Прозрения, Знания, Любви. Чтобы не растратить его прекрасные искры...

Но и в этом ее новом заточении во Мрак Прошлого наступает снова. И она снова будет сносить его пытки: явившиеся к ней «сестры» (аллюзия на фанатичных представителей религиозных сект «братьев-мусульман») будут му-

²⁶ Несомненно, Бенджеллун обыгрывает в романе распространенный в мусульманской мифологии (в шиитских течениях ислама) мотив «божественного Света Мохаммада» (нур-уль-Мухаммади) как сущности «души пророка», понимаемый в качестве первого творения Аллаха. Эманация этого Света составляет смысл концепции духовной преемственности потомков Мохаммада. Обретая в романе «Святая ночь» аллегорическую функцию замещения Мрака, вытеснения Ночи, опустившейся над Жизнью, мотив Света приобретает и новый символический смысл: некоего «идеала», Маяка, к которому устремляется человек, вышедший на дорогу знания, ведущего к Будущему. В этом своем звучании мотив Света здесь приближается и к мифологемам еще более древним, — таким, например, как зороастрийский свет «благих мыслей» (звезд), «благих слов» (луны), «благих деяний» (солнца)... (подр. см.: Грюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабско-мусульманской культуры. М., 1981).

чить ее, жалить змеями, скорпионами, наносить удары ножом и резать лезвием и, наконец, снова совершат покушение на само ее существо, прибегнув к одной из чудовищных ритуальных операций (инцизии), особо распространенных среди некоторых «дремучих» африканских племен... Кошмар прошлого продолжался.

Но преданная, израненная и истерзанная, перенесшая все муки ада Захра, выйдя из тюрьмы, не была сломлена, но обрела еще большую «ясность». Еще большую потребность Знания, бóльшую остроту Видения, почувствовала необходимость идти дальше на встречу со Светом, который, она чувствовала, шел к ней откуда-то с вершины Горы²⁷, возвышавшейся над морем. К Свету, уже давно ставшему ее «религией», которую исповедовал теперь сам Консул.

Но это был уже не только Свет Знания, Прозрения, Любви, но и «абсолютный свет» Истины, который и излучает «человеческая солидарность», основанная на принципах «подлинного братства». Таков был урок, вынесенный человеком из своего «заточения», итог пути преодоления Мрака, избавления от лжи, от пут прошлого, от неведения, во имя торжества справедливости.

Так реальная первооснова, заложенная в художественный образ, рожденный еще в «Харруде», слегка затронутая в «Одином Заключении» («где-то в пустыне моих бессонниц мелькнула тень — это прошла моя мать...»²⁸, «надстроенная» в «Мохе-безумце» и углубленная в дилогии («Призрачное дитя» и «Святая ночь»), постепенно обросла дополнительными смыслами, раздвинулась и вширь, и вглубь, и превратилась в символ общества, «униженного ханжеством, мифами извращенной религии, опустошенно-

²⁷ Очевидно, что и этот — последний в романе этап «пути» Захры по дороге Жизни также сопряжен с древней мифологемой Восхождения на Гору, как пути к очищению, к Познанию Истины, освобождению от Страданий (подр. см. в нашей работе «Мир гор» (Семантическая амплитуда топоса Горы).

²⁸ Ben Jelloun T. La réclusion solitaire. P., 1973, с. 85.

го бездуховностью, обезображенного гнусной ложью» [с. 138].

Загадочность исчезает, туман рассеивается, и смысл Маршрута сквозь «Пустыню одиночества», «Лес» и «Ночь» навстречу Свету «лучших дней» становится однозначным. Вот почему Захра в начале своего повествования так настойчиво предупреждает слушателей: «Моя жизнь не сказка. Я лишь собрала воедино факты, которые были тщательно упрятаны, погребены под черным камнем в доме с глухими стенами, в глубине тупика, за семью дверями...» [с. 6–7]. В этой фразе почти каждое слово — знак. Обозначаемое ими — сама реальность окружающего мира. Ибо главное — это правда» [с. 5].

Принципы «реалистической символизации», очевидно обозначавшиеся в творчестве Бенджеллуна уже в ранних его произведениях и в той или иной мере отметившие и «Моху-безумца», и «Молитву об Отсутствующем», были одним из свидетельств (наряду с другими признаками) всё более утверждавшей себя во франкоязычной литературе Магриба новой художественной системы, связанной прежде всего с процессом субъективизации изображения реальности. Писателям становилось необходимо прежде всего запечатлеть отношение к окружающему, причем отношение эмоционально окрашенное, сосредоточенное на впечатлении (а порой и потрясении), на настроении, на душевной реакции человека, не столько анализирующего, сколько переживающего реальность. Она же — как главный источник творческого видения — не исчезает из поля зрения художника (и в этом можно было убедиться на примере произведений, представленных выше), но как бы, сливаясь с его внутренним миром, приобретает новый ракурс, отражаясь, а точнее, преобразаясь в более экспрессивной форме.

Однако в творчестве Бенджеллуна примеры субъективизации реальности находятся на разных этапах в разных со-

отношениях с началом объективным : если в поэзии чаще преобладает внутреннее ощущение реальности , выражение ее скорее преисполнено внутренним видением, личностным переживанием, то в прозе писатель сопоставляет в разных вариантах и реальность объективную, и реальность субъективную.

Действительность историческая, социальная, политическая не только в определенном объеме, но и с определенными, конкретными признаками очевидно присутствует во всех произведениях Бенджеллуна. Порой конкретная оболочка художественного образа в известной мере абстрагируется и превращается в чистый образ-символ (дерево, птица, море, пена, река, источник, песок, дорога, небо), порой художник просто использует привычный фольклорный мотив и персонаж, идеологизируя его, а порой и само произведение в целом достигает уровня развернутой метафоры («Одинокое заключение»), где аллегоризированы практически все изображаемые ситуации, или же, как можно было отметить при знакомстве с дилогией, превращается в символический роман-параболу, сконцентрированный на определенной проблеме, связанной, несмотря на всю условность изображаемого, с совершенно конкретным социально-историческим контекстом.

Порой, наоборот, субъективизация реальности, стремление передать порождаемые ею ощущения героя (который чаще всего становится лирическим «я» автора), стремление выразить или отразить свои настроения (прошлые или настоящие), рожденные встречей, столкновением с реальной действительностью желание не столько показать события своей эпохи, сколько воздействие их на личностное сознание, — превращаются в особый способ конкретизации объективной реальности в художественной ткани произведения, в импрессионистическую фиксацию отдельных явлений жизни, не мешающую тем не менее смысловой завершенности и художественной целостности всего текста.

Подобный путь показа взаимодействия человека и окружающего его мира был частично испробован Бенджеллуном уже в романе-поэме «Харруда», где одновременно совершена и попытка создания нового жанрового типа (лирико-символической модели биографической прозы). Очевидность же преобладания начала собственно лирического (хотя «поэма» в то же время сохраняла «роману» и некоторую долю «эпичности»), смещало в «Харруде» границы жанра в широком смысле, «вибрировавшего» уже где-то на грани поэзии и прозы как таковой. «Поэтичность» прозы оставалась, впрочем, неотъемлемым атрибутом творческой манеры Бенджеллуна, реализующейся по-разному в различных произведениях и более позднего периода.

В одной из попыток создания биографической модели, определенной самим писателем уже как «повесть» (*récit*), преобладает начало эпическое в родовом смысле этого слова, но все равно значительно отличающееся от нарративных структур первых магрибинских романов-биографий²⁹. Этот жанр с течением времени в творчестве разных франкоязычных прозаиков претерпел эволюцию, и Тахар Бенджеллун тоже предлагает нечто, не похожее ни в жанровом, ни в стилевом отношении на то, что было написано им самим и другими.

Роман «Писарь» (Ben Jelloun T. *L'écrivain public*. P., 1993) (хотя это название не вполне меня устраивает, ибо несет в себе общепринятый перевод этих двух слов — «публичный писатель», т.е. пишущий за других человек, исполняя их просьбы, а в этом есть оттенок скорее «исполнительский», чем в некотором роде «творческий»). Это — беллетризованная история одной жизни, близкой к собственной судьбе писателя. «Воспроизведение» рассказа об одной судьбе (по письмам, дневниковым записям героя,

²⁹ «Сын бедняка» М. Ферауна, «Большой дом» М. Дибя и др. (см. подробно в «Истории национальных литератур стран Магриба». М., 1993. Колл. авт. в трех томах: «Алжир», «Марокко», «Тунис»); Прожогина С. В. Магрибинский роман. М., 2007.

беседам с ним) изобилует, как предупреждает читателя автор, и вымыслом, но в то же время, как свидетельствует создатель текста, основано на фактах подлинной истории.

Пожалуй, наиболее фантастичны здесь, как и в «Харруде», картины жизни, связанные с воспоминаниями детства. Но если в первом романе-поэме они скорее насыщены образами сгущенными, вплотную приближающимися к символам, то в «Писаре» они, напротив, «разуплотнены», размножены в своих чувственных и телесно-осязаемых фазах. Представлены мгновениями, роящимися в воображении больного ребенка, скованного болезнью, обреченного на долгую неподвижность и только в своих мечтаниях уносящегося в самые невероятные «приключения». Но эти «видения», осевшие в памяти уже взрослого рассказчика, представлены разнообразными ощущениями именно от детских его встреч с радостью, страхом, горем. И всё это «растворено» в многочисленных портретных, бытовых, психологических набросках и зарисовках, но соответствующих определенным состояниям ребенка, переживающего, наблюдающего, воспринимающего окружающий мир.

Несомненно, техника воссоздания впечатлений от этого мира, искусно вводящая читателя прежде всего в мир души ребенка, как бы преобладает над анализом объективно происходящего вокруг него и даже просто исключает его. Однако и сам отбор реалий (пусть выступающих в качестве впечатлений), и подчиненность этого отбора общей тональности авторского замысла (пусть сквозь детскую призму восприятия реальности) отнюдь не искажают контуры объективно присутствующего мира. И все одушевленные и неодушевленные предметы в этом восприятии, пусть даже и вступающие порой в фантастические отношения (Бенджеллун недаром во всех своих интервью утверждает, что он всегда пишет «роман-сказку»), очевидно составляют неотъемлемые элементы внешнего мира и наделены признаками

совершенно определенного исторического пространства и времени. При этом характерные детали портрета, костюма, манеры говорить (весь, к примеру, облик подружек матери, друзей отца, родственников, приходивших в гости, запечатлевшийся в сознании ребенка) отнюдь не призваны воссоздать некий обобщенно-отвлеченный тип, но лишь воскресить по памяти именно образы этого мира во всей их неповторимой индивидуальности. И они создают такое цветковое, слуховое и зрительно-осязаемое многогранье, что и сам этот мир в конечном итоге «всплывает» в тексте произведения в своем специфическом национальном колорите и весьма точных социально-психологических проекциях. Так, импрессионистический прием (заимствованный, конечно, у М. Пруста), очевидно, подчинен принципиально иной задаче, нежели просто замене времени реального временем эмоциональным. Задаче, объемность и значимость которой раскрывается в произведении постепенно.

Но уже и фиксация отдельных впечатлений раннего детства — как одно из слагаемых этой задачи — не лишена весьма тонкой дифференциации всей их «совокупности»: этому способствует прием «раздвоения» героя на рассказчика («друга», доверившего автору запись своих мыслей, высказанных в беседах или в дневниках), и его «альтер эго» — самого автора, который время от времени «вмешивается» в текст, в ход мыслей своего героя, но чаще всего становится — для своеобразно исповедующегося перед ним его «друга» — той самой необходимой опорой, которая и помогает «удерживать» рой воспоминаний-видений в четких границах исторического пространства и времени. (Недаром и в этом тексте так часто возникает образ «зеркала»: здесь оно служит не только целям «отражения» жизни «друга» в жизни автора повествования, но и способом «коррекции», а точнее, фокусирования или отбрасывания памятью рассказчика лучей, идущих *из прошлого в настоящее.*) Постепенно собирая эти «лучи», стягивая их в

одну точку, которая и становится концентрацией смысла поведенного, автор не позволяет впечатлениям героя улечься, рассеяться, а тексту — превратиться в стопку не связанных между собой «записей», чтение которых, как это предлагается читателю в начале повествования, «можно начать с любого места» [с. 12].

Изначально как бы не заданный импульс поиска символического смысла изображенного естественно возникает в итоге прочтения книги, становясь необходимым условием восприятия всего рассказанного как особого «знака», когда «означаемое» (реальность объективная) является «шире» означенного (реальности субъективной). Этот «импульс» содержится и в признании героя, распознающего свое прошлое через призму прожитых лет: «Больной ребенок, я мечтал о жизни... Вынужденный созерцать замысловатые узоры на потолке, таинственные сплетения арабесок, я воображал себе иные миры, фантазии еще более сложные и еще менее поддающиеся логике... Мои глаза аккумулировали эти повторяющиеся, вибрирующие мотивы. Я пытался сместить линии орнамента, поменять их местами, потом снова восстановить порядок и симметрию. И так в течение долгого дня я мысленно собирал и разбирал эти движущиеся, расплывающиеся линии, нарушая и восстанавливая их гармонию...» [с. 13].

Эта мечта о «жизни», естественно произрастая из невозможности человека полноценно жить, в начале пути своеобразно замещая жизнь фантазией, а впоследствии помогая оценивать происходящее, становится одновременно и источником разлада героя с окружающим, и исходным моментом того своеобразного анализа (в свою очередь порождающего новый художественный образ-символ), который сам по себе позволителен только с дистанции романного времени: «Я никогда не дрался... Отвешивать кому-то удары или самому получать их, стараться отвечать, чтобы защищаться, рисковать, бросаясь вперед, без страха быть по-

битым... бороться изо всех сил, чтобы победить, одержать верх, воспрянуть, почувствовать гордость... Я не познал всего этого [с. 13]... Моя немощь была моим укрытием, убежищем, в котором я прятался, спасаясь... Как будто болезнь, сковав мне кости, лишила меня и сил сопротивления» [с. 29]. (Отметим попутно, что мотив «увечья», столь распространенный в произведениях Бенджеллуна, каждый раз наполнен иным смыслом. Здесь он в отличие от «Святой Ночи», например, где слепота Консула — признак его высшего «духовного зрения», становится признаком некоей «этической» неполноценности Человека — отсутствия у него духа сопротивления «оковам», неспособности его к борьбе, подавленности или полной зависимости от обстоятельств.)

Живший в душе «больного ребенка» долгий страх, страх быть «раздавленным», «разбитым на части» там, где каким-то образом возникала «толчея», «потасовка», «скопление народа», мешал ему участвовать в жизни уже и тогда, когда, собственно, болезнь была преодолена, когда исцеление пришло к нему от молодого врача-марокканца, возвратившего немощного ребенка к нормальному состоянию. Но наступит время учебы в лицее, а с ним и постижение жизни, ее радостей и ее горестей, столкновение с ее противоречиями. Он рано «познает в лицо» колонизаторов, демонстрировавших свое «превосходство» и оскорблявших марокканцев, показывая свою власть над ними, над «захваченной у них землей». Всю жизнь герой будет помнить «наглуую улыбку» таможенника, буквально грабившего в подходившем к «внутренней» границе страны — испанской «зоны» Марокко — поезде всех пассажиров с «неевропейской внешностью». Тогда, при переезде с родителями из родного Феса в Танжер, он словно перешел «рубеж»: из жизни, «защищенной детством», его «надежными стенами», в мир, где существовала опасность и где без «борьбы» уже нельзя было выжить...

Он рано ощутит на себе груз старых и косных традиций, обостривших и без того очевидные социальные контрасты (относительно благополучная семья воспротивилась его браку с девушкой «пролетарского происхождения»: дочь портового грузчика и сын коммерсанта стояли на разных ступенях общественного устройства...)

«Вселенная» расширялась перед ним постепенно: плетеная корзина, долго служившая большому ребенку не только колыбелью, «укрытием» «убежищем», в котором он был предохранен от «опасностей» бытия, но и «клеткой», куда, в сущности, он был «спрятан от мира», обреченный на неподвижность, — эта корзина рассохлась, распалась и была в конце концов «отброшена, как ненужная рухлядь», в сторону Человеком, вышедшим в Мир, открывшийся ему разными своими гранями.

Однако две из них: политическая и социальная, — как две главные «болевые» реальности окружающего пространства, и становятся, на наш взгляд, теми полюсами бытия, которые создают постоянное напряжение, обуславливающее «саморазвитие» биографии героя в художественном произведении. И хотя в этой биографии отразились не столько фактические события национальной действительности, сколько ее характер, ее специфические особенности, противостояние двух образов мира в сознании героя становится постепенно тем главным условием, в котором происходит и завершается формирование его личности.

С одной стороны, это образ униженного, оскорбленного и обездоленного народа, которого чужеземцы лишил земли, «отрезали от корней» древней культуры. Практически навязали «другую цивилизацию», чужой язык, тот способ существования, который был связан прежде всего с утратой независимости. И ее-то прежде всего надо было вернуть, добыть, отстоять. Это объединяло с другими людьми, вселяло веру в свои силы, возрождало «искры надежды», которые постоянно «гасились» колонизатором, опустившим

свою Ночь над страной. Когда отец героя, вспоминая о Рифской революции 20-х годов, рассказывал о ее вожде Абдель Крине, которого «лично знал», об отважных людях, которым помогал в молодости, укрывая повстанцев и тех, кто был связан с ними, о том, как и сам потом спасался от преследовавших его властей, то говорил прежде всего о Соппротивлении, не позволяющем Народу превратиться в скопище рабов, о Соппротивлении, которое не должно угаснуть в вечной мечте людей о Свободе. Но было ясно и то, что ни эта живущая в народе мечта, ни даже обретенная Независимость сами по себе не способны уничтожить те, другие «цепи» другого «рабства», которыми страна опутана «изнутри»: косность общественных анахронизмов, отсталость массового сознания, всё, что может оказаться неподвластным переменам политическим, связанным с уходом колонизаторов...

Собственно события, само национально-освободительное движение, его подъем в романе не отражены, но они отразились в сознании подростка, вместе со всеми охваченного ожиданием, ветром надвигающихся перемен, предчувствием новой Судьбы. И это ожидание, нетерпение, порыв к новой жизни — во всем движении романного времени. Конец болезни — как конец неподвижности, выход в распахнутую дверь в мир: улица, школа, лицей, поезд, смена городов, стран, ощущений, настроений... Даже в таком, казалось бы «случайно» зафиксированном памятью эпизоде детства, как смерть дяди, горе близких, похороны — не столько пораженность сознания человека, впервые столкнувшегося с концом жизни, сколько облегчение от самой возможности прервать состояние ужаса, страха, вдруг сковавшего дом: ребенок был удивлен и обрадован, увидев, как быстро взрослые поменяли траурные одежды на будничные, как быстро возвратились привычные ритм, звуки и запахи вновь ожившего дома, как заполнили они его, вер-

нули ему «голос», словно вырвавшийся снова из плена мрака, скорби, плача и тоски...

Тогда, в детстве, ребенку казалось, что жизнь то уходит куда-то, в темень «подземелья», то возносится куда-то «к свету», и что все люди на земле так и живут, переходя, перебираясь из одного состояния в другое [с. 36]. Однако со временем мир оказался наполненным не чередой мрака и света, но и тем и другим сразу, и «свет» оставался надолго в душе как предощущение Будущего, а «мрак» — как неизбежная тягота (*la peine*) Настоящего. Не угасало и воспоминание, оставшееся от «прошлой болезни», — она как бы продолжала еще жить во вновь воцарившемся вокруг оцепенении людей, их новой покорности, новом угнетении, в оковах — так и не разбитых — косных традиций, в разделенности людей социальными перегородками, в невозможности «сдвинуть вещи», разрушить их «святой порядок», устоявшийся в веках, когда «каждому было обозначено свое место» [с. 73].

Социальные предрассудки, религиозные догматы, угнетавшие свободу воли человека, масса «запретов» и «предписаний», налагавших на современного человека нормы средневековой морали и права, то есть все продолжающееся еще угнетение Человека способно было превратить его в «нравственного калеку» с «подавленной психикой» и «извращенным мировосприятием» [с. 68], вызвать у него ощущение «увязания в болоте социальных условностей» и «нравственного маразма» [с. 73].

Недаром и в этом произведении Бенджеллуна возникает мотив «несостоявшейся любви» («запрещенный брак» героя), «незавершенного вожделения», «загнанного внутрь желания» — как символ несовершенство идеала, недоступной полноты человеческого счастья...

Одним из оплотов «длящегося прошлого» в новой жизни, отмеченной уже отсутствием чужеземцев-угнетателей, становится и в этом романе Бенджеллуна традиционная му-

сульманская семья, где властвует отец, и где женщины и дети — бессловесные рабы. «Общественное неравенство — не только в неравенстве экономическом, — рассуждал герой «Писаря». — Оно лежит в самих наших истоках, в самой истории наших семей, каждой семьи» [с. 73]. Парадоксально, что именно ее основа — женщина (во имя которой когда-то совершались подвиги, во славу красоты которой создается очаг и приумножается богатство, — вспомним хотя бы страницы романа «Завещание» Д. Шрайби³⁰) — именно она и предназначена и почитанию, но и страданию одновременно, причем именно страдание становится главным признаком ее существования.

Запрет, накладывающий, как печать на уста, невозможность выразить себя в чувствах, завет старины, возведший покорность в закон, равно обрекает, как показывает Бенджеллун, и неграмотную Мать, и образованную Невесту на трагическую повседневность рабства: «Смирившаяся мать молчала, подавив, вогнав в себя все свои крики и свой гнев» [с. 55]. Семнадцатилетняя девушка, у которой было отнято право на выбор, глотая слезы, писала в свой дневник, «чтобы унять боль души»: «Я одна, мне трудно дышать, я не узнаю в зеркале ночи своего лица» [с. 74].

Но «зеркало ночи», отбрасывая искаженный бесправием женщины образ мира, заставляло героя воспринимать и отца «двоившимся» в его памяти образом, человеком не однозначным, но означавшим одновременно и Власть, и Безволие, и Добро, и Зло. Любовь и доверие к отцу, уважение и почитание его авторитета, даже в известной мере понимание тех принципов, которыми он руководствовался в жизни, и безусловно восхищение его «боевым прошлым» смешались в душе героя с жалостью и презрением, а порой и негодованием, и ненавистью к родителю.

³⁰ И марокканцы, и алжирцы, и тунисцы часто показывают этот «парадокс», как и безраздельную власть женщины — замужней, хозяйки в доме, но ее осознание своей «замкнутости» в этот Дом, как в «тюрьму».

Эта «трудная» любовь-ненависть к отцу (подозреваемая «двойником» героя — автором) — явление обычное в литературе Магриба (вспомним романы Д. Шрайби, А. Мемми, А. Джебар, Р. Буджедры и мн. др.). Несомненно, оно связано и с психоаналитической традицией воссоздания по памяти образа Отца (в том числе и в художественной практике) как сочетания и «Бога», и «Дьявола»³¹, что подспудно присутствует и в романе Бенджеллуна. Но и здесь, как и в произведениях его предшественников и современников, оно подчинено прежде всего символическому смыслу.

Раскрывая в процессе показа разновременного восприятия героем своего Отца «объемную» сущность этого персонажа, писатель как бы связывает с ним *несбывшиеся надежды, несостоявшиеся в настоящем идеалы*, саму независимость как незавершенность окончательного разрыва с Прошлым, а отсюда — и неуверенность в Будущем. Как следствие этой «незавершенности» — несправедливость и в Настоящем. Поэтому так властно звучит в душе героя «вечный упрек» Отцу (оставившему в свое время Фес — символ прошлого — и выбравшему суетный Танжер как будущее), который всю жизнь так и не смог избавиться от «ностальгии по Фесу», но жил в Танжере, как «в ссылке»... Прошлое, тянувшееся в сознании и в привычках быта, в

³¹ См., например, в работе З. Фрейда «Опыт прикладного психоанализа» (с. 226–227), где, в частности, отмечено: «...Известно, что Бог замещает Отца, или точнее, гневающегося Отца, или, еще лучше, становится воплощением копии Отца, какой его воспринимают или ощущают в детстве, — как в детстве отдельного человека, так и всего рода человеческого в те далекие времена, когда жили наши предки, для которых их богом и был Отец первобытного племени. Позднее индивидуум будет смотреть на своего отца по-другому, воспринимать его в смягченном варианте. Но этот, самый первый образ его, детский, будет еще сохраняться в рудиментах изначальной традиции, представленной как воспоминание о первопорядке, постепенно превращающееся в индивидуально-личностное представление о Боге... Отношения человека с таким отцом... диктуются двумя противоположными мотивами: не только чувством нежного подчинения и покорности, но и враждебностью, и вызовом. Эта же двойственность... определяет и отношения человека со своими богами. Этим бесконечным конфликтом — с одной стороны, ностальгия по Отцу, а с другой — страх перед ним и сыновний ему вызов, — мы объясняем многие важные черты и различные этапы эволюции разных религий».

самой традиции жизни, словно бы сковывает Настоящее и мешает свершиться подлинному Времени Человека³².

Вот отчего образ Матери (женщины вообще, приобретшей с самого начала в творчестве Бенджеллуна символическое значение образа угнетенной страны) выступает и здесь первопричиной того сложного мироощущения героя, которое всё предстоящее в повествовании многообразие социальных образов как бы фокусирует в одном: *распавшаяся семья*, которую, как подгнившее дерево, уже не держит Земля... [с. 167].

Попытка восстановить целостность этой семьи, обрести прежнее «родство» (возвращение «блудного сына», где-то в неизвестности долгое время пропадавшего одного из членов семейного клана и его требование признать свою принадлежность «семье») оказывается несостоятельной. Ибо, как полагает рассказчик, «истинные корни» (те, что притягивают человека к своей земле, по которым проходит и его собственная — «обратная» — связь с ней, т.е. ее защита, преданность ей, умение «слышать ее, напоить») — давно были разрушены, как преданы и идеалы людей, надеявшихся жить на этой земле счастливо.

Отсюда и печальная констатация отца: «Эта семья разрознена, проклята, распылена» [с. 166]. И страстное желание сына «поскорей закрыть» эту «полную горя и ненависти страницу истории...» (Очевиден и здесь мучительный для самого автора намек о «распыленности» **семьи — страны**, для которой «блудные дети» — уехавшие на Запад по разным причинам люди, а их многие и многие тысячи — утрата обоюдная и чувствительная для «обеих сторон».) Сложная проекция образа Отца в повести воссоздает черты вполне характерного представителя своего поколения, помнившего еще отчаяние и стыд своих отцов и дедов, пе-

³² Тема «Отца» вновь в этом же ключе разрабатывается Т. Бенджеллуном и в отдельно изданной небольшой повести «День молчания в Танжере» (Jour du silence à Tanger. P., 1993), о которой речь шла выше.

реживших вторжение армии колонизаторов, испытывавших унижение бесправием, поколения, упорно хранившего в душе завет предков сопротивляться чужеземцам, молившегося об избавлении от ига «неверных», учившего наизусть «все сто четырнадцать сур Корана», дабы помогло Священное слово выстоять... Ведь не удавшаяся однажды — уже при его жизни — попытка осуществить заветную мечту предков о свободе (поражение Абдель Крима в Рифе), не воплотилась в реальность и сейчас, заставляла мучительно переживать несбывшуюся надежду и свято сберегать и хранить в «укромных уголках» предметы прошлого, напоминавшие о долге перед своей землей, о днях, когда была жива уверенность в победе... (Маленький фонтанчик, сооруженный отцом в память о том большом, который бил когда-то роскошной струей во дворе старого фесского дома, — конечно, не ностальгия по оставленному, но пусть малая, пусть иллюзорная, но возможность омовения в прежних мгновениях жизни, полной надежд на Будущее... [с. 158].) Вот отчего сын, сам ненавидевший «ностальгию по Фесу», опускал порой глаза, глядя на Отца, скрывал свои чувства, в которых смешались и нежность, и боль, и стыд, и гордость, и отчаяние, и отречение [с. 159].

Время борьбы, остановившееся на поколении Отца, потом только вспыхивало короткими сполохами в поколении сына. Годы учебы в лицее, а потом и в университете были отмечены дружбой с алжирцами, на чьей родине разгоралась война, — одна из последних войн с колониализмом. Участие в демонстрациях и митингах в поддержку Алжира, увлечение философией марксизма, трудами Франца Фанона не прошло даром: герой был арестован, интернирован в «дисциплинарный» лагерь, где работал на каменоломнях. (Это всё — факты и личной биографии писателя.) Два года заключения согреты были только письмами родных да воспоминанием о том, как собирала его в этот «путь» вся округа: соседи, знакомые, друзья, в знак солидарности с ним

приносившие ему на дорогу всё, чем были богаты, — кто вареное яйцо, кто банку консервов, кто горсть маслин, кто сухарей, а кто просто молитву да заклинание, чтоб вернулся целым и здоровым... И, может быть, нехитрые дары эти, как сама душевная щедрость людей, и пробудила в его душе потребность быть «полезным людям»; поначалу просто помогать писать письма родным и близким, а потом и самому «составлять» их, когда не знали люди, о чем писать... Тогда обретал он в своем заключении «дыхание свободы»: мысль устремлялась на встречу с незнакомыми ему людьми, он хотел говорить им слова утешения, нести добрую весть, рассказывать о любви, о верности, о душевных тревогах, о Жизни...

И, вернувшись домой, он уже не оставлял это захватившее его «ремесло». «Ты пишешь вместо того, чтобы жить» [с. 102], — упрекала его возлюбленная, потом покинувшая его. Хотя для него теперь понятия «писать» и «жить» слились воедино...

Отныне и спокойный Тетуан, где герой преподает философию в лицее, и Касабланка, встревоженная рабочими и студенческими волнениями, и охваченный пламенем войны Ближний Восток, куда отправился в свое «паломничество» герой, — всё становится не только оставленной в дневнике очередной «записью», но фактом личной жизни, собственной судьбы, воплощенной и в стихе, и в поэме, и в романе.

Кровная неразделенность переживания и переживаемого для героя повествования, как и для другого «писателя» — его двойника, автора «перекладывавшего» на бумагу историю его жизни³³, становится неразделенностью сути творчества и сути жизни. Смена мест, мелькание городов и стран, поэтическими зарисовками которых «пестрит» текст, — не просто жажда смены впечатлений, но потребность обрести то главное, во имя которого был сделан — бук-

³³ В этом образе — как бы смысл названия: «Ecrivain public» — «тот, кто составляет письмо за другого».

важно — когда-то первый самостоятельный шаг, и начато первое в жизни путешествие с отцом — к обретению Свободы.

И если собрать воедино, а точнее, нанизать на одну нить всю россыпь образов городов, возникающих в повествовании, то пронизывающей их всех основой и окажется пространство непрекращающегося поиска «вольного простора», духовной освобожденности, борьбы за Человека, «Каждый в недрах своего родного города найдет немного пепла. Фес забил мне легкие комьями иссохшей земли и серой пылью... Они осели во мне золой и тяжестью легли на мои крылья... Как любить этот город, который вдавливают в землю, слепит взор» [с. 41].

Оплот «незабываемых традиций», крепость «старого мира» Фес у Бенджеллуна — сплошная «глухая стена», на которой «засохшая кровь» и «содранная кожа» пытавшихся опрокинуть ее рук [с. 47]. И даже в мелькании бытовых сценок, рассыпанных в повествовании, — не столько свойственная Фесу специфика жизни (как это, например, изображено в книгах Ахмеда Сефриуи — певца Феса³⁴), сколько образы «отбросов», «нечистот» одряхлевшего мира (как в книге Д. Шрайби «Простое прошедшее»). Мира, в котором человеку «душно и муторно от жажды». «...Узкие тесные улочки, темные каменистые и щербатые, растрескавшиеся стены домов, черные дыры тупиков, заплесневелость, помои, слитые прямо у порога, очистки овощей, арбузные корки, кожура, рой мух, свивших гнездо в старой, выброшенной кем-то туфле...» «Уже утро, но Фес еще крепко спит... Все неподвижно... Мне не хватает моря... Мне не хватает простора...» [с. 41]³⁵.

³⁴ См.: Sefrioui A. La boîte à merveilles. P., 1954.

³⁵ Казалось бы, Бенджеллун дублирует «портретирование» городов, уже сделанное им в «Харруде». Но очевидно, что, хотя «перечень» их остается прежним, краски и фон не меняются, «контекст» и смысл каждого города-портрета, как уже в «Молитве об отсутствующем», — иной.

В Танжере, куда переехала семья и где прошли годы учебы, море было. Но город заливало еще и «море огней» — иллюминация витрин, баров, отелей. Там все было «интернациональным», а точнее, отдано богатым иностранцам — туристам, дельцам, банкирам спекулянтам, контрабандистам. «Вечный фейерверк» и витринная фальшь, бизнес, темные махинации, кишение разного рода бродяг и представителей «всех рас и народов», «искусственный огонь», полыхающий в его небе и чреве, иссушивший «живую душу» города, избородил «ранними морщинами» его лик. Освежающее дыхание моря доносилось в город только тогда, когда он очищался поздней ночью от мутного потока толпы, машин, от уличных торговцев, чистильщиков обуви — беспризорных мальчишек, работающих за окурки сигареты... И только во время перемен в школьном дворе можно было, прильнув к щели ворот, увидеть это море, упиваться издали его простором, чувствовать ритм его волн, наслаждаться сменой их цвета, ловить его шум, уноситься взором к манящему горизонту... Но даже созерцать море и волноваться его «тайной» было уже приобщением к свободе, «безмолвным мятежом души» [с. 54]. Море казалось избавлением от «ночи», от «вязкой духоты» Феса, и «опьянением души», и освобождением плоти: «Я был уже готов смело устремиться вперед» [с. 55].

А скалы побережья в Тетуане казались «крепостью»: его светлые, тихие, сонные провинциальные улочки не приносили покоя; горы, окружавшие город, представлялись «тисками», сжимавшими горло [с. 112]. «Скука, пустота, сумерки души... Бесконечность ночи, наполненной видением теней, которые кружил вихрь безумного ветра...» [с. 115]. Тусклость жизни, ее однообразная «неподвижность», сытое довольство окружающего, леность коллег, беспорывность существования — всё гнало молодого начинающего преподавателя философии прочь. И вот запись в дневнике героя: «11 сентября 1971 г. Я прибыл сегодня в Париж» [с. 122]. И

сразу же моментальный «снимок» города: «Что-то серое, но пронзаемое — время от времени — вспышкой какого-то небесного света» [с. 122]. Это было уже не первое посещение Франции. В последний раз — когда позвали туда студенческие баррикады мятежного мая 1968 г. Он тяжело переживал эту драму. И вот несколько лет спустя снова в Париже — «учиться жизни и писать». Город постепенно открывал не только свой надменный лик, свое «серое тело», но и угрожающую «серость неприветливых лиц», взглядов, словно «захлестнутых отчаянием». Это были лица соотечественников, о которых на родине ему было известно лишь то, что они «возвращаются домой на больших автомобилях» [с. 126]³⁶. А здесь — их униженность, бесправность, бессилие, «их гнев и их стыд» [с. 128]. Стыд невозможности крыть свою нищету, неграмотность, непохожесть на других. Гнев от невозможности изменить условия жизни, нечеловеческого существования.

Облегчить их участь, научить писать и читать, помочь отправить письма домой, рассказать о последних событиях в мире, поведать правду о своей стране — стало «обычной работой» молодого человека, пытавшегося пробудить их волю, избавить их от подавленности, вернуть человеческое достоинство, отогнать их вечный страх, порожденный сознанием себя как «нежелательных элементов» — людей, отторгнутых обществом...

Жившие под вечным страхом возбудить к себе ненависть окружающих просто так, без всякой причины, или быть объявленными вне закона, изгнанными с работы, выброшенными на улицу, эти люди постигали грамоту с трудом. Им мешала усталость, накопившееся отчаяние, охватившая безнадежность. «Учитель их видел недоверие к се-

³⁶ Факт вполне реальный: с трудом зарабатывая «на жизнь», североафриканские эмигранты, несмотря ни на что, отсылают какие-то деньги родным, оставшимся за морем, а если возвращаются на родину, то порой и «сухопутным» путем, а потом — на пароме, на приобретенных здесь давно подержанных автомобилях или на ими же починенных, брошенных на свалках, — это явление повсеместное на Западе в больших городах (С. П.).

бе: «Что мог им дать какой-то бывший студент, “мелкобуржуазный тип”, им, пролетариям, забытым своей страной, беспощадно эксплуатируемым здесь, где срывали на них свой гнев местные расисты?..» [с. 126]. «Я открывал их для себя во всей неприглядности их нищеты и понял, что единственным действенным средством им помочь было засвидетельствовать это состояние людей, отброшенных на край человеческого самоотречения... Заставить узнать о них всю правду тех, кто знать об этом не желал вовсе» [с. 126].

Эти «свидетельства» — в основе других книг писателя, здесь же, в «Писаре», воспоминание о них нужно герою и автору всё для той же цели — исследования «маршрута души», устремившейся к свободе, пытавшейся найти свой собственный путь к Правде. На этом пути, может быть, самым главным было не столько обострение оскорбленного национального чувства, сколько обретение чувства солидарности со всеми отстаивающими свои права. «Магрибинцы во Франции — это лишь часть проблемы страдания души на чужой земле. Ливан и Палестина, доносившиеся в Европу отзвуки бомбардировок мирных городов не только укрупняли тему судьбы иммигрантов-североафриканцев, но и наполняли конкретным смыслом возникший в повествовании “экзистенциальный мотив”: “Я не могу писать... Во Франции я чувствую себя всем ужасно чужим. И дело здесь не в состоянии моей души, но в ледяном равнодушии самой реальности”» [с. 122].

Уже сама тишина мирной жизни казалась «невероятным, немислимым» предательством тех, «кто страдал и умирал за свободу». Отсюда — хадж, паломничество героя в Медину, которое становится для него символическим «очищением» (символична белизна его одежд, белизна стен дома, где он остановился), «причащением» к Востоку, приобщением к земле предков, к их заветам справедливости.

И, наконец, Ливан, Бейрут 70-х гг., «омывающий» героя кровью своих ран, руин, пронзающий его болью новой трагедии народов: «Я больше не знал уже, где моя родина...» [с. 132]. С тех пор и на холмах родного Феса, и в сбегających к морю белой лестницей террасах Тетуана, и в густом переплетении танжерских улиц ему мерещился Бейрут, и в вышине минаретов, в голосах муэдзинов слышались призывы о помощи... [с. 134]. И «тьень» увиденного однажды в развалинах ливанской столицы человека, «чья кожа была сдернута, как платье», преследовала героя повсюду, где слышались взрывы смеха веселой уличной толпы...

Смещалась постепенно сама «ось» творчества «писца»: от «огорченности» молодого поэта, не понятого в Париже старым «мэтром» (в котором легко узнается Луи Арагон), остается, пожалуй, только подчеркнутая забота о чистоте и выстроенности, о гармоничности французской фразы, но сам «высокий образец» (поэзия Арагона) уже вытеснен образом вечного скитальца, героического палестинца Махмуда Дервиша и примером его стихов в которых слышится звучание «нового мира, где пылает огонь борьбы, звучит призыв к пробуждению народов Земли, к осознанию ими их «всеобщего кровного братства» [с. 133].

Но и позвавшие в Путь другие «просторы», «дыхание моря», потребность свободы и обретенное героем чувство солидарности с другими народами, умение слышать пульс их жизни, голос их боли, в конечном счете сливаются воедино во всё сильнее и сильнее звучащий для героя голос Родины.

Уже на горе во время своего хаджа, глядя на пламенеющий закат, он вдруг был охвачен донесшимся до него неведомо откуда «ароматом детства» — явственно представил себе лимонное деревце³⁷, росшее во дворе родного дома в

³⁷ Образ лимонного деревца, растущего в закрытом, «внутреннем» дворике дома (явление обычное в Марокко, как и в южной Испании), еще со времен повести Шрайби «Осел» (1956) стал в литературе магрибинцев символом надежды, «весны» неутолимого желания воли, света, расцвета всего того, к чему, наперекор «неволе» (окруженная глухими сте-

Фесе... [с. 149]. Этот зов и завершает маршрут героя возвращением в отчий край, во вновь ощущаемую «сонную неподвижность времени», которое, казалось, лишь вяло «коротает» день, чтобы «снова погрузиться в ночь» [с. 178]. Но именно это усталое, морщинистое лицо родной земли, *повергнутой в сон*, и тянет к себе, ждет, надеется вместе с героем увидеть заветный небесный Свет, манивший к себе всю жизнь. «Родная земля, даже если оставляет вас поминать весть где, на чужбине, не может прожить без вас, словно питается вашей плотью... Зов земли предписан в судьбе каждого человека. От него — не убежать...» [с. 47]. «Вернуться домой и умереть. А в сущности я только и делал, что возвращался домой, чтобы умереть. Мне повсюду, где бы я ни был, не хватало моей страны... И все время я ищу дорогу к своей земле, ищу выход из лабиринта, ищу дверь, которая откроется на светлый простор» [с. 186].

...Когда-то любимая девушка написала герою произведения слова, поразившие его: «Мне хотелось бы после смерти обратиться в море, синее-синее, которое разлилось бы в Сахаре, затопило пустыню, и чтоб люди пришли жить на его берега, жить и вдохнуть жизнь в это синее море» [с. 189].

Теперь, завершая повествование о жизни своего молодого героя, автор «заставляет» его вспомнить об этой мечте, когда-то доверенной ему. Она становится «внутренним» голосом, зовущим «освободиться от собственной тени», от сомнений, «перевернуть страницу» жизни, как тяжелый камень, обрести Истину. И, слыша теперь этот Голос повсюду, герой повсюду зрит и приметы своей земли, видит образы Родины там, где похоже сбегают к морю лестницей белые плоские крыши домов, где высятся холмы и горы, где сверкают на солнце волны песков...

нами каменистая площадка двора) «рвалось из земли растение, радовавшее человека маленькими, но душистыми плодами, словно вобравшими в себя весь «солнечный сок»... (Подр. см. нашу работу: «Д. Шрайби, или Новое время в литературе Марокко». М., 1986.)

Художественно завершенный прием «двойного отражения» (сначала мерещившиеся повсюду на родине образы поразившей воображение «чужбины», потом видения родной земли на «других берегах») создает своеобразный «параллелизм» воскрешаемых памятью ощущений человеком себя в мире. Своеобразный потому, что в конечном счете возникает не только «обратное подобие» развиваемой автором темы, но и взаимопроникновение «подобно» конструируемых образов. Боль родной земли позволяла лучше понять чужую боль, а чужбина усиливала чувство родины... «Страна — как память» [с. 195]. Она — повсюду с Человеком... Так и будет отныне герой носить в себе «свою страну», пока «будет дышать, жить, двигаться»: «Я дождусь, когда взойдет заря и вместе с ней покажется вновь лик возлюбленной, возвращающей меня к самому себе, в свой дом, где бы я ни был, где бы ни ступала нога, на каких бы раскаленных камнях она ни стояла... Оно везде передо мной, это лицо, не знающее отчаяния, верящее в жизнь, лицо Любимой, в чьих руках рождаются утренние звезды...» [с. 197].

Так снова разуплотняется, дематериализуется реальный образ, «отлетают» от окружающего мира приметы обозначенной ранее конкретной деятельности. И импрессионизация — как передача «Писарем» лишь совокупности впечатлений и настроений от встречи с миром — постепенно снова превращается в средство передачи чистого «пейзажа души», становясь способом воссоздания ее порыва к Высокому и Прекрасному...

Но сам этот древний символ (в арабской литературной традиции во многом мистического происхождения), вновь рожденный поэтом, очевидно, исполнен не божественного, но земного смысла. И в этом — особенность связи с той традиционной основой, которой питается поэтика Бенджеллуна, главные художественные образы его повести: Свет (как Свобода, Справедливость, Знание) и Возлюбленная (как любимая женщина, родная Земля, Отчина). Реаль-

ный смысл возникающих в конце повествования «отвлеченных образов» не только обозначен всем предшествующим контекстом и обусловлен им, но и сопряжен с особенностями импрессионистической техники, к которой прибегает Бенджеллун. Недаром так часто в повествовании возникает образ «зеркала». Явление его герою время от времени — не случайно: ведь суть «эффекта зеркала» в том, что чем больше (как это кажется) приближение к отражаемому на его поверхности образу, тем больше реальное удаление от него. Отсюда и стремление писателя не столько «обрисовать» окружающий мир и воссоздать всю полноту его реальности, сколько запечатлеть возникающие с ним «душевные» связи человека, выразить всё многообразие, всю совокупность чувств, порожденных этим миром. Поэтому «Писец» так часто обрушивает свой гнев на «старое зеркало»³⁸, обвиняя его в том, что вместо того, чтобы «показывать человеку его отражение», оно посылает ему «образ стыда», от которого пылает лицо, заливаясь красным цветом, а тело охватывает дрожь...» [7, с.109]. «перед мысленным взором моим всегда стоит старое зеркало, в котором уже ничего не различить, и сквозь которое прорисовываются Слова. Так и сам акт письма для меня — как шов, который прошивает насквозь прозрачность смысла» [с. 119].

Вот почему родная земля — Марокко, рисовавшаяся в сознании Невесты героя, его Вечной Возлюбленной (с которой ему так и не удалось соединиться), чем-то подобным метеору, летящему с неба навстречу бело-коричнево-золотой пустыне, оставила в книге писателя лишь отзвуки биения своего «пульса», своего «сердца», лишь легкие волны своего «дыхания», оттенки своих красок, контуры своих одежд».

³⁸ «Старое зеркало» — это, конечно, художественный метод «старого» реализма, нацеленного лишь на воспроизведение облика окружающего, а не на воссоздание его истинного образа в душе человека.

Но именно таковой и была художественная задача: показать, как любимый человеком с детства мир, со всеми своими красотами и изъянами, вошел в плоть и кровь человека, стал частью его души, нераздельным с ним целым.

Начиная свое повествование, автор обратился к письму Друга, доверившего ему историю своей жизни: «Обмакни свое перо в чернильницу души моей и пиши!» [с. 10]. Изначальный — сакральный — смысл этого «писания» — ясен (и «перо писца», и «чернильница» — суть образы мусульманской традиции, где Откровение было явлено именно в слове Книги — Священном Писании). Но столь же очевиден и земной замысел произведения: «преломить» образ мира через душу поэта, скромно именующего себя в повествовании «Писарь». Ведь даже «просто записать» поведанное, как это делает обычно сидящий у входа в старую часть арабского города человек с пером в руке, «составляющий» письма и деловые бумаги за не умеющих писать, не знающих грамоты людей, означало прежде всего — **з а п и с а т ь п р а в д у**, которую и домысел, и даже вымысел исказить не могут. Так происходит и с замыслом произведения Бенджеллуна, пытающегося воссоздать правду жизни — прожитой, прочувствованной человеком, постигавшим смысл своего существования. Хотя сама по себе такая задача, как полагает «Писарь», под силу только тому, кто хочет «бросить вызов смерти», сам стать Словом, погрузиться в бесконечность Времени, развеяться в нем, подобно «горсти пепла, россыпи образов, брошенных с вершины скалы» [с. 104].

Абстрагируя конкретное, наполняя его символическим звучанием и конкретизируя, приближая к реальности символическое, помещая его в пределах исторического пространства и времени, писатель создал произведение, чтение которого, действительно, при желании можно, как и полагал он сам, «начать с любой главы» [с. 12]. Но не потому, что это — не связанные между собой фрагменты, а потому,

что каждый из них — свой завершённый образ и смысл, свой целостный этап Маршрута. И все вместе они — как постепенно разворачивающееся перед взором читателя большое полотно, где и первые, и последние «начертанные» слова, «прошивающие», как иглой, смысл реальности, «рождены из раны души» [с. 108], сказаны в защиту тех, кто страдает [с. 11], брошены в лицо тем, кто «предает справедливость» и «сеет тревогу и страх» [с. 108]. Слова, начертанные пером, питавшимся соком «корней», уходящих в глубь самой земли, омытой морем, залитой немеркнущим Светом «льющейся с небес зари Надежды» [с. 170].

...Рассуждая над предложением «Друга» записать историю его жизни и выбирая название для этой своей книги, автор остановил свой выбор на простых «Историях», предпочитая это название другому, показавшемуся ему «вычурным» и чем-то «японским»: «Весенний шепот лимонного дерева, росшего во дворе»...

Если бы читатель был вправе выбирать сам, то я бы выбрала именно это, — в нем «сразу все»: и художественный метод, и художественный образ, во имя которого трудилось перо Писца, и интонация текста, и его тональность, и оттенки, и краски палитры всего его художественного пространства. И его Время.

Так и само произведение, вобравшее в себя всё, что создано ранее, что будет рождено потом, а может быть, даже и то, что уже никогда не удастся создать. И хотя роман «Писарь» выпущен в свет ранее «Святой ночи», он как бы подытожил опыт и собственной жизни автора, и поиски манеры своего творчества.

...Когда-то, написав главу о творчестве Тахара Бенджеллуна в свою книгу о магрибинских франкоязычных писателях 60–70-х годов, я назвала ее «Верность грядущим веснам». В 80-е и 90-е гг. — это очевидно — писатель продолжал хранить эту верность. Первые, «покрытые инеем» «ростки надежды», пробившиеся в его ранних произведе-

ниях, не погибли под натиском бурь в нелегкой судьбе и самой страны, и ее литературы.

Главным было не утратить своей веры. В творчестве Бенджеллуна действительно возрождался и одновременно рассеивался миф о народе, «тесно связанном с солнцем». «Спаянным с ним кровными узами». «За эту любовь, за этот союз народу приходится, — как писал М. Хайреддин, — жестоко расплачиваться с прожорливыми хищниками»... «И если книги Поэта, — отмечал Хайреддин далее, — полны символов, — в них — не только разоблачение. В каждом стихе Бенджеллуна, в каждой фразе его — освежающий ветер, в дыхании которого — надежда на Возрождение» [«Jeune Afrique», № 617, с. 46]. Это уловили и поняли его соотечественники. Поверим им.

Глава III

ВСПОЛОХИ СОВРЕМЕННОСТИ

Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неустомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни... Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды...

А. П. Чехов

Но вот и конец XX века и начало XXI, и кажется даже, что в Марокко происходят радикальные социальные изменения, и страна, воплощенная когда-то писателем в образе женщины с «призрачным существованием», чьи попытки «взятия слова» и даже выхода из тюрьмы «оков прошлого» обречены на неудачу, просыпается навстречу Прогрессу, и женщины сами берутся за перо, рассказывают свои невыдуманные «истории жизни», учатся, работают, обретают вполне «западный облик», бесстрашно выходят на дорогу современности, становясь и архитекторами, и дизайнерами, и дикторами. Появляется со временем даже целый «отряд» чисто женской марокканской (да и тунисской) литературы, их новеллы и даже романы, публикуются во всех издательствах крупных городов Марокко, они не скрывают ни своих имен, «ни лика», и даже порой вступают в творческое со-

ревнование с такими мастерами в литературе Марокко, как Д. Шрайби и Т. Бенджеллун, повествуют о судьбе женщины-мусульманки с неменьшей силой художественной выразительности, создавая и образ «новой» марокканки, и тех поколений женщин, которые все еще либо истово привержены традиции «старой» жизни, либо стали жертвами ее¹.

Я написала подробно и с «иллюстрациями» (т.е. знакомя и с текстами, и переводами фрагментов из них) о творчестве магрибинов в целом, в том числе и марокканок в 1900–2000-е годы², но женское перо и мужская кисть — художников слова — все-таки оставались и остаются во многом различными в магрибинской франкоязычной литературе, и возможно писатели-мужчины видят в женских судьбах и нечто и «свое», связанное с личной жизнью, но — особо — именно то, что для них является не только «маркером» каких-то перемен в социальной реальности страны, но и свидетельствами причин и ее все еще очевидной «отсталости», тормозом в самой динамике свершения ее исторической судьбы, и даже цепями, скрепляющими ее все еще продолжающуюся зависимость и от Запада, и от более «могущественных» стран Востока...

Так, казалось бы два почти «параллельных» рассказа — самого Т. Бенджеллуна и его современницы, о судьбах двух женщин-марокканок, одной — из новеллы писателя «Безумная любовь»³, другой — из книги Хурийи Бусседжры «Незаконченные женщины» (2000) — разнятся между собой. Разрыв во времени публикаций этих новелл — всего 5 лет, но образ реального Времени родной страны, уходящий корнями в «седую старину», где женщину и покупали, и продавали, держали в гаремах, в оковах несвободы — у Бенджеллуна «озвучен» в судьбе именно уже как бы абсо-

¹ См., напр., книги Хурийи Бусседжры «Сокрытое тело», «Незаконченные женщины» и др. [Boussedjra H. Le corps dérobé (1998), Les femmes inachevées (2000)].

² См. нашу работу «Магрибинки рассказывают...» (2020), где особо отмечено творчество марокканки Ямины Шами.

³ Ben Jelloun. «L'amour fou», in: «Le premier amour est toujours le dernier». P., 1995.

лютно «новой» женщины — певицы, из интеллигентной семьи, путешествующей, умеющей распоряжаться своим «графиком жизни», гастролей и пр., а у Х. Бусседжры — в исповеди простой служанки, из далекой деревни, «заброшенной» в город на заработки и претерпевшей все возможные унижения в доме своих разных «господ». Но и та, и другая женщина так ли иначе оказались в «современном рабстве» где-то «в Аравии», проданными и преданными «новыми хозяевами» своей страны, одна — в гарем «какого-то шейха», захотевшего каждый день наслаждаться ее пением, а другая — в бордель той же «Аравии», для оказания услуг, «особо востребованных». Судьба и одной и другой, естественно обобщены и запечатлены воображением художников, хотя и основаны на подлинных и многочисленных фактах современности страны, где «людским товаром» торгуют не только на центральных площадях старинных марокканских городов, особо посещаемых «разного рода туристами», но в избранных «салонах», где богатые и «сильные мира сего» услаждают свои слух и вкус... Однако, в новелле писателя искусно и даже в особо присущем писателю «поэтическом ключе». «Безумная любовь» становится обличением именно новой «современности» родной страны, а в новелле Хурийи Бусседжры — только подтверждением извечно длящейся зависимости «обычных» женщин, извечной обреченности мусульманки, возвращающейся «на круги своя», даже после нелегкой попытки избавиться (пусть и «обманным путем из тюрьмы зависимости...»⁴

И то, и другое для литературной эволюции в Марокко — важно, но для характеристики творчества именно Т. Бенджеллуна является показательным в смысле константности воссоздания образа женщины своей страны, у которой «отнят голос», а если он и «прорывается» на встречу к Свету, то окутывается снова и снова плотным саваном «Мрака», который разорвать могут лишь «вещие го-

⁴ Подр. см. в кн. «Магрибинки рассказывают...», с. 247–275.

лоса» безумцев, бесстрашно идущих только к Рассвету... Это — не пессимизм, но скорее бесконечные «раны» жизни, долго заживающие «шрамы памяти», боль сердца и души, беспредельно любящих свою «солнечную страну»...

В отмеченном выше романе «Это ослепляющее отсутствие света»⁵ писатель как бы транспонирует в минорную тональность константное звучание мотива Света и в его творчестве, и многих других магрибинских писателей, взывающих к нему как Истине, как Абсолюту, почти сакрализующих звучание солярных мотивов и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, хранящих и некий экзистенциальный смысл этого могущественного Светила как *сущностного атрибута самой магрибинской земли*, определяющего бытие человека на ней. Наполняя образ Солнца **разными** смыслами и значениями, порой полностью десакрализуя его и делая знаком царящей в стране Власти или засилья догм старых традиций, «иссушающих», испепеляющих, обрекающих народ и страну на «вечную жажду» Свободы (М. Хайреддин, Р. Буджедра, А. Серхан), писатели Магриба постепенно вводили в художественное пространство и образ «угасающего», «умирающего», «зарезанного» Света как символ опустившихся над страной Сумерек жизни (З. Морси, А. Лааби, А. Серхан)⁶. И появившийся в 2001 году роман Тахара Бенджеллуна «Это ослепляющее отсутствие Света» (или «Ослепляющий Мрак») был по-своему закономерен в этой своеобразной эволюции «солнечного мотива», превращавший изначальный образ в его противоположность, антипод, жизнь не рождающий, но убивающий.

Основанный на реальных фактах и событиях, засвидетельствованных в дневнике бывшего политзаключенного на каторге в Южном Марокко, в раскаленной пустыне, а в

⁵ Ben Jelloun T. Cette aveuglante abscence de la lumière. P., 2001.

⁶ Подр. см. в гл. «Эклиптика солярных мотивов» в нашей кн. «От Сахары до Сены». М., 2001.

романе — рассказанных им писателю, сюжет Бенджуллуна превращает реальность тюрьмы в развернутую метафору жизни страны, повергнутой в нищету и бесправие произволом чиновников. Живущий в темноте подземелья, прикованный цепями к стене, проведенный полтора десятка лет в нечеловеческих условиях герой романа (как и его реальный прототип), несправедливо обвиненный в заговоре против короля офицер, страдал не столько от вони, крыс, нечистот, разлагавшихся рядом трупов «сокамерников», сколько от *полного отсутствия Света*. **«Молчание Света»** было самой невыносимой пыткой для каторжанина, более тяжелой, чем его физические и душевные муки. Но эти жестокие страдания человека, типизированные под пером писателя как страдания самой страны и ее народа, превращаются художником в **нестерпимую жажду Света** людей, обреченных Мраку. И не столь важно даже то, что герой романа жаждет увидеть этот Свет в Мекке, прикоснувшись к «Черному камню», очистить свою душу и тело в святой молитве у Каабы, избавиться от Ночи Жизни на Священной для мусульманина земле. Важно, что человек пытается *выбраться* из мрачного застенка и сам, в полной безнадежности этого дела, но с упорством почти фанатическим *роет «туннель»* — «руками, ногтями, зубами» в безумном желании «увидеть хоть на минутку, на одну долгую и бесконечную, как вечность, минуту, л у ч с в е т а , или искру его». «Лишь бы был этот Свет со мной, жил бы в моей груди и питал бы холодный мрак нескончаемой моей ночи там, в этой могиле, в мокрой глубине земли, пахнувшей мертвечиной, как человек, из которого выпотрошено все человеческое, убито все живое ударами лопаты, содравшей с него кожу, лишившей его зрения, голоса, рассудка»...

Возможно, что если бы дневник каторжанина был опубликован, язык фактов был бы страшнее и обличительнее. Но язык художественного произведения, его особая композиция (не столько хронологическая, сколько «пространст-

венная»), особый ракурс объемного видения жизни страны через призму страданий одного человека, наделяют роман Тахара Бенджеллуна особой силой, которая и есть тайна Искусства⁷.

Можно было бы завершить повествование об образах современности Марокко этим произведением Т. Бенджеллуна, написанным в начале XXI столетия, поскольку тема «жажды Света» как некоей оказывающейся «беспросветной цели» остается по-прежнему актуальна. Но ведь Бенджеллун подарил читателю еще один роман с «императивным» и многозначным сегодня повсюду названием «Уехать!» («Partir!», 2006), где рассказал и о другой «жажде» людей своей страны — невероятной тяге их «бросить всё и бежать», «отправиться за море», лишь бы покинуть ставший ненавистным этот африканский край, такой далекий от «настоящей жизни» и такой близкий «другим берегам». И хотя писатель сужает жгучую для Марокко проблему **исхода** его населения, новой и мощной эмигрантской волны в Европу марокканцев до неких утопических планов, зреющих в головах людей почти авантюрных, близких кругам богемным, сомнительным, «вечно шатающимся по побережью и ожидающим чего-то» в портовых кофейнях Танжера, готовых предпринять что угодно, лишь бы выпутаться из долгов, найти «любую работу», но только на Западе, — на самом деле затрагивает сокровенные мысли *любого* бездомного, бесприютного, безработного, ожидающего во многих портовых городах любой возможности «уехать», убыть куда-то, лишь бы избавиться от «окружающей пустоты» жизни. Как Малика, одна из героинь романа, хотя и нашедшая на заводе работу, но мечтающая о том, чтобы поскорее «переехать через море». «Зачем?»,

⁷ Почти одновременно были опубликованы и документальные свидетельства об этой каторге одной из ее пленниц — дочери мятежного генерала Уфкира — Малике Уфкир, после расстрела отца за попытку военного переворота, просидевшую с семьей 18 лет в мрачном подземелье. Отрывки из его повести «Посторонняя» см.: Прожогина С. В. *Время не жить и время не умирать*.

— спросил ее Азель, герой романа, сам уже готовый «уехать» (его позвал за собой приятель-художник, обещая «золотые горы»). «Да так, чтобы просто уехать». — «Но “уехать” — это же не профессия». — «Вот уеду, тогда и будет профессия». — «А куда?» — «Да куда-нибудь, хоть туда», — показала Малика на противоположный берег моря. — «В Испанию?» — «Ну да. Хоть в Испанию, хоть во Францию. Я уже давно живу там. В мечтах и снах...» — «Ну и как ты там себя чувствуешь?» — «По-разному. Смотря *какая ночь*».

Они оба оказались там, на другом берегу. Его убили, безжалостно и беспощадно, отомстив за то, что не захотел жить по законам *другого* мира, где царило *другое* зло и было не меньше насилия. А Малика попадет поначалу в притон, с трудом выберется из *другого* рабства и будет снова грезить — уже о своей далекой и жаркой родине, — ведь **«Чужбина — это территория, покрытая льдом»**.

Живущему, как и многие магрибинцы — писатели старшего поколения, в эмиграции, Т. Бенджеллуну это очевидно, как было очевидно и М. Хаддаду, и Д. Шрайби, и М. Дибу, и Р. Буджедре, и А. Мемми, и Р. Мимуни, и Р. Беламри, и Т. Бекри и многим другим магрибинцам. Но жизнь складывалась так, что именно Чужбина становилась пространством судьбы многих из них. Возможно потому так настойчиво, так нежно и так рьяно именно они, *живущие* вдалеке от Отчизны, возвращаются к ней — как «родной» теме своего творчества, как источнику их Света, как Земле, давшей им Жизнь и продолжающей питать их Надежду⁸.

⁸ И старший из них — Дрис Шрайби в своем блистательном «полицейском» цикле, открывшемся еще в 80-е гг. романом «Расследование в деревне» (на русском языке вышедший в 1989 г. под названием «Расследование на месте») и продолженным в «Инспекторе Али», неслучайно главным героем делает не столько своего излюбленного чиновника, ищущего «места под солнцем», сколько самих жителей горной деревушки, несгибаемое свободолюбивое племя «сыновей воды и солнца», предпочитающих уйти в «небытие», в «поднебесье», в «бесконечность земли и неба», растворяясь в ней на вершине Горы, но не

Возможно, мое «приглашение» к пристальному прочтению вместе с Читателем творчества марокканца Тахара Бенджеллуна XX–XXI вв. было бы и не столь важным, сколько просто «общая характеристика» всего периода работы художника над воплощением задуманной им большой картины образа родной страны, сохраненной памятью и ребенком, и юноши, и взглядом уже вполне повзрослевших героев Т. Бенджеллуна.

Однако мне важно отметить именно то, что явилось не плодом субъективного восприятия жизни самим поэтом и писателем, но было подтверждено творчеством и его современников, и последователей. И марокканская поэзия (см. книги А. Лааби, З. Морси, к примеру), и проза Д. Шрайби, М. Хайреддина, и А. Катиби, и особенно — уже в 80–90-е годы — А. Серхана, прямого последователя Т. Бенджеллуна (романы «Мессауда», «Солнце сумерек», «Дети с тесных улиц», «Траур собак»⁹ и мн.др., как и марокканская новеллистика (преимущественно женская уже) в 90-х годов, подтверждают, продолжают, развивают те основные мотивы творчества писателя, которые и смело, и горько, и с надеждой, а порой и с отчаянием рассказывал Правду о том, что такое Марокко без «туристической» орнаменталистики и, конечно, без той особой пристрастности к этому краю Северной Африки, которая характеризовала французскую колониальную литературу¹⁰.

Сам Бенджеллун решительно не отказывался и в 90-е, и в 2000-е годы от своих лейтмотивов, ставших фундаментом, да и славой его творчества (ведь именно на исходе 80-х он получил одну из самых престижных мировых литературных премий, благодаря которой пришла мировая известность и позволила значительно расширить круг своих читателей и быть переведенным на многие языки мира, не

сдаться властям, живущих среди них только «разбойников» и «террористов» (Chraïbi D. L'inspecteur Ali. P., 2004).

⁹ О ней см. подр. «Марокканский ноктюрн» и мн. др. работы.

¹⁰ Подр. см. об этом в нашей работе «Время не жить и время не умирать». М., 2021.

говоря уже и о все растущих тиражах его изданий на французском и по сей день). Один из этих лейтмотивов — проблема эмиграции соотечественников, их жизнь на чужбине, увиденная и самим писателем, который уже долго жил и работал во Франции (вспомним отмеченные выше исследование «Самое глубокое одиночество» и повесть «Одинокое заключение», написанные еще в 70-е годы).

Не отрываясь, однако, от «родных корней», часто посещая Марокко, писатель со временем смог расширить диапазон звучания этого лейтмотива, который по-своему варьировался в его дальнейшем творчестве уже в зависимости от тех «вызовов», которые бросала современность, подбрасывая, словно в костер, новые темы и новые образы быстро меняющегося мира.

В романе, созданном в начале 90-х годов «Опустив глаза»¹¹ героиня уже не столь трагично смотрит на свою судьбу, и разные «берега» ее жизни — родное Марокко и ставшая второй родиной Франция — по-своему *открыты* для нее. Они не «молчат», не обрекают, а напротив, даже исполнены особой призывности для нее. Она не встретила и холод чужбины, не испытала ни страх, ни отчаяние, так же как и перестала мечтать и вспоминать о своей жизни на родине.

Однако, героиня остается безымянной. Однажды, правда, ей пригрезилось, что возлюбленный называет ее Радийей — «лучезарной», но это скорее метафора, а не имя собственное¹². Можно предположить, что для писателя важна некая обобщающая смысловая функция этого персонажа — знака определенной человеческой судьбы — человека не «потерявшегося». Она особо не ощущает чуждости «разных берегов», что «блуждает» между них, а порой сразу живет на обоих, не бросая якорь ни на одном из них... В

¹¹ Bendjelloun T. Les yeux baissés. P., 1991.

¹² Однако, используемое, к примеру, и алжирцем М. Дибом в его романе «Бег по дикому берегу» (1964).

русле ее жизни как бы навечно запечатлевается проблема уже очевидной североафриканской диаспоры, противоборство «своего» и «чужого» и особая «раздвоенность» души, до конца не принимающей идею выбора «пристанища» (ведь «родной берег» — так близко...). Для нового произведения Бенджеллуна примечательно именно это свойство: в образе новой героини, хотя и размещающемся в круге константных для художника мотивов, запечатлеваются и черты нового человека, уже претерпевшего определенную психологическую эволюцию в жизни «на чужбине».

Если раньше герой-эмигрант Бенджеллуна однозначно был обречен на невозможность «укоренения» и «одионое заключение», то героиня романа «Опустив глаза» посвоему даже «срастается» с новым берегом своей жизни, хотя порой мучительно и почти физически ощущает свои «корни»¹³, оставшиеся в родной земле.

В этих «корнях» не только реальность воспоминаний о нищем детстве в глухой берберской деревне на юге Марокко, но и волшебство *тайны* своего чудесного рождения на этой земле, *собственной предназначенности для этой земли*. Старинная легенда ее племени гласила о том, что однажды родится девочка с особым сиянием глаз. (В корне имени Радийа — радужность, излучение света.) Отметина на ее ладони укажет «точный план», где в горах спрятано сокровище. И это сокровище должно спасти людей племени от нищеты и страданий, избавить их от зла, «долго царившего на их иссохшей земле»... И хотя в предании указывалось место, где зарыто сокровище («под четвертой оливой к востоку от могилы святого» — покровителя пле-

¹³ Мотив «корней», засыхающих без них «куста», «деревя», вырванных из родной почвы, характерен для всех магрибинских произведений об эмиграции, начиная с Д. Шрайби («Козлы», 1956), как и мотив необходимости даже сохранения «горсти родной земли» (М. Хаддад), включая молодых писателей — «бёров», «франко-арабов», активно использующих этот мотив в конце XX в.

мени¹⁴), никто не нарушал завета предков. Все ждали, когда родится именно та девочка, сияние глаз которой озарит путь во мраке ночи и позволит точно найти место, где «под грудой камней на красной земле — самой субстанции жизни» (с. 10) и будет обнаружен спасительный клад...

Последней хранительницей завета предков посвященной в тайну племени, была бабушка героини. Но она открывает внучке смысл ее предназначенности только на пороге своей смерти, встречи с «вечной ночью», обретения «долгожданного покоя». Бабушка знала, что смерть — это «прерывание света» (*l'interruption de la lumière*) и она наступает, когда меркнет свет в глазах человека. Найдя необходимый для жизни людей своего племени свет в глазах внучки, бабушка словно переливает и свой свет, свое знание в душу девочки. А «свет» бабушки был особый — она умела различать, «что такое зло, что должно быть чуждо человеку, о чем должна сожалеть его душа» (с. 11). Но участь ее, ее собственная судьбы были ограничены пределами молчания¹⁵. Не в силах ничего изменить она наблюдала, как люди «упорно взращивали собственное несчастье, сеяли ложь и предательство», помогали земле постепенно «поглощать» их, «рыли собственными руками себе могилы». Бабушка терпеливо ждала возвращения к этой земле той, у которой есть ключ от «сокровища», завещанного предками для спасения земли и ее людей...

Бабушка словно копила, наращивала свет своего знания, ждала тот миг, когда другая, умножив этот свет на *свой*, т.е. нового знания жизни, спасет их землю от медленного уми-

¹⁴ В странах Магриба, в Марокко особенно, среди берберов наряду с ортодоксальным исламом сохраняются еще и древние верования, в том числе и марабутизм — поклонение местным «святым», отшельникам, мусульманским монахам.

¹⁵ Для писателя мотив «молчания» несет особую символическую нагрузку: называя одну из своих первых поэм «Люди под саваном молчания», он как бы уравнивал удел векового бесправия своего народа со смертью, особо подчеркивая участь женщины-марокканки, страдающей от «двойного гнета» (социума и религии). Поэтому не случайна в его творчестве именно роль женских персонажей, «берущих слово», освобождающих себя и свой народ, выступающих «проводниками» в «другую жизнь», хранящих историческую память, несущих свет истины и вершащих праведный суд.

рания. «Ты увидишь, — когда-то говорил ее дед, — как свет, вначале занявшись в твоих глазах, постепенно озарит ручьи и горы. Каждая ночь оставит в твоих глазах частицу грез, и они, соединившись, свяжут воедино жизнь и прошлую и будущую, и тогда утренний свет прояснит смысл тайны». У этой «тайны» был особый «алфавит»: «Есть сокровища, скрытые в море на островах. Наше — зарыто в горах. Мы — дети земли, где нет моря, и мы не знаем, что такое остров. Мы должны знать свою землю, научиться читать ее, как книгу». Дед признавался, что не до конца прочел эту «книгу», но одно он твердо знал: клад, хранящийся в «субстанции самой земли, где жив двух прародителей», не должен быть потревожен «чужой рукой». И если рука чужестранца коснется его, земля загорится» (с. 9–11).

Именно девочке бабушка должна была передать «эстафету». И тогда эта девочка, когда вырастет, поможет «пересечь последний рубеж», прорвать «паучью сеть з л а», «выпустить на свет Божий» чудо спасения людей своего племени (с. 10).

...Все это героиня осознает, вернувшись на родину. Двадцать лет она провела во Франции, куда ее ребенком увезли родители. Они бежали от нищеты, спасаясь от правящей в деревне смерти — голода, болезней, мрака невежества...

«Время траура» — так героиня называла годы, проведенные в детстве на родной земле. Поначалу отец уехал на заработки, оставив семью на попечение сестры. Но не только унижения и побои, недоедание и холод, чувство «брошенности», забытости и сиротства вспоминает героиня. Она помнит, что мечтала научиться грамоте: письма, которые присылал отец, в деревне мог с трудом прочитать только лавочник, а в школу при мечети разрешалось ходить только мальчикам. Однажды, когда заболел младший брат, девочка, одевшись как он, пришла в школу, решив обмануть слепого шейха. Но тот, словно учуяв «осквернение»

святого места, жестоко избил ее и выгнал. Казалось, что обидам не будет конца. Никто не мог защитить, накормить досыта, обуть и отогреть зимой. Ненавистная бездетная тетка заставляла девочку за кусок хлеба пасти скот.

Неприветливое, «источающее мрак души» лицо тетки, ее горящие злобой глаза, вечная месть за свое одиночество, способность «колдовать» и навлекать беду на других казались девочке воплощением зла, тяготевшего, «как проклятие», над их деревней. Там давно высохли колодцы, не шли благодатные дожди, растрескалась земля под нещадно палившим летом солнцем и холодным ветром зимой. В деревне жили только старики, женщины без мужей да один за другим умиравшие дети. Умер и младший брат, отравленный, как казалось девочке, теткой...

Круг несчастья смыкался. Можно было лишь смотреть на горизонт, забравшись на дерево, и ждать появления отца, способного защитить, избавить от горя, а может, увести с собой далеко за море...

Недетская тоска человека, познавшего «лицо зла», увидевшего близко смерть, создававшего «жестокость мира», заставляла девочку неистово молить небо о возвращении отца. Чтобы он приехал вызволить их из «места, созданного на земле по ошибке...» (с. 20).

И хотя в глубине сердца жила нежность к родным холмам и деревьям, людям, с которыми встречалась она на пыльной дороге на пастбище, и жалость к тем, кого всю жизнь учили только терпению, заставлявшему жить «опустив глаза», девочка все чаще смотрела на горизонт, протягивая к нему руки, «пытаясь коснуться его» (с. 13). Она жила надеждой сменить землю (с. 51), уйти по дороге в чужую сторону, потому что на своей, казалось, не избывает зло.

Таким образом, писатель, оставаясь и в этом произведении верным точности психологического анализа (ведь его профессия по образованию — социопсихолог), запечатле-

вает необычную стадию процесса «откоренения» (*déracinement*), начавшегося на родной земле (обычно ощущаемого героями книг магрибинских писателей в *exil*, на чужбине). Впоследствии его героиня объяснит свое неистовое желание уехать «за горизонт», «подальше от родных корней» так: **для того чтобы «полюбить их еще сильнее»** (с. 52). Но в детстве ей казалось, что спастись, спрятаться от «черного крыла птицы ночи» (с. 22), нависавшего над маленькой жизнью, можно, лишь *покинув* этот печальный край.

Для матери, жившей в постоянном страхе за детей и мужа, которого, ей казалось, всегда подстерегал на чужбине «несчастный случай» (с. 21), эмиграция представлялась продолжением несправедливости (*l'injustice*, с. 45); она знала из рассказов, как мужчины плачут там слезами бессилия. Ютась в тесных каморках, живя в бесправии и нищете, усталые и одинокие, они полны горькими воспоминаниями о тех, кого оставили на родной стороне (с. 48)¹⁶. И хотя мать говорила, что отца там окружают плотным кольцом «глухие стены» — завода, города, эмигрантской зоны, — их троих связывала ниточка надежды на встречу, на «просвет» в жестокой судьбе. Девочка молила небо, чтобы «не погасли звезды, не погасло солнце, не затянулся туманом или гарью горизонт, не заросла бы дорога», по которой должен вернуться отец.

...Опоздав на похороны сына, отец по приезде в деревню отправился на его могилу и вскоре сообщил всем, что забирает семью с собой. «Итак, мы больше не останемся здесь одни. Мы — и я и мама — тоже будем эмигрантами, уедем во Францию, переделаем нашу жизнь, и отец будет нас защищать...» (с. 53).

Тетка Фатима кричала вслед уезжавшим: «Опасайтесь! Вспомните слова предков: “Тот, кто покинет землю свою,

¹⁶ У алжирца М. Ферауна в романе «Земля и кровь» (1953) это ярко запечатлено, как и Д. Шрайби и др.

станет человеком потерянным. Тот, кто вырвет корни свои из истоков своих, обрушит проклятия неба на свою голову!» (с. 58)¹⁷.

Тягостное молчание царило, когда семья прощалась с деревней. Но выбора не было. **Время смерти (*l'âge du deuil*) надо было менять на время жизни.**

...Позднее стало известно, что злая тетка сошла с ума, стала жить на кладбище, прослыла колдуньей. Если кто-то обвинял ее в шарлатанстве, она отчаянно защищалась, и ее уста исторгали жестокие, но странно похожие на горькую правду слова: «Я слеплена из камня и глины... Меня не назовешь ни доброй, ни послушной. Да разве жизнь располагает к добру? Каждая морщина на моем лице — бороздка от крови тех, кто прошел по этой земле... Я не чудовище, я — зеркало, ваше зеркало, в которое всем вам не хочется смотреться... Я отражаю ваши страх и неуверенность в себе... И если я уродлива, значит, недалеко ушла от ваших помыслов. Потому что они нечисты. О бесполезные люди! Что сделали вы со своей жизнью? Разве я могу чем-то помочь теперь? Я не верю в добро. Только зло помогает мне выжить и вытерпеть вас... Я так устала нести на лице своем ваше уродство. Идите работать или ворочать камни, если вам нечего делать. Но вы предпочитаете просить милостыню и заставляете попрошайничать ваших детей у чужестранцев... Да, я — ошибка природы. Я не должна была появляться на свет, уж лучше бы мне остаться на дне бездны... Душа моя полна мрака. Но разве можно заточить ее в тюрьму, найти на нее управу в полиции, наслать на нее проклятие религией? Разве можно одолеть мрак души, которая никогда ничего не знала, кроме черных и сырых стен

¹⁷ Видимо, у всех народов есть общность в оценке подобных явлений: русский православный И. А. Бунин, размышляя о тех, «кто покинул страну свою ради страха смерти», использует это изречение из Корана как эпиграф к стихотворению «За измену», где писал:

Их господь истребил за измену несчастной отчизне...
Воскресил их пророк: он просил им у Господа жизни.
Но позора Земли никогда не прощает Земля...

нашей вечной темницы? Меня ничто не может испугать. Я уже прожила свою жизнь в одиночном заключении, среди пустыни, презрения и тоски... (с. 62–67).

Вещуны, пророчицы, юродивые, нередко, как показано выше, и в произведениях Т. Бенджеллуна изрекают слова обличения, пытаются усювестить власть имущих или заставить «прозреть народ». Смело разоблачающие социальный и политический порядок в Марокко (и «подменяющие» в этом случае автора: «Что взять с безумцев?»), обычно — носители доброго, преобразующего мир начала. Фатима в романе «Опустив глаза», воплощая в себе жизнь *несостоявшуюся*, стала знаком беды, от которой бежали люди. «Привязанная к трагедии сказочной, наделенная чертами злой колдуньи, Фатима, воплощая образ реального времени, не только стала как бы сгустком уродств действительности, подталкивающей людей к исходу с родной земли, но и вобрала в себя тревогу о судьбе земли, *остающейся без людей*.

Это показано в романе и через образ природного «распада», расторжения всех «уз» в недрах земли — землетрясения (реально случившегося в Агадире летом 1966 г., запечатленного позднее, в 1967 г., в романе М. Хайреддина «Agadir») как метафоры «вырывания корней» из земли, отторжения от нее людей, родившихся на ней (с. 61). В отличие от М. Хайреддина, создавшего сугубо политизированный символ катаклизма как предупреждения монархии, эта метафора Т. Бенджеллуна была шире, запечатлевая образ Времени перемен¹⁸.

Возможно, это было самое трудное для марокканской земли время — не прошло и десяти лет после получения страной независимости. Страна постепенно станет лечить раны и будет ждать как благодати не только дождей и обновления всего, но и возвращения своих «детей», чтобы

¹⁸ См. подр. наше исследование «Катаклизм как условие общественной трансформации в творчестве писателей Магриба» в «Генем Востока», сост. А. Петров. М., 2004.

они помогли ей подняться из руин. Но пока, как об этом свидетельствует роман Т. Бенджеллуна, люди бежали прочь (*je sentais que c'était une fuite*, с. 70), на «огонек цивилизации» («Там хоть и тяжело работать, но все-таки можно жить!» — говорил отец). «Цивилизация! Это слово и сегодня звучит для меня, как волшебное, способное открыть для тебя все двери, раздвинуть горизонты, преобразовать жизнь и дать ей возможность стать лучше. Но как войти в эти двери?..» (с. 55).

...В Париж прибыли на рассвете. Было холодно и пасмурно; улицы, дома, тротуары, вся земля вокруг, люди и их одежды — все показалось «серым» (с. 69), угрюмым и неприветливым. Однако надо привыкать к цвету «чужой страны, которая должна стать новой родиной», — рассудила десятилетняя девочка, не умевшая ни писать, ни читать. По ночам ей снилось солнце, его «ослепительный свет», и еще что ноги, «словно пригвожденные» к **той** земле, не хотят двигаться, идти дальше и что бесполезно кричать — «солнце поглощало крик, едва вырвавшийся из груди» (с. 70–71).

Но память о жизни, «поглощенной» солнцем, постепенно стиралась, надо было начинать жить рядом с другими деревьями, домами, «в другом языке»: «Я была просто атакована новыми предметами, новым миром и хотела все понять. Мне казалось, что я как глухонемая, а все ко мне в этом чужом городе повернуты спиной и никто не хочет остановиться, посмотреть на меня, поговорить со мной» (с. 71). Девочка думала, что из-за смуглой кожи она в окружающей мгле невидима, слилась с этим сумрачным пространством, с темными стволами деревьев и что ее могут принимать за одно из них... И если бы здесь было побольше *настоящих* птиц («голуби, какие же это птицы?»), размышляла она, то ее из-за худобы, наверное, могли принять и за чучело... И она прощала людей, не обращавших на нее внимания. Зато ей не мешали сидеть на лавочке и считать

проносившиеся мимо автомобили, слушать музыку их гудков, сирен скорой помощи, вдыхать странный и одновременно волнующий запах города...

Отец с утра и до вечера пропадал на работе, мать пыталась устроить новый быт, почти не выходила из дома, не общалась с соседками и постоянно молила Бога, чтобы «уберег мужа и дочь от дурного глаза, несчастного случая гнева своего». Она, как всегда, жила, исполняя свой долг: «принимать все как есть и плакать, сколько душе угодно» (с. 74). Мать осталась душой там, где была могила сына. Она как бы разделилась на две половины, одна из которых жила на том берегу моря, а другая здесь, как «автомат», что-то постоянно мыла, чистила, стирала, шила, гладила, готовила и училась сводить концы с концами. А еще мать пела нескончаемую песню: «Сердце мое кровоточит, // Ранил его твой прощальный взгляд, // Земля ненасытная отняла тебя, // И я рыдаю на камне, // Между дюной и солнцем. // О, видят глаза мои только мрак колодца...» (с. 75).

Предоставленная себе девочка жалела мать, ставшую похожей «на призрак, в котором поселилась «невозможность забвения». Она мысленно просила у матери прощения за то, что потихоньку отдаляется от нее. Девочка приручала к себе окружающий мир, а себя к нему, постигала новые звуки, приспособлялась к н о в о м у времени. «Я должна выучить французский, и я выучу его, и стану врачом или архитектором, и верну маме радость» (с. 75). Девочку «сжигала страсть» все понять, узнать и выучить — «счет, алфавит, город, машины». Здесь не было животных, не было полей и гор, здесь «все куда-то бежали», но надо было жить *далее*, а поэтому постигать новый мир. «А может быть, я научу их видеть, как танцуют цветы, когда дует ветерок. Как они танцуют! Такие нежные и беззащитные. Я никогда не срывала бы их и не делала букеты...» (с. 76).

...В 11 лет девочка пошла в школу. Она удивилась, что детей не бьют и что у учителей нет палок, как у старого

шейха в родной деревне. За месяц она научилась считать и писать. «Меня одолевал голод познания» (с. 78). Она спала, положив под подушку словарь в картинках, и за год прошла программу двух классов. Летом, когда все школьники уехали, девочка бродила по городу, открывая для себя красоту нового пространства — большой реки, мостов, дворцов, храмов. Ее волновали неведомые ранее цвета — северного неба, воды. Ее поражал мир, где не стирают в реке, где дети не пасут на берегу скот и не бегают босиком, где женщины не стесняются выходить на улицу с открытым лицом... Правда, девочке по-прежнему казалось, что и «река, и город хранят какую-то тайну» (с. 83), но она уже привыкла к лабиринту улиц, шуму, толпе людей. Появилось даже ощущение, что «ноги прирастают к этой земле, пускают здесь корни» (*j'ai l'impression d'être enracinée*, с. 81).

Девочка не уставала открывать для себя новый мир, «двигаться дальше», «благодарить» страну, когда-то разлучившую ее с отцом, но теперь даровавшую ей новые горизонты...

Деревня, образы детства постепенно вытеснялись из памяти новыми образами и ощущениями — постепенно совершилось «новое рождение» человека в другой стране, которое помогло забыть о «медленной смерти» на родине. Девушку даже смущало, что ее друг — португалец (так же как и она, из семьи эмигрантов) поклоняется дереву в Люксембургском саду, напоминавшему ему о родном Лиссабоне. Он называл это дерево «деревом надежды» и мечтал о встрече с родиной... (с. 90).

Ощущение «оторванности», или погружение в забвение своей деревни, было резко прервано отцом. Он напомнил дочери о «долге мусульманки», запретил встречи с юношей-христианином и заставил в с п о м н и т ь, что «Франция — не наша страна. Мы здесь, чтобы заработать на ж и з н ь, а не отдавать ей дочерей» (с. 92). Героине показалось, что родителям «стыдно» и теперь они смотрят на

нее, как бы «опустив глаза». Оказалось, что дочь не просто выросла, но переросла родителей. Она преодолела тяжесть якоря, державшего их на «иссушенной» земле, где женским уделом были лишь смирение, покорность, м о л ч а н и е . Отдав девочку в «христианскую школу», отец совершил своего рода «революционный поступок». Он не спал несколько ночей, решаясь на этот отчаянный шаг. И теперь дочь почти что слышала голос сомнений, терзавших отца. Его страх и душевные страдания как бы предупреждали ее: «Знай, что здесь даже взрослые могут потеряться. Знай, помни: наши религия и мораль отличны от той, что исповедуют твои одноклассники. Мы не будем здесь жить, мы здесь навсегда — чужестранцы» (с. 95).

Однако смятение родителей не испугало девушку. За несколько лет она вполне освоилась с новым миром, и он пока не пугал ее. Наоборот, она почувствовала «ненависть к прошлому и всему тому, что связывало с деревней, этим истоком нашей отсталости. Наша земля не сумела уберечь и удержать нас, и это означает, что когда-то посеяны были на ней зерна раздора, зерна разлада (*la discorde*), зерна нашей нищеты» (с. 96).

В отличие от своих предков, «не знавших моря» и всегда видевших пустыню и скалистые горы, девушка мечтала только о море, его вольном и свежем дыхании. Она хотела утолить в его безграничном просторе свою жажду жизни, остудить ярость, свой протест против деревни, где у людей были «стертые лица, опустошенный взор, где небо, казалось, раздавливало землю...». Море становилось наваждением, кружившим голову, как «вихрь света и воды» (с. 97), «неистовавшим» в ней.

Отец исполнил желание дочери, но ее постигло разочарование: море оказалось не голубым, синим или даже пепельно-черным, но серым (с. 99). Оно как бы было безразличным, отсутствующим, «откатившимся далеко-далеко»; вокруг было много песка и так мало моря. «Может быть,

небо, бездонное небо выпило его?» Своеобразное «наложение» серого цвета (как при первом столкновении с чужим городом) и схожесть ощущения «исчезновения» пространства окружавшего мира (небо, «раздавлившее» землю на родной стороне, и небо, «выпившее» море здесь) как бы неожиданно дали почувствовать героине, что она прощается с мечтой «встретить остров сокровищ», войти в свой «тайный сад», стать «пленницей света», окунуться в бездонную «грезу», обрести полную свободу, познать «прекрасную безмятежность». Ту, которая, наверное, отражалась в глазах прапрадеда, завещавшего свое «сокровище», надеявшегося на то, что именно оно спасет землю, возродит ее и людей, живущих на ней... (с. 98).

А еще девушка вдруг ощутила, что с мечтой о море была подспудно связана народившаяся в ней глухая тоска по тишине, способной избавить от уже тяготившего голоса окружавшего пространства: «Море было для меня садом, где однажды мне случится остаться одной, вдали от шума». Она по-прежнему любила город, где жила, но смотрела на него теперь уже по-другому. Ее больше не раздражал свет, который застыл в глазах ее соседей-эмигрантов, свет, который словно шел «откуда-то из глубины веков». В этом свете, казалось, жила «верность родному дереву, чьи могучие корни и здесь давали людям силу выжить, перенести ссылку...» (с. 100–101).

То, что однажды девушка увидела, и то, что стало обычным для соотечественников-эмигрантов, заставило ее как бы очнуться от «очарованности» Западом. Это случилось во время полицейской облавы — «охоты на арабов», «на крыс» (*une ratonnade*, как говорили «национал-патриоты» из партии Ле Пэна). Девушку пронзили слова старика соседа, из рук которого во время обыска жандарм вырвал Коран: «Святотатство! Они ненавидят нашу религию, они ведут себя так, как раньше поступали с нами в колониальном Алжире! Что мы, эмигранты, сделали им? Разве мы виноваты

ты, что живем на чужой земле? Справедливость! Где она?» (с. 101–102). Опынение открытием нового мира сразу прошло, она увидела *другие его грани*.

В школе девочка по-прежнему училась лучше всех, но почему-то от ее понимания ускользала необходимость *согласования времен* во французской грамматике... Она «путала» разные формы прошедшего — в чужом языке их было много¹⁹, в ее родном, берберском, как и в ее жизни, — одна: «Мое прошедшее было простым, понятным. В нем все однообразно повторялось, в нем не было ничего неожиданного». Она не задумывалась раньше над теми «сложными узлами», которые сплетали цепь «всех времен». Ясным стало одно: *разделенность времен* своего настоящего и того прошедшего, в котором словно пребывали все еще и отец и мать, оставшиеся навсегда во «времени своей деревни» (с. 104).

«Простота», однозначность своего «прошедшего»²⁰, из которого так просто, казалось, «выйти», и незавершенность прошлого, продолжающегося в жизни родителей, и реальность настоящего, в котором «безупречно спрягались глаголы “быть” и “иметь”, но которое не могло не заставить думать о будущем, и сопоставлять былое с реальным, все как бы по-иному начинало складываться в ту самую «цепь времен», завязанную сложными узлами. «Собственное время» постепенно, казалось, распадалось на части: девочка начинала чувствовать себя не «где-то посередине» (*du milieu*) обеих его «половинок», но «сразу в двух его составляющих», ощущая, однако, каждую из них отдельно (с. 128). Ночами ей снился умерший брат, она стала уступчивее и начала понимать родителей, соблюдавших мусуль-

¹⁹ Passé composé; Passé simple; Imparfait; Plus que parfait; Passé antérieur; Passé immédiat.

²⁰ На обыгрывании этой французской формы прошедшего (*le passé simple*) построено содержание знаменитого романа марокканского писателя Дриса Шрайби («Le passé simple. P., 1954), герой которого решительно порывает со своим прошлым, отвергая патриархальное устройство традиционного общества, и смело выходит на дорогу, ведущую в «новое время». Он уезжает искать справедливость и свободу на Запад (об этом подробнее см.: Прожогина С. В. Дрис Шрайби, или Новое время в литературе Марокко. М., 1986).

манский пост и отмечавших все берберские и арабские праздники... Одновременно ее окружал собственный мир, книги, друзья, огни города, привычные серые стены и даже понравившийся запах снега — все, из чего так нелегко вылепился образ новой родины... (с. 109). Она словно дополняла «список» времен во французской грамматике неким «*passé dans le présent*»...

Девочка понимала, что у людей должен быть спрятан в сердце «какой-то кусочек, какой-то уголок их родной страны, оставшейся далеко-далеко». И когда она пыталась забыть деревню, родители «восстанавливали» прошлое по частицам, связывая их ниточкой в своей душе. Некоторые из соотечественников продолжали здесь жить так, как будто они и не покидали родные края, хотя, «куда бы они ни шли, всюду была чужая страна, напоминающая только о себе» (с. 109).

Но пожалуй окончательно отрезвил героиню выстрел террориста 27 октября 1971 г. (факт реальный), убивший пятнадцатилетнего алжирца. «Траур тогда соблюдали все североафриканские эмигранты... В тот день я словно вступила в другое время, в другой возраст. Как будто сразу постарела на несколько лет. Я перестала быть маленькой девочкой, жаждавшей чуда. Смерть поразила меня в самое сердце... В тот роковой день жизнь приобрела горький вкус, и я поняла точный смысл слова “расизм”» (с. 111).

Люди говорили, что юношу убили только за то, что «он был мусульманином и алжирцем, а с Алжиром, дескать, еще не все французы рассчитались» (с. 111–113). В Париже разгоралась (и по сей день не везде угасающая) «ненависть к чужому», обосновавшемуся на французской земле, превратившему предместья столицы в подобие своих деревень... Многим североафриканцам из-за страха быть «случайно» убитыми пришлось тогда уехать в провинцию. Переехали в другой город и родители девушки. Она стала вести дневник, записывая в него имена тех, кого продолжа-

ли убивать: «Бессмысленные смерти. Напрасные жертвы, позорящее эту страну...» «Ни за что убитые. Разве только для того, чтобы показать всему миру уродливые черты этого общества...» «Так же, наверное, расправлялись немцы с евреями и цыганами... Бабушка сказала бы, что мир “вывернул себя наизнанку”...» (с. 117–119).

Начался «бунт души». И прежде всего против родителей за то, что «они терпели все это». За то, что жили, «опустив глаза», погрузившись в «свое время», храня обычаи и привычки *той* жизни. Но одновременно героиня чувствовала перемены и в себе: все чаще всплывали старые воспоминания (она, девочка, с неприязнью смотрит тогда на спящую тетку, но только сейчас понимает, что при этом не «опускает» в смущении глаза и испытывает не стыд, а *страх*). Этот страх, полагала она, был причиной того оцепенения, в котором продолжали жить ее соотечественники, родные ей люди, ее «деревня». И этот страх, преодоленный ею, продолжал отталкивать ее от них и поныне, выталкивал из времени, в которое мечтал вернуться отец, решивший вместе с детьми (их теперь было много — родились братья²¹) отправиться за море, в отпуск...

...Вернувшись в Марокко почти уже взрослой, девушка смотрела на знакомые места «глазами чужестранки». В отличие от отца и матери она не проронила ни слова радости, не пролила ни слезинки и «впервые поняла, что такое безразличие» (с. 131). И если поначалу она чувствовала жалость при виде нищей своей родины, то потом в ее душе воцарились «бездна и пустота» (*le néant*), и даже на миг возникло отвращение: грязь, бездорожье, голод, лохмотья детей — все, как и прежде... Казалось, все застыло и «приросло к камням, как старики у дороги». «Может быть, — думала она, — это время их раздавило, прибило к земле?..

²¹ Это поколение североафриканцев, родившихся во Франции, французы назовут на верлане «бёрами», будут считать «франко-арабами», хотя и гражданами («по праву почвы») своей страны, но второсортными. О них подр. в нашей работе «Восток на Западе». М., 2003.

Они все как будто чего-то ждут, замкнутые кольцом гор на этой земле, где жизнь будто исчезла вовсе...» (с. 132).

Так характерный для творчества Т. Бенджеллуна мотив «забвения» (*l'oubli*) (начиная с «Харруды» (1973), развиваемый им из книги в книгу), погружения человека (народа, нации в целом) в «небытие», «недеяние», мотив, связанный с темой «неподвижности», застоя (общества, страны), в романе «Опустив глава» дополняется мотивом «созерцательности», «очарованности» мифами: «Эти скалы, воплощавшие забвение, стоявшие как вкопанные, в вечном ожидании чего-то, завораживали их... Люди ждали, когда они оживут, заговорят, восстанут, наконец, когда полетят их булыжники, камни, колючие кустарники, объятые яростью, безудержной жадой мести. Ждали, когда пробудятся горы, терпеливо стерегущие их день и ночь...» (с. 135).

Но это ожидание только истощало людей, обрекало их на неподвижность и еще больше повергало их в разорение и нищету. Вокруг царил «упадок». Лишь девочка Сафия все еще мечтала, так же как героиня в детстве, выбраться «из этого ада» (с. 137) и стыдливо «опускала глаза»²²...

Глаза героини романа увидели другой мир, другую жизнь, в них запечатлелись (*imprimés*) другие лица и другие образы. Ее взгляд сделался сначала «безжалостным и беспощадным, а потом уставшим». «Мне скучно и одиноко», — скажет она (с. 133). И тоже начнет ж д а т ь . Однако верит, что вернется туда, где открылся ей *свет нового знания*, с особой яркостью высветивший *причины мрака и упадка родной деревни*.

...Девушке предстояла еще одна встреча — с бабушкой, которая ведала «тайну». И она обладала другим, *сокровенным* знанием, хранила его особый, *внутренний свет*, кото-

²² После попытки военного переворота, совершенного против власти Хасана II в начале 70-х годов, в стране ужесточились репрессии, и время было нелегкое все 80-е и 90-е годы...

рый должен был осветить и пробудить уснувшую душу девушки и напомнить о ее п р е д н а з н а ч е н и и .

У бабушки сохранилась прекрасная память. Она терпеливо все эти годы ждала внучку и теперь учила ее: «Ты выросла, изменилась. Но ты осталась той, кто ты есть, — дитя своих родителей и своей земли. Ты можешь говорить и думать на чужом языке, жить в чужих странах, но место твоего рождения, дом, где ты родилась и росла, люди, которые любили тебя, руки, которые приняли тебя в этот мир, приложили к материнской груди, ветер, который приносил тебе прохладу в летний зной, дерево, укрывавшее себя своей тенью, — все они, где бы ты ни была, не забыли тебя и не забудут никогда. Это есть твоя страна, ее лицо. От этого избавиться нельзя, даже если ты будешь много учиться. Твои корни — всегда здесь, и они ждут тебя, и они-то и будут твоими свидетелями в Судный день...²³ Берегись видимостей, не доверяй бликам на воде — все они исчезнут, а останется в уголке сердца только земля, где ты родилась. Все мы — в руках Бога и все возвратимся к нему, в него. Так вот, земля твоя — это тоже Бог, и мы принадлежим ей, вышли из нее, ее холмов, ее гор, и в нее войдем, вернемся к ней. Ступай, дочь моя, живи, учись, читай, считай, познавай море, движение звезд на небе, иди по дороге знания, хоть и пролегает она на чужой стороне, но не забывай никогда, откуда ты родом, и не хули никогда место, где ты родилась... Напрасно ты будешь стремиться уехать отсюда подальше, уйти на другой край света, пытаться сдвинуть что-то здесь, приукрасить, сделать милосерднее... Мы — такие, какие есть. Ты первая женщина в нашем племени, ходившая в школу, и не важно, что она — христианская. Но знай, что и мы не пустые: в нас живет то, чему не научат тебя ни в какой школе. Мы учились у самой природы. И

²³ Согласно Корану, отсутствие «верного друга» (а в романной метафоре «корни» выражен именно этот смысл верности, надежности) в Судный день является страшным наказанием и признаком греховности человека (см.: Коран.69, 33–37) (Пер. М.-Н.О. Османова).

наша память, как и наше тело, пронизана солнцем, пронизана дождем. И наше знание завещано нам предками». И предупредив девушку о предназначенной ей предками миссии, бабушка сказала на прощание: «Опасайся тех, кто захочет прочесть линии твоей руки...» (с. 138–139).

Опустив глаза, внучка с почтением выслушала эти слова. У нее не было ни сил, ни желания задерживаться здесь, ни удержать этот «забытый Богом край» в своей душе. Если раньше она понимала желание родителей вернуться сюда, то сейчас чувствовала лишь одно — поскорее избавиться от опасности «медленной смерти», которая здесь, в деревне, казалось ей, продолжала настигать каждого, царила повсюду (с. 139)...

Однако теперь ею владело не то детское безоглядное стремление «бежать» отсюда: *знание*, приобретенное в другой стране, не могло не приглушить бурю протеста, неприятия «остановившейся» на родине жизни. Иллюзии, связанные с переменой мест, были давно разрушены. Но обострившееся именно здесь, в краю родном, *одиночество* толкало к поиску взаимопонимания, близкой души, которой не обрела она здесь и знала, что никогда не обретет: «Я возвращалась во Францию не для продолжения учебы, — потом вспомнит героиня, — но с надеждой научиться любить» (с. 144). Ей хотелось обрести, почувствовать и понять то, что она никогда не видела «среди своих», — здесь не обменивались нежными взглядами или поцелуями... Традиция запрещала ласку, проповедовала стыдливость, учила смирению и покорности. А девушка мечтала увидеть «свет в глазах возлюбленного» и ответить ему «светом своих глаз» (*lumière sur lumière*, с. 149).

Возникло желание описать то, что окружало ее, тех людей, которые понимали ее и которых понимала она. Парадокс был в том, что, вернувшись во Францию, девушка вдруг обнаружила, что смотрит теперь на всё «**другими**

глазами». Так знание, полученное в р о д н о й стране, осветило новым светом жизнь другую.

...Персонажи ее воображаемой книги предстали перед ней не просто «элементами», естественными частицами других пространства и времени, живущими в «периметре границ города», но пленниками, «потерявшимися в его тумане» (с. 236).

В эмигрантских кварталах, как оказалось, жили не просто хорошо знакомые, понятные и близкие люди, но ж е р т в ы города и цивилизации, обречших их на «медленную смерть». «Глухие» стены и «глухой взгляд» окружающего ч у ж о г о , так и не ставшего р о д н ы м мира, как оказалось, заместили с т а р ы й горизонт, прежние камни и скалы (с. 155).

Юная Рабийя (называвшая себя Ребеккой), потихоньку спивавшаяся, и Ясин (ставший здесь Жаком), мечтавший об Америке, и Рашид (теперь Ришар), мечтавший уехать за океан, и Мох, пять раз в день совершающий молитвы, обратившись лицом в сторону Мекки, и мечтатель-бродяжка Виктор, и красавица Малика, ставшая почти бесплотной, — все они раньше вызывали дружеские чувства, а теперь вдруг показались жалкими и хилыми ростками, с трудом пробившимися между бетонных плит города и обреченными на смерть в его мрачном лабиринте... (с. 159).

И все чаще снилась по ночам родная деревня, хотелось писать о ее «призрачном» существовании, о ее «неподвижности» в том месте земли, где поселилась смерть (*un mourir*. «Умиральня»²⁴ с. 183). Но именно туда, где все вокруг «плавилось» под «свинцовым солнцем» (с. 168) и где все вечно ждали чуда, все чаще уносились ее думы. И все больше вникала она в смысл легенды, которую рассказал старейшина деревни. Эта легенда была о в о д е , которую у этой земли отняли, *повернув русло ручья в угодыя того, кто*

²⁴ Своеобразный неологизм, совмещающий в себе и основу глагола «mourir» — умирать, и созвучность с «migoir», зеркалом, как лишь отражением момента жизни...

колонизовал ее. О предательстве каида (вождя) племени, укравшего у своего народа воду. Много раз жители возвращали воду в свои края, и каждый раз это был «праздник сродни возвращению их чести и достоинства» (с. 177–178). Но с тех пор «утекло много воды», и земля снова жаждала ее...

Девушке приснилось, что она слышит какой-то женский голос, раздававшийся с минарета²⁵. Этот голос напоминал о том, что недаром женщины в этой стране закрывают лица покрывалом: «Это не только наша одежда, но и наш саван...» (с. 187).

У героини постепенно исчезало безразличие и появилось сострадание. Но главное, она начала понимать, почему люди радовались их возвращению, почему с такой надеждой смотрели на нее, названную предком «провидицей», спасительницей «сокровища, зарытого в горах», способного вернуть жизнь земле. Героиня, раньше относившаяся к этому преданию как к красивой сказке, теперь пыталась и разгадать смысл ожидания, и постигнуть глубину надежды.

Небо над родной деревней вспоминалось не как цвета «вечного терпения», а «разгоравшегося пожара» (с. 191) и казалось обещанием пробуждения земли.

Научившаяся постепенно — и здесь, на Западе, и там, на Востоке, — различать мир во всех его красках, героиня простила и отцу, что он не «покидал своего времени», а хранил его в сердце, «внутренней стране», и не расставался с надеждой.

Увидела она во сне и «всадника в белом плаще на светлой лошади» (в поэтике магрибинцев, а Т. Бенджеллуна особенно, — образ частый, манящий в светлую даль, зовущий к счастью). Раньше, в детстве, он часто гре-

²⁵ Этот образ уже возникал в романе Т. Бенджеллуна «Молитва об отсутствующем» (1981). Там женский голос призывал к «пробуждению», он звал народ воспрянуть, защитить свою честь, вспомнить о свободе, за которую боролись предки...

зился девочке, но теперь возвещал о том, что скоро «сокровище» будет найдено: «Близится день... Рука, достойная нас, укажет место... И хотя она пока не с нами, она спасет нашу честь и вернет нашу доблесть... Мы подождем и достойно встретим ту, которая избавит от проклятия...» (с. 194).

Как наваждение, все чаще звучали слова, которыми старейшина упрекнул отца. Эти горькие слова были о том, что люди, отправляясь в эмиграцию, бросают землю на произвол судьбы, а значит, обескровливают ее, обрекают на «разруху» и забвение (с. 197). Привиделась и старая тетка Фатима: она гневно увещевала ее «вернуться и дожидаться смерти там, где сейчас только пепел сожженной солнцем земли...» (с. 100)²⁶.

Освободиться от этой «фантазмагии» или поверить в «сказку»? Душа девушки блуждала между двумя мирами, слишком разными и непохожими, и в этой разности парадоксально смешивались реальность и фантазия, быль и легенда. Возможно, потому, что (так считали родители, друзья и даже преподаватель) в «сказке» была не только доля истины, но и правда жизни и надежды тех людей, которые считали себя «проклятием клейменными» и так истово верили в чудесное спасение.

Но героиня трезво оценивает ситуацию: «Я и не думала, что еще раз решусь на путешествие, возвращусь туда. В моем возрасте уже не верят в подобные сказки... Я часто говорила себе, что нищета сделала людей глухими и порождала их предрассудки. Они способны выдумать все что угодно, лишь бы приукрасить себе жизнь...» (с. 215).

Однако искушение и воссоздать жизнь сказки в сознании людей, обреченных на «медленную смерть», и связать *два пространства*, пусть разных, но где жили одни и те же

²⁶ Согласно Корану, «сокрушительная беда», «Судный день», отмщение настигают людей тогда, когда они «рассеяны, словно мотыльки» (101, 4). (Пер. М.-Н.О. Османова). Недаром в романе старики, верные земле, не покидают ее, не «рассеиваются по миру, а хранят единство, надеясь на «спасение»...

«персонажи», которые «обманулись в своих ожиданиях», заставляло задуматься над возможностью возвращения к родным истокам.

Блуждание души между двумя мирами утвердило девушку в мысли, что «надо писать, чтобы не сойти с ума». Но главное, она поняла, что надо обрести к о р н и , «зацепиться за них, чтобы понять причину долгого и томительного молчания жизни» (с. 232).

Здесь, на чужбине, это молчание прорывалось лишь жалобами и сетованиями людей, сменивших «одну нищету на другую». Там, на родной земле, — молитвами о дожде, которого, как помнила девушка, люди ждали все время (с. 245) Она и сейчас слышала эти молитвы и видела «красную землю», усыпанную камнями... В детстве она молилась ветру, чтобы дал ей крылья и унес прочь с этой земли. Теперь она молилась, прося ветер о возвращении...

...Все ту же безжалостную землю увидела она, все те же лица, все те же глаза с мольбой во взоре, все с той же надеждой смотревшие на гору, где было спрятано их «сокровище»... И снова слышала голос бабушки: «Я ждала тебя. Я знала, что ты вернешься. Ты родилась на этой земле, потому она — самая прекрасная земля на свете. Но красота ее — незаметная... Чудо ее — в обнаженности» (с. 254). С точки зрения бабушки, это свидетельство «открытости» земли надежде, ожиданию «нового своего рождения». И именно внучка теперь должна указать дорогу людям своего племени, идти с ними, как завещал предок, «два дня и две ночи» и отыскать то, что спасет землю. Напомнила бабушка и о «смирении», и о «покорности» традиции, о долге следования заветам предков...

Героиня заставляла себя относиться ко всему р а с с у д о ч н о (к этому приучил Запад), понимая, что бесполезно разубеждать людей, отнимать у них сказку. Она не хотела объяснять, что приехала сюда «как чужестранка», чтобы запечатлеть образы этого мира, сопоставить их с воспомин-

нениями детства, проверить ощущения, подумать о «параболе» предания, которое собиралась положить в основу книги...

Это никого не интересовало. Люди готовили ее к обряду посвящения и «проводницы»: заставили надеть белые одежды, покрасили ладони хной. А когда взошла полная луна, посадили на лошадь и отправились в горы искать сокровище.

У девушки возникло чувство, будто ее готовят к бракосочетанию и ей, как невесте, надо только «стыдливо опускать глаза» и молчать... Отличие от свадьбы было только в том, что в руках у ее спутников были заступы и лопаты. И «повенчанной с тайной» вдруг показалось, что «все это больше походит не на свадьбу, а на похороны...» (с. 268)²⁷.

Уступив желанию бабушки, решив оставить свое племя жить в пространстве сказки, девушка испытывала только стыд, видя иступленные лица людей, горевших желанием найти «сокровище».

...Когда-то знаменитый писатель, тоже живущий в «отдалении» от родной страны, советовал ей написать книгу и понять «право на мечту людей униженных и оскорбленных» (с. 278). Она последовала его совету, но теперь страдала, зная, что обманывает ожидания людей. Однако, романное пространство заполнялось сказочными видениями...

...Лошадь внезапно остановилась и не хотела двигаться дальше. Хна на татуированных ладонях превратилась в темные пятна, под которыми исчез рисунок «линий судьбы». Девушка попыталась сказать свою правду людям: «Сокровище надо заслужить. Вы десятилетиями, ничего не делая, ждали чуда. Ваша земля истощилась. Не трава покрывает ее, а камни. Видите, на моих ладонях линии жизни

²⁷ Позднее, в 1998 г., Мохаммед Диб, классик алжирской литературы, запечатлел нечто подобное, происходящее в глухой горной деревушке в 90-е годы XX в., в своем романе «Если захочет дьявол...» в эпизоде возвращения алжирского эмигранта в родные для его матери места (см. подр. нашу работу «Обречение Авеля». М., 2020).

больше ничего не означают». Она хотела вернуть соплеменников к реальности, заставить действовать, стараясь изменить свою землю, но им показалось, что «чужестранка» насмехается над ними. А может, даже хочет «продать план местонахождения сокровища христианам...». «Она изменила! — слышались голоса. — Женщина, покинувшая свою деревню, потеряна не только для нас, но и для себя. Даже если она вернулась, она не наша!» (с. 279–280). В нее полетели плевки и камни, брызги крови слетали с рук людей, потому что они неистово рыли землю там, где оставилась лошадь.

...Девушка проснулась на рассвете у подножия дерева. Одна. Возможно, это был только сон. Но окружившие ее дети сказали, что «все ушли, как только взошло солнце, и вернутся ночью, когда рыть легче...». Она уже не понимала, где сказка, а где реальность, и то ли ей во сне почудился голос, то ли она сама знала, что люди б у д у т рыть, пока не забьет вода. И если они приведут воду на свою землю, то и земля их с т а н е т садом (с. 284)²⁸. «Если понадобится, — продолжал голос, — они будут рыть до скончания времен. А потом будут защищать воду, чтобы никто не смог повернуть ее в другую сторону...» (с. 287).

Тот же голос звал ее пробудиться ото сна, внушал, что реальность страны — сильнее, «безумнее, непредвиденнее, чем все фантазии мира». Он говорил о правоте предков, предвидевших, что земля может погибнуть от засухи, исходящей не только с неба, но и из человеческих сердец. Легенда о «сокровище» была неосознанной мечтой людей о воде, а не о золоте и серебре — просто они не знали, что вода — бесценнее... И когда они начали освобождать землю от камней, то увидели, что она пропитана влагой. И отныне будут приходить в горы каждую ночь и копать, пока

²⁸ «Да будет вам известно, что Аллах оживляет землю после того, как она иссохла», — сказано в Коране (57, 17). (Пер. М.-Н.О. Османова). Повествование Бенджеллуна, по-своему интерпретируя священные слова, как бы наполняет их новым смыслом, показывая, что мечта (или «чудо») осуществляются в упорных деяниях человека.

не брызнет вода, холодная и чистая... «Теперь, — продолжал голос, — и я буду рыть вместе с ними. Но я не плод твоей фантазии, не твой персонаж. Я человек, который хочет стать *полезным* этим людям...» (с. 185).

Может, это был ее внутренний голос, голос совести, проснувшейся души, обретшей наконец свои «Корни»? Поэтическое призвание автора романа, его писательское воображение, зов легенды, печать действительности, слившись воедино, заставили героиню произведения взглянуть на все происходившее другими глазами, «примирить в душе непримиримое» (с. 286). Ей вдруг захотелось поиграть с детьми, «смешаться» с людьми, которые придут в горы... «Лишь бы нашли они воду, лишь бы нашли. Иначе они сойдут с ума, дойдут до Мараккеша или Агадира, разрушат и сметут все, что встанет на их пути... Лишь бы нашли они воду...» (с. 290).

Она, конечно, уедет обратно. Ее возлюбленный говорил, что сердцу человека надо, *чтобы знать, как жить*, «либо разбиться, либо забронзоветь» (*il faut que le cœur ou se brise ou sebronzе*, с. 295). Ее сердце, оттаяв, оледенело снова. Ее словно отторгала эта земля, не принимала, чувствовала чужой. «Эта страна была уже не моя. Родная сторона — это не только знакомые лица и лики ее, но и ноги, у которых должен быть якорь в этой земле. Но якоря-то и не ощущалось. Охватывала неуверенность: «Где она, моя родная земля?» (с. 293). Одно знала твердо — что уезжает изменившаяся. «Поиск своих корней — испытание трудное» (с. 291). Так что же? Искать дальше или «смириться и молчать»? Ждать, когда и в твоей судьбе свершится чудо обретения «воды», дающей новое рождение, новую жизнь?

Героиня романа не нашла еще место, где бы чувствовала себя «на своей земле». «Я думал, — писал ей возлюбленный, — что ты находишься между двумя мирами, между двумя культурами, но на самом деле ты не здесь и не там, но где-то в третьем месте (*troisième lieu*). И оно — ни

на твоей родной стороне, ни на той, которая стала тебе приемной матерью» (с. 296).

Изменив центральный образ своей поэтики («Женщины под саваном молчания») на женщину, прорывающуюся к Свету, идущую на встречу с истиной, правдой жизни, прокладывающую себе дорогу через пустыню или мрак леса (как в романах «Молитва об отсутствующем» или «Святая Ночь»), писатель в романе «Опустив глаза» создает героиню человеком сомневающимся, не способным сделать окончательный выбор. Однако персонаж не лишен убедительности, скорее, наоборот, он освобожден от чрезмерной символической нагрузки и приближен к «обычному» человеку. Возможно, долгая «дистанцированность», не эмиграция, как говорит «знаменитый писатель» из романа, а именно «дистанцированность» (с. 231) от родной страны (Бенджеллун сам давно обосновался во Франции, бывая наездами в родное Марокко) и длительное *enracinement* в другой не позволяют автору лепить «уверенный в себе» образ, выстраивать некую логическую завершенность его поведенческой модели. Скорее, писатель следует логике психологического состояния человека, который не способен сделать решительный выбор между двумя «берегами» а потому не может бросить якорь ни на одном из них. «Третье» место, где «точно» пребывает героиня, это *мир надежды*, безусловно равно нужной как на том, так и на другом берегу. И если на Западе надеждой героини было бесконечное расширение горизонтов знания, то на Востоке она мечтает о новом начале истории родины, ее пробуждении, новой жизни. Пока без нее. Недаром в эпилоге романа есть строки письма, полученные и из родных мест. Они словно озвучены в душе героини ударами заступов, разрушающих камни, добывающих воду, шумом воды, стекающей с гор, орошающей наконец поля; смехом девушек, в глазах которых видится ей отблеск зари, взошедшей над ее землей, кото-

рую «наконец напоили, вспахали счастливые руки...» (с. 297)...

Так земля утраченная и земля обретенная научили человека, сумевшего «поднять глаза», понимать главную земную ценность — способность людей, « тружеников земли» (с. 297) освободить ее от тяжелых оков, от бесплодных камней, напоить и беречь, п р е о б р а з о в ы в а я .

Можно бы заметить, что и в раннем своем творчестве («Харруда»), и более позднем («Песчаное дитя»), «Священная ночь», «Молитва об отсутствующем», «Писарь» и др.) писатель, переходя от поэзии взлета юношеского романтизма, тяготеет к более спокойному, почти эпическому «сказу», где совместились и реализм трезвых и тщательных наблюдений за окружающим миром, но одновременно и особое «поэтическое», даже мифо-поэтическое осмысление его в сохраняющейся еще архаике народных представлений («Опустив глаза»).

Героиня этого романа, несмотря на обретенную на Западе «рассудочность» нового знания, все равно будет помнить всегда ту «тайну», которая открылась ей в ее восхождении на гору, где забил «источник Надежды» на изменение жизни. Как и общающийся с деревом-вещуном, слышащий голос великанши — Харруды, не знающий что такое страх и власть денег, смело идущий по стране, мудрец и почти юродивый, Моха-безумец (из одноименного романа) идет на большую площадь, в большой город собирать мужчин, женщин и детей, чтобы там, где царят вечные раздоры, где люди разъединены, «сотрясти стены вызывающей наглости» тех, кто думает, «что имеет право унижать и угнетать народ»...

Город как символ власти богатства, как символ разделенности людей, как **однозначный** символ Зла, царящего в этом мире, в творчестве Т. Бенджеллуна уравновешен образами городов, каждый из которых по-своему дорог писателю и его герою в романе «Писарь». Эти города — воспо-

минания живущего вдали от родины героя — хранят свои легенды и тайны, свой аромат, связанный с детством, юностью, годами духовного созревания человека, бесконечно любящего свою «раненую землю». И каждому «родному» городу в романе — Фесу, Танжеру, Тетуану, Марракешу, как и городам странствий героя — Парижу, Бейруту, предоставлено свое слово в общем контексте путешествия по истории своей жизни, в которой отражена и современная история его страны и его народа и его вековые представления о добре и зле.

Сказочные сюжеты дилогии «Призрачное дитя» и «Священная ночь» были посвящены трагизму женского удела в мусульманском обществе вообще. Судьба героини проецируется на «бесконечность дороги» по «ледяному» пространству, по огромным городам, «населенным тенями», на *хаос* центральной площади Марракеша, где словно сконденсировалась вся жизнь страны, где власти многие годы пытаются «что-то прибрать, как-то санировать территорию», «почистить истории», которые на ней рассказываются уличными сказителями, но где пока *«все усилия бесполезны»*. И недаром в последней попытке преодолеть мрак судьбы героиня «Священной ночи» восходит на Гору, где льющийся с вышины **Свет** как бы освобождает ее и от проклятия удела терзаемого жизнью существа, и от холода и мрака окружающего мира, соединяя с **Истиной**, добытой на горестном и трудном маршруте жизни.

Такого рода склонность Бенджеллуна к «неотрадиционализму» заметна в выборе и в почти фольклорных центральных персонажей «Харруды», «Мохи-безумца...», и в композиции дилогии («Призрачное дитя» и «Священная ночь»), построенной на вариативности различных преданий и написанной в манере сказовой, притчевой даже. Особенно это заметно и в имплицитной основе «Молитвы об отсутствующем», и в «Писаре», похожих и на жанр средневековых арабских «путешествий», «хожений», и в сочетании

легенды и реальности в романе «Опустив глаза». Но «отголоски» связи с традиционными приемами и жанрами, реминисценции «прошлого» в абсолютно *современных* романах Бенджеллуна только подчеркивают их реальную **удаленность** от традиции и приближенность к проблемам окружающего мира. Такое контрастное сочетание формально «старых» элементов повествования с насыщенными дыханием современности характерно и для его романа «Ночь ошибки» (1997)²⁹, где представлены портреты трех городов Марокко — Танжера, Феса и Шауэна, в творчестве Бенджеллуна имеющих «опорное» значение. Героиня романа, мстя окружающему миру за «ошибку» своего рождения и вообще за «женскую долю» и судьбу в мире, где властвует мусульманская догма, ведет существование, полное несчастий и злоключений. И три города, встающие на ее пути, — как декорации огромного пространства — театра жизни, где *исчез свет* и торжествует *мрак*. На площадях этих городов словно на сцене один за другим сменяются уличные сказители, пытаясь каждый по-своему изложить перипетии судьбы героини, интерпретировать смысл основного рассказа — авторского — о ее жизни.

Героиня, взявшись за перо, попытается зафиксировать собственный голос в книге, в которой восстановит картину крушения надежд и желаний женщины в обществе, изуродованном ханжеской моралью. И каждый из городов, где прошла ее жизнь, становится живым персонажем, участником драмы, действие которой идет на протяжении почти сорока лет, совпадающих с историей страны в постколониальную эпоху. В романе именно эти, словно «забывшие идеалы борьбы» древние города Марокко, хранят в своем облике и «живое дыхание истории», но одновременно и не впускают в свои древние стены давно желанную, но так и не обретенную свободу, олицетворяют и само «несчастье»

²⁹Ben Jelloun T. La nuit de l'erreur. P., 1997.

этого мира, в котором «родиться женщиной все еще означало быть ошибкой Жизни»³⁰...

Но в творчестве Т. Бенджеллуна были и «прямо противоположные» персонажи героине романа «Ночь ошибки», и даже героине романа «Опустив глаза», не находящей своего «истинного места» и блуждавшей между двумя берегами жизни — дремучим Востоком и Западом. Хотя роман Тахара Бенджеллуна и назван «*Les raisins de la galère*»³¹, что буквально переводится «Виноград каторги», где слово «каторга» означает Жизнь на Западе, хотя и смягченную некоторыми плодами цивилизации. Но виноград, точнее, **гроздь** его (*les raisins*) — символ, особо важный в замысле произведения: у Бенджеллуна это не только возможность узреть что-то **хорошее** во всем **плохом**, но и сами «человеческие плоды» этой жизни, и плоды обильные, наполненные и жизненным соком, и силой, и надеждами, опьяняющими молодость, но и привкусом той горечи жизни, которую приходилось претерпевать. Поэтому, суммируя элементы образа, заложенные в названии, предлагаю перевод «Горький виноград» как итог самоощущения повзрослевшего поколения тех, кто уже вырос на Западе, как итог самообмана молодых людей, решивших отведать дарованные им судьбой и их страной (хотя и не Отчизной) плоды «райского сада» демократии и равных прав, но познавших часто лишь вкус лжи, и боли, и «катастрофы»³², трещинами расползающейся в душах иммигрантов.

³⁰ Интересующимся специальным исследованием «урбанистической» тематики в творчестве Т. Бенджеллуна (город как «текст» — сакральный и профанный, город как «текст» двязычный, город как место «инициации», как место «редупликации» личного опыта, как место «дезинтеграции» традиции, город как «женщина» и как «мать», как место «двусмысленного поведения» и т.д.) можно рекомендовать книгу: Kamal-Trense N. Tahar Ben Jelloun. L'écrivain des villes. P., 1998. О Городе как «литературном пространстве» в творчестве франкоязычных магрибинцев в целом см. мою работы «От Сахары до Сены». М., 2001, с. 240–352.

³¹ Bendjelloun T. *Les raisins de la galère*. P., 1996.

³² Имеется в виду роман писательницы бёрки Фарида Бельгуль «Жоржетт!» (Belgoul F. *Georgette!* P. 1986).

Перевод названия как «Горький виноград» позволяет сместить смысловой акцент на первое слово, что по-своему и сближает название со словами отца героини, советовавшего ей в «каторге» жизни уметь различать и светлые стороны, и находить «сладость самого бытия» человека на земле, и отмечает и ту часть бытия героини, когда вся ее семья и она сама претерпевали именно «каторгу» жизни. Ведь писатель показал скорее свои «гроздья гнева»: созревшие плоды скрещения двух цивилизаций — того поколения, в котором, возможно, и таится прообраз будущего населения Европы (Франции уж непременно), но которое в отличие от безымянной девочки из знаменитого романа Фарида Бельгуль, твердо знает **свое имя** и не ведает страха. Оно исполнено гнева и даже ненависти и, по словам героини Бенджеллуна, «никогда не заплачет, а скорее разможжит себе голову о стену» (с. 8) и будет добиваться своего места в жизни.

И не случайно, что тот маленький и слабый росток, едва проглянувший из-под земли и не внушивший никакой надежды автору «Жоржетт!», в романе Бенджеллуна спустя 10 лет ожил, окреп, наполнился силой и даже обрел звучное имя — Надийа, в котором арабским ухом различается что-то призывное и возвещающее одновременно. Надо, конечно, заметить, что, в отличие от Фарида Бельгуль, Тахар Бенджеллун не бёр, он просто давно живет на чужбине. Родился и вырос он в Марокко, но истории иммигрантов и выходцев из этого поколения «осевших» во Франции североафриканцев его волнуют постоянно, и не только как социопсихолога, автора эссе «Самое глубокое одиночество», но и как художника, создавшего пронзительные по силе свидетельства «нежизни» человека, трансплантированного в чужую землю (романы «Одинокое заключение» и частично «Опустив глаза»).

Поэтому автор «Горького винограда» может себе позволить некоторое «ostranenie», некую толику видения не

столько «изнутри», сколько перспективы, а значит, и придать немного твердости и уверенности своей героине, пусть тоже, как свидетельствует в эпилоге автор, «взятой им из самой жизни», но выведенной на страницы произведения профессионально твердой, мужской рукой художника, которого не столько захлестывают эмоции переживаемой поколением бёров трагедии «ничейности», сколько «ведет» вполне картезианское, рассудочное сознание объективно-сти или реальной возможности исхода этой трагедии.

Поэтому в этом его романе не только горечь констатации, но и некая открытость смысла показанного, оставляющая человеку право поразмыслить над происходящим, будущим, выбором новой **дороги**...

...Надийа — подросток из семьи иммигрантов, она замечает и не всегда принимает анахронизмы традиционного образа жизни, которые поддерживаются старшими и безропотно переносятся ее сестрой, насильно выданной замуж за нелюбимого, но зато «своего», араба. Непокорная Надийа смело и решительно ведет себя в школе: от учителей она требует справедливости, от директора — улучшения условий учебы, в мэрии защищает право своей семьи жить в доме, построенном ее отцом... Надийа ощущает кровную связь с родителями, прекрасно знает свою биографию и никогда не забывает, что она — внучка кабила, покинувшего свой гордый горный край еще в 30-е годы и перебравшегося во Францию, чтобы прокормить оставшуюся за морем многочисленную семью.

Не забывает она и о том, что в 60-е годы, уже после войны, в Алжир вернулся заболевший дед, а его место на заводе занял ее отец, который на родине был пастухом, потом наемным рабочим у французских колонистов (тогда-то он и научился мастерству каменщика...). Он увез во Францию свою семью, и Надийа родилась в городе со странным названием Рествиль (означает что-то вроде «Остальной городок»), т.е. город для тех людей, кто является как бы остат-

ком); он предназначался в основном для «чужих», хотя и управлялся французами. (В каждом большом городе Франции есть свой «Рествиль» как символ рабочей окраины, иммигрантских кварталов, «зоны» где живут североафриканцы...)

Скопив честно заработанные деньги, отец получил разрешение на постройку собственного дома для своей большой семьи. И ему даже удалось «выкроить» место недалеко от мэрии... Дом был просторный и **светлый**, и отцу казалось, что сама его Родина рядом с ним, а значит, он и чувствовал себя увереннее на чужой земле и как бы обрел вместе с домом и свой фундамент, успокоился и уже не так сильно переживал за «*обрезанные корни*»... И вот теперь дом должны снести, убить святой для алжирца символ единства — понятие **убежища**, крепости, защиты и прочности уз, связывавших его «племя». И Надийа отчаянно боролась за отцовский дом, она подняла на ноги всех учителей, а те — журналистов, которые начали кампанию в прессе... Заговорило и радио бёров³³, вызывая к общественному мнению, напоминая о справедливости, свободе, равенстве...

Но дом, конечно, снесли, и большую иммигрантскую семью расселили по тесным квартиркам в многоэтажных домах на окраине. Надийа осталась с отцом, матерью и младшим братом, а старшие дети — со своими семьями. Теперь Надийа наблюдала, как вместе с исчезнувшим домом рушилась жизнь отца, потерявшего «фундамент» своего бытия на чужбине, снова ставшего «откорененным» и больным, как «засыхающее дерево». Возвращаться в родную деревню было уже поздно — на чужбине осталось слишком много сил и надежд, да и детям его родина казалась чуждой и *странной*. Однажды, погостив у теток в Ал-

³³ Это радио работало достаточно долго и активно в 80-е годы и даже в 90-х, призывая «бёров» отстаивать свои равные с французами права. В эту же эпоху свершались многочисленные «марши бёров», бурно расцвела и их своеобразная литература (подр. см. в нашей работе «Вошедшие в храм Свободы». М., 2008.

жире, Надийа записала в дневнике: «В деревне все как будто застыло. Неподвижность. Красиво, но мертвó. Это не жизнь. Нет движения. Только козы бродят повсюду... А людей почти не видно. Мужчины, если они здоровые, все уехали работать за границу. А из женщин здесь остались только старухи. И они все время молчат» (с. 15). У Надийи тоже нашлось определение для жизни в деревне — *mouroir*, как у героини «Опустив глаза» — нечто вроде «умиральницы»... В свой дом, в город на Западе она тогда вернулась с радостью...

Снос дома омрачил появившийся вкус к жизни. Надийа вдруг четко поняла, что «одна справедливость для бедных, а другая — для богатых» (с. 20). И что они — многолюдные, многодетные, самые бедные — нужны здесь, в городе, только как рабочая сила... И снова записала в дневнике: «Я сегодня потерпела поражение. Но меня так просто, как снести дом, сломить нельзя. Я не буду для них просто маленькой бёркой, из тех, кого с умилением показывают по телеку, чтобы знали, как мы здесь “интегрируемся, ассимилируемся, обустраиваемся”... Нет! У меня хватит злости! Во мне кипит ненависть! Слишком много несправедливости. Я не поддамся им. Не буду их рабой. Никогда! Черт с ними! Мне уже четырнадцать с половиной лет...» (с. 22).

...Отец подолгу болел, молчал, «засыхал» и вскоре умер. На попечении Надийи остались неработающая мать и младший брат. Во время учебного года приходилось подрабатывать, а летом она устроилась кассиршей в супермаркет. Но характер, убеждения, не позволявшие сносить и теперь все проявления «плохо устроенной жизни» (*la vie mal faite*, с. 24), способность не только жалеть, но и защищать *les rejets* (тех, кого называли *отбросами* этой «плохой жизни»), — еще более униженных, чем она, алжирка) не способствовали тому, чтобы она подолгу задерживалась на любом, пусть даже с трудом найденном рабочем месте.

После драки магрибинцев с антильцами, здоровыми «черными» парнями — грузчиками и разнорабочими, которых хозяева магазина подозревали, как, впрочем, и североафриканцев, в кражах и натравливали одних на других, она ушла с работы, потому что знала: «нет хуже войны, чем война среди своих...».

...Окончив школу, Надийа устроилась воспитательницей. Оказалось, что ее призвание — терпеливо учить детишек из бедных семей добру, уважению к старшим, внушать им чувство собственного достоинства, необходимости избавления от «клейма зоны», отброшенности на «пустыри и обочины» жизни, где они росли и играли. А вокруг по-прежнему «бродило насилие, шумели в драках грязные быстро, стоял звон битой посуды, текла кровь по серому асфальту» (с. 31–32) — окраина жила своей жизнью, на которую обрекал ее город.

Конечно, семнадцатилетняя девушка влюблялась, переживала разочарования, искала дружбу, сердечную и душевную опору, но больше всего ей не хватало именно отца, которого теперь для нее олицетворяло дерево. Прижимаясь к его стволу, можно было почувствовать опору, исполниться силы, уверенности, унять растущую тревогу... Спасал общественный темперамент, призвание заботиться и воспитывать, помогать и спасать от «плохой жизни». Она устроилась в агентство социальной помощи, перевоспитывала уголовников-подростков, искала девушек, убежавших из дома от родительского гнета, иногда находила их в публичных домах, иногда — далеко от дома, в чужой стране, иногда возвращала их в лоно семьи, а иногда ей приходилось перевоспитывать и самих родителей, бивших и унижавших своих «заблудших» детей...

Жизнь соотечественников Надийа «выучила наизусть», знала их беды и трудности. а также и то, что у них нет почти никаких прав на защиту, а значит, и безысходность ни-

щеты, и тупиковость существования будут всегда. И она решила бороться за эти права.

...Дети иммигрантов считаются гражданами Франции, а ей было уже двадцать четыре года, и по закону она могла выставить свою кандидатуру на выборы в городское Законодательное собрание. Трагический случай придал ей уверенности: восемнадцатилетнего парнишку из Рествиля убили расисты, пополнив еще одной жертвой список убитых североафриканцев. Надийа возглавила Комитет в защиту бёров и вместе со своими товарищами расклеивала по городу плакаты, устраивала митинги, скандировала лозунги «Жить, а не выживать!», « Солнце в каждую трущобу!», «Мы больше не хотим жить в страхе!».

Надийа знала, что это не последняя смерть, знала, что и иммигранты, и их дети — «проклятое человечество» (с. 55). Но знала и то, что этого клейма проклятия не должно быть на земле, тем более на той, которая позволила им узнать слова о Свободе, Равенстве и Братстве... и **поверить в них**. «Так зачем же ждать смерти? — размышляла Надийа. — Почему **без-**действие? Нельзя же жить так, как прожила мать, — всю жизнь “ожидая несчастья, ощущая его постоянно на кончиках пальцев”...» (с. 57). Нечего стыдиться своего происхождения, уверенно полагала она. Да и какой уж тут стыд, о котором так часто говорят в мусульманских семьях, когда учат своих дочерей «хранить чистоту». «Стыд этот родители давно оставили в своих деревнях, уехав на чужбину, где их обесчестили еще раз, обманули, лишили всего, что составляет человеческую личность!» (с. 58). Надо вырваться из собственной «ловушки» и попытаться доказать своим соплеменникам, что они заслуживают лучшей участи. И как знать, может быть, удастся добиться для них лучшей доли, ведь «пишут же, — вспоминала она, — книги, где все персонажи оптимисты, полны динамизма, живут в своих домах, имеют свои корни, свой цветущий сад, довольны и счастливы, исполнены спокой-

ствия и гордости за самих себя, за то, что в них сохранилась лучшая часть их самих...» (с. 59).

Ведь и отцу, продолжала размышлять Надийя, так хотелось видеть меня не «пылающую гневом и ненавистью» (**«Мы — из поколения стыда. Ты — из поколения ненависти»**, — говорил он), но спокойную и счастливую, забывшую о том, что она живет на «каторге» жизни, сумевшую найти, собрать и вкусить «виноград», который растет и на этой земле... «Ты достойна собрать его гроздь», — учил отец (с. 64, 68).

Зная «бойцовский характер дочери, отец понимал ее предназначение по-своему. Он считал, что она сможет стать *«примером новой расы французов, у которых уже не очень-то белая кожа, но яркий блеск в глазах, тайное желание победить, выжить, пусть даже сжав кулаки и стиснув зубы»* (с. 61). Он сам, североафриканец, не любил в своих соотечественниках покорность и смирение, которые воспитало в них колониальное прошлое. «Но уж раз мы оказались здесь, со всеми нашими недостатками, — внушал он дочери, — то надо исправить положение. Надо сражаться с нашей извечной усталостью» (с. 64). Но он знал и другое — как **«трудно уметь жить с чужими»** (с. 68).

Для повзрослевшей Надийи его уроки жизни не забывались, хотя она их усвоила по-своему: «Когда я занимаюсь жизнью других, защищаю их, это и значит, что я *думаю о себе, о своей собственной жизни, о моем будущем*» (с. 74). И если нет вокруг людей, которым небезразлична судьба ее поколения выросшего «на пустыре, как бездомные собаки»³⁴, поколения, у которого есть только кличка и которое презирают только за то, что оно живет «как арабы» и со-

³⁴ У бёров-магрибинцев, у мусульман в целом, с образом «собаки» связаны, как правило, негативные представления и ассоциации. Этот образ становится центральным в художественной ткани таких произведений, как роман-аллегория Азуза Бегага «И собаки тоже...» (о жизни иммигрантов), роман Абдельхака Серхана «Собачий траур» (о жизни современных марокканок), роман М. Дибя «Если захочет дьявол» (о разгуле исламского интегризма в Алжире в образе «диких собак») (Begag A. Les chiens aussi... P., 1999; Serhan A. Le deuil des chiens. 1998; Dib M. Si diable veut. P., 1998) и др.

храняет мусульманские имена, то, значит, она, Надийа, родившаяся в этой стране, в свободной и гордой своей свободой Франции, пойдет защищать права своего несчастного поколения. Сегодня — в городское Законодательное собрание. А завтра — быть может — и в Европейский парламент... (с. 90), мечтала она.

...Но все надежды и мечты, конечно, рухнули, как старый дом под натиском бульдозеров. Ее имя, имя бёрки, дочери иммигрантов, алжирцев, нужно было в *списках* кандидатов только для сохранения **внешних** приличий, демократических рамок общества, игравшего в политические игры, где именами бёров в своих рядах бравировала одна из многих партий, рвавшихся к власти. Но людей *второго сорта* подпустили только к порогу первого тура...

От обиды и гнева, захлестнувшего душу мрака Надийа бредила, как в кошмарном сне: «Наверное, мы — горькая соль земли, дурное семя, которое проросло там, куда его бросили. Наверное, нас и забросили сюда, чтобы потом ломать, крутить, жечь каленым железом, чтобы с нашей помощью портить семейные праздники, мешать людям спокойно спать, устраивать беспорядки, сеять сомнения в душах... Мы еще не успели родиться, а нам уже указали на выход из жизни... Мы подбираем крошки, которые нам бросают, и благодарим небо, что послало нам эти сокровища... Так и выросли мы — отбросы отбросов, отверженные из отверженных, и никому мы не нужны, никого не интересуют ни наша несчастная жизнь, ни наша и родителей наших тоска по оставленной родине. Да и кому нужна она, эта родина, если не могла уберечь детей своих...» (с. 118).

Отягощенная прошлым память мешает жить. Что толку, думала Надийа, что отец выстроил себе по образу и подобию родительского дом в центре города, захотев настоящей жизни, в которой укрепились бы его корни. Дом разрушен. Отец умер, и не от болезни, а от одиночества — без своего дома, без своей земли (с. 199). И не надо мечтать. Хватит

иллюзий. «Мы все здесь — сорняки. И я тоже — как ненужная никому трава, которую бездумно вырвали». И всех тех, кого она хотела защитить, также могут «срезать с газонов их земли, сбрить, как волосы на голове, срезать вместе с самой головой и таким образом исправить огромную ошибку, само недоразумение нашего рождения, нашего существования на этой земле» (с. 120). «Кто вспомнит о нас? — сетовала Надийа. — Кто высушит наши слезы, кто покажет нам кусочек неба, где можно зажечь нашу звезду над клочком той земли, куда нас зароят и где мы будем спать вечным сном?» (с. 122).

Неужели так навсегда и останутся, возмущалась Надийа, отметки в паспорте: *rien* («без особых примет» или букв. «ничто») и *néant* («ниоткуда») — как признак ее поколения. Неужели только их разгневанность и непокорность останутся в памяти потомков?

Неужели эти «странные французы», которые возводят и возводят свои «крепости», не пуская в свой «Шестиугольник»³⁵ «чужих», не замечают, что вокруг них, внутри их городов, на их территории давно уже живут эти «дикие племена», которых они так боятся, все эти выходцы из «третьего мира», поставившие шатры и палатки на окраинах самого Парижа, «разжигающие свои костры по ночам и поющие свои песни?» (с. 125–127).

...Но Надийа — человек волевой и серьезный, она сумела унять свой бред. «Главное — не терять голову» — таков ее девиз (с. 90). Она понимала, что ее отчаяние и гнев от неудачи, одиночества, утраты навсегда вместе с детством чувства защищенности, счастья (с. 134). И еще она понимала, горько называя и себя, и свое поколение «детьми транзитных городов» (с. 118), что «собачья жизнь» должна *пройти*, исчезнуть. Когда-нибудь. Но об этом надо думать и мечтать. И знать, что у нее в жизни должно быть свое место, не такое, как у отца, занявшего место своего отца на

³⁵ *Hexagone* — так сегодня часто называют Францию по ее очертаниям на картах.

том же самом заводе, продолжившем рабство (с. 130). Она добьется всего сама. И снова девушка слышала голос отца: «Я горжусь тобой. Знаю, что это очень трудно. Но поражение само по себе не страшно. Важно, что ты не отказалась от мысли постоять за себя. И не раскаивайся ни в чем. И не давай себе отдыха. Может быть, ты отомстишь за всю нашу семью» (с. 135). И как всегда, он осторожно посоветовал: «Подумай о себе. Поезжай куда-нибудь, попутешествуй. Но никогда и нигде не забывай, *кто ты и откуда родом*. Твои сородичи примут тебя и в наше племя. Правда, там у нас сейчас война³⁶, и не время ехать туда. И война эта хуже всех других, потому что идет между членами одной большой семьи...» (с. 135).

...Горькие раздумья прервал удар мяча, залетевшего на балкон... Во дворе дома играли дети. День стоял солнечный, и голубое небо сияло. В дверь громко позвонили³⁷. Это был почтальон, принесший Надийе какое-то важное, заказное письмо. Может быть, от уехавшего в далекую страну любимого. Попросил расписаться. И Надийа, не задумываясь, поставила свою подпись. Неожиданно для себя — *по-арабски*. И тут и случилось самое удивительное: почтальон повертел листок и весело сказал: «Смотрите-ка, как это, оказывается, красиво — писать справа налево!» (с. 136). Словно выплеснув из души девушки, а заодно и синие чернила несчастья из той чернильницы, принесшей столько мук безымянной трагически погибшей девочке в романе Фарида Бельгуль...

Словно Тахар Бенджеллун одной улыбкой солнечного утра попытался восстановить в правах «жизнь наоборот» своих соотечественников, поправить смятую бездушной машиной «зеленую траву на газоне», оживить уже сломанный в горшке цветок и окропить каплями прозрачной росы

³⁶ В Алжире с начала 90-х годов шла долгая гражданская война.

³⁷ В романе Фарида Бельгуль звонком на школьный урок начинается текст романа «Жоржетт!»: «La sonne cloche... Non, la cloche sonne» (с. 9).

«гроздь винограда», выросшего на «каторжной земле» холодной чужбины...

Однако не забудем: художник светлым мазком только поправил в целом печальную картину сосуществования на одной земле Франции и европейцев, и «выходцев» с Востока, но сотворив ее от «имени героини», по рассказу молодой девушки-бёрки. Он как бы отошел чуть-чуть и посмотрел на свое творение издали, захотев «на расстоянии» увидеть *больше* того, о чем поведала ему и его собственная жизнь. Для Бенджеллуна важна *перспектива*. А Она звала на поиск новых героев новой Современности.

...Пожелтевшую от времени статью из газеты «Известия» (от 18.XII.2004) храню как свидетельство былых намерений Франции «урегулировать» проблему с мусульманскими иммигрантами, интегрировать их в свою систему ценностей и представлений о мироустройстве... Но декабрь уже 2020 г. свидетельствовал совсем о другом — один за другим волной пронесшиеся по всей Европе теракты, совершенные выходцами из Северной Африки ... А тот документ — уже исторический — носил название: «Французские власти взялись за имамов». В нем говорилось о том, что правительство Франции всерьез занялось образованием живущих в стране мусульман, точнее, их духовных лидеров — имамов. «Крупнейший в Европе 5-миллионный мусульманский «анклав» — немалая проблема для республики. Многие из этих людей агрессивно отвергают местные светские традиции, но подобно губке впитывают идеи воинствующего исламизма, которые проповедуют радикальные имамы. И теперь Париж предлагает имамам «уроки светскости». То есть университетские курсы, раскрывающие основы французского законодательства, истории и культуры.

Курсы стартуют следующей осенью в рамках программы «Французский ислам» в двух колледжах в Париже. По словам министра внутренних дел Доминика де Вильпена,

правительство рассчитывает, что к курсам проявят интерес и опытные проповедники, и те мусульмане, которые только готовятся к духовной деятельности... «Сегодня из 1200 имамов, отправляющих обряды в нашей стране, 75 процентов не являются французами, а одна треть вообще не знает языка. Это недопустимо!» — возмущается автор статьи де Вильпен.

«МВД Франции информирует, — продолжает он, — что курсы не будут обязательными, но большинство имамов получают настоятельные рекомендации» пройти их. Те имамы, которые согласятся посещать занятия, обретут официальный статус студента и разрешение на постоянное проживание в стране. Равно как и возможность получать гранты. Эти меры, по мнению ведомства, должны стать серьезным стимулом для имамов.

Большая часть мусульманской общины Франции — выходцы из Северной Африки. Около 40 процентов имамов родом из Марокко, 24 процента — из Алжира, 6 процентов — из Туниса и 16 процентов — из Турции. В основном они придерживаются фундаменталистских принципов, которые противоречат светским устоям Франции.

Напомним, что пропагандой “умеренного ислама” с помощью государственного образования занялись многие правительства в Европе. Особое внимание ей стали уделять с ноября, когда от рук исламского фанатика погиб голландский режиссер Тео ван Гог, раскритиковавший в своем последнем фильме отношение мусульман к женщинам.

Большинство имамов, которые проповедуют во Франции, не имеют ни полноценного религиозного, ни современного светского образования, — признает имам из Страсбурга Абдалла Боуссаф. А мы нуждаемся как в одном, так и в другом. Только так мы сможем получить гарантию мирного сосуществования в пределах современного светского государства.

Кроме всего прочего, в начале января 2005 года в городах с наибольшей концентрацией мусульман — Париже, Лилле, Лионе и Марселе — для имамов открываются интенсивные языковые курсы. А в апреле будет создан фонд, отвечающий за сбор и распределение спонсорской помощи (в том числе и пожертвований от мусульманских государств). Привлеченные фондом средства пойдут на обеспечение этой программы».

Между тем, как заметил де Вильпен, французские мусульмане уже сегодня «более толерантны и миролюбивы, чем мы могли бы представить». По его словам, только 50 из 1686 учреждений, относящихся к этой конфессии, подходят под определение «рассадники исламского радикализма». Но в то же время, как сообщил министр, скоро во всех 22 регионах страны «заработают спецотделения полиции, в задачу которых войдет надзор не только над радикальными проповедниками и их паствой но и над мусульманскими ресторанами, книжными магазинами и халяльными (не торгующими свининой) мясными лавками. И первое такое отделение в Париже уже провело сотни проверок, опросило более тысячи человек и в результате депортировало из страны 14 фундаменталистов, в том числе 7 имамов. Эти меры принесли плоды: за год количество мечетей с «одиозной репутацией» сократилось в столичном регионе до 20...»

Ну а дальше — чем больше усилий было во Франции по «интеграции», тем больше проблем возникало именно тогда, когда казалось, что уже вполне даже «ассимилированные» североафриканцы все-таки пытались не забыть о своей «самобытности»... Некоторые же пытались довести ее до абсурда «религиозного фундаментализма», совершая жестокие акты мщения.

«Безумцев» меньше, конечно... Были и остаются «благоразумные»: надо жить. Но от памяти об историческом прошлом, от своей этно-конфессиональной «разности» с

французами порой бывает отказаться трудно, а порой — оказывается и необходимостью напомнить обществу, что в нем живут разные люди.

...О том, как мечтают эмигранты — добровольные или невольные изгнанники (вообще, «отплывшие» надолго или, как казалось, навсегда от родных берегов люди) — о «*родной стороне*» написано немало: ностальгия как реальное состояние человеческой души в «близкой» нам литературе существует со времен греческого поэта Овидия³⁸ ... Одно из творений марокканского писателя Тахара Бенджеллуна, его роман «**Au pays**»³⁹ продолжил эту вечную тему. Однако произведение это интересно именно потому, что неожиданно обратило творчество художника к прямо противоположной проблеме, затронутой его предшествующим романом «**Partir!**» («Уехать!»), вышедшим в 2006 г. и в общем-то как всегда беспощадно и смело раскрывшим «наболевшие раны» современного Марокко, одной из которых является постоянная массовая эмиграция на Запад.

Герои «Partir!» настоятельно стремились во что бы то ни стало **уехать, бежать без оглядки**, без паспорта, как угодно — в трюме ли корабля, в грузовом его отсеке, привязавшись к днищу грузовика, чтобы как-то миновать таможенный контроль, или же на лодке, или даже вплавь, на плоту, или достав всеми правдами и неправдами вожаделенный документ и билет, улететь навсегда, не думая ни о родине, ни о прошлом, ни о чем и ни о ком, лишь бы «**Уехать!**», а там — хоть безработица, хоть бордель, хоть рабство (в любой его форме!), — **лишь бы не жить той жизнью, которая заволокла** настоящее туманом безысходности и тоски по чему-то «*лучшему*»...

³⁸ См. подр. в моей работе «Для берегов Отчизны дальней...» (тема exil в творчестве североафриканцев). М., 1992.

³⁹ Tahar Ben Jelloun. Au pays. P., 2009 (Название в слове «pays» сохраняет смысл «малой родины», точнее даже — «деревни», что по-русски ближе всего к «На родной сторонке»; но можно, в противоположность названию предыдущего романа писателя «Уехать!», перевести название этого и как просто «Домой!»).

Здесь, в романе «Домой!» — всё наоборот. Точнее, этот «Partir!», отъезд на чужбину, уже случился с героем сорок лет назад, когда он был двадцатилетним, здоровым и сильным, но без работы, без куска хлеба, жил в бедной горной глухой деревушке где-то в самом сердце Марокко, куда и приезжали в те далекие уже 60-е гг. всякие проходимцы вербовать молодежь для работы во Франции, нуждавшейся, как и всегда, в дешевой рабочей силе. А после обретения Независимости в 1956 г. в Марокко безработных было, как, впрочем, и сегодня, полным-полно... Завербованным, по прибытии в порт, давали поначалу приют в Марселе, выдавали кое-какие документы, а потом поездом, с каким-то сомнительным адреском в кармане отправляли «на север», — туда, где эмигрантов из Магриба поджидали подрядчики, посредники, нанимая, «охмуряя», за бесценок на самую тяжелую работу: на заводы, шахты, рудники, на стройки... Всё это Тахару Бенджеллуну удалось описать еще в 70-е годы⁴⁰.

...Мохаммеду повезло. Он стал работать на известном автомобильном заводе «Рено» (где были сильны профсоюзы и где платили «прилично»), на конвейере, где и просто-ял он, примерный и покорный труженик, все долгие четыре десятилетия, хотя и пронеслись они, как сон, как одна долгая ночь, а когда он очнулся — то пришло время выхода на пенсию: «*la retraite*», — слово, которое и произнести-то трудно, не то, что пережить внезапно обрушенный его тяжестью удар, а может быть даже и выстрел. В самую душу: без работы, без ее уже привычного ритма, определившего и ритм самой его жизни во Франции (у французов он, этот ритм, издавна, когда еще было много и среди них самих рабочих, «пролетариев» (!), зафиксирован в до сих пор сохраняющемся в языке выражении «*metro — boulot — dodo*»

⁴⁰ Его произведения — этюд-памфлет о «Французском гостеприимстве» и повесть-притча «Самое глубокое одиночество» подробно рассмотрены в нашей работе «Иммигрантские истории». М.: ИВ РАН, 2002 и в пред гл. этой работы.

— «подземка — работа — койка»), он просто ощутил себя *человеком потерянным...*

Мохаммед, конечно, давно уже пользовался собственной небольшой машиной (купленной на заводе, в кредит, по себестоимости, — как полагалось его рабочим), и была у него квартирka, хоть и на окраине, но вмещавшая когда-то его большую семью, и там — даже собственная их с женой спальня, и привык он уже к своему этому городскому быту, показавшемуся когда-то приехавшей к нему из деревни, с родины, жене — «раем» (ведь и электричество было здесь, и вода из крана лилась вволю, и даже лифт...), и товарищи были у него на заводе, хоть и особо он и не любил «водить компании» (не пил, не курил и, боже упаси, никогда не изменял супруге, которую ему, естественно, как полагается, подобрали в ранней молодости родители), и почти ежегодно в отпуск, обычно летом, уезжал в родную деревню, когда еще дети его учились в школе, со всей семьей⁴¹... Ритм его жизни: дорога от дома к заводу, оттуда домой, по пути, — в лавочку, за продуктами к одному и тому же торговцу (своему соотечественнику), ужин с семьей, потом праведный сон — заслуженный после тяжелого трудового дня отдых — и снова день, и снова работа... И вдруг — резкая остановка на этом уже сложившемся маршруте человека, когда-то заброшенного на этот край света, на далекую городскую окраину и почти уже осевшего здесь, во Франции, хотя и не ощущавшего себя **никогда** «францу-

⁴¹ Надо отметить, что эта «картина жизни» североафриканского иммигранта не приукрашена писателем: за прошедшие полвека, представленные, к примеру, в романе марокканца Д. Шрайби «Козлы» (1956) ужасающие условия существования рабочих — магрибинцев-эмигрантов во Франции, конечно, немало изменились: приличные социальные пособия их семьям, помощь по найму квартир, политика «интеграции» в отношении иммигрантов, хоть и постоянно «буксующая», тем не менее, оказали свое воздействие на жизненный уровень «иностраных рабочих», хотя и не уничтожили многих социальных и психологических проблем иммигрантов, чье культурное и правовое различие в недрах республиканского устройства Франции как Государства-Нации очевидно и вызывает порой массовые волнения и протесты (см. подробно наши работы «Восток на Западе». М., 2003; «Вошедшие в храм Свободы». М., 2008, «Время не жить и время не умирать». М., 2021.

зом», в отличие от многих своих «укоренившихся» соотечественников и их, да и своих детей, уже родившихся здесь и выросших, и имевших свои «законные права» называться «гражданами Франции», а еще проще — «французами»... [Хотя, конечно, сами французы — «коренные», вряд ли будут когда-нибудь почитать их таковыми: этническая принадлежность иммигрантов и во втором, и даже в третьем поколении, и даже у их детей-метисов от «смешанных браков» (что здесь, во Франции, — не редкость), как говорится, «налицо»...]. Но как ни называй себя, как ни считай, как ни утверждай нынешнее французское «разнообразие» («diversité», как говорят социологи, или «разность», или «различие», или «различение» — *différance*), хотя и говорят все здесь между собой на одном, французском, языке, и часто даже дети магрибинцев — без акцента, но и отчуждение, и «дистанция» в отношениях с «франко-арабами», несмотря на всю современную «политкорректность», дают о себе знать, и особенно тогда, когда накапливается груз социальных проблем, и молодежь «из иммигрантской среды» выходит на улицу и выплескивает свой гнев, внезапно ощутив и свое «изгойство», и маргинальность, и неравноправие...

...Мохаммед никогда не забывал, что он — марокканец. И не потому что ему об этом «напоминали». (О том, как это происходит во Франции, — и писателями-магрибинцами — марокканцами, и алжирцами, и тунисцами — написано немало художественных свидетельствований⁴².) Но как будто и не проходит время после публикации известной повести тунисца С. Бхири «Надежда была на завтра» (S. Bhiri. *L'espoir était pour demain*⁴³. Р., 1982): накал гнева, степень концентрации горечи разочарований и утраты надежд не исчезают и по сей день во многих книгах об участии тех, кто не перестает ощущать себя «людьми второго сорта», «ра-

⁴² О них см. наши работы: «От Сахары до Сены». М., 2001, «Вошедшие в храм Свободы». М., 2008 и др.

⁴³ О ней подр. в нашей работе: «Для берегов Отчизны дальней...». М., 1992.

бочим скотом», «грязными арабами»... (Хотя, справедливости ради, надо заметить, что сегодня некоторые этнические магрибинцы уже немало пишут и о том, как они постепенно «сливаются» с французским обществом и даже гордятся своей «особостью», — ощущая в себе сразу обе «культурные ветви», называя себя всерьез «французскими арабами» или даже «просто французами».⁴⁴) Нет, Мохаммед не возмущался, но и не задумывался о приобретаемом во Франции «культурном багаже». И никаких «метаморфоз идентичности» с ними не приключилось. **Он твердо знал, что он — прежде всего — мусульманин, марокканец,** знал и хорошо помнил свои корни, хранил свои обычаи, любил и берег, сколько мог, свою семью и мечтал только об одном: чтобы его семья, его дети, его внуки **были едины с ним в его вере**, в его *способе почитания Законов жизни, завещанных его предками*. Уважали бы отца и мать, **их выбор** для своих детей и жен и мужей, и молились бы Аллаху, и продолжали традиции, шедшие из глубины веков, а потому **не должны прерываться**, даже если Земля, их породившая, осталась далеко за морем...

Но семья потихоньку распадалась: дети выросли, уходили из дому или готовились уже к новой жизни, сделав **свой собственный выбор**. А они с женой потихоньку состарились, но так и не превратились за сорок лет «во французов», а потому понять, что дети их живут уже в абсолютно другом жизненном пространстве, и времени им было не дано, хотя мать уже тихо смирилась с «отрывом» старших своих сыновей и дочери от семьи. Но Мохаммед все еще был ослеплен сиянием «вечных истин», затмившим свет того обычного дня, который давно занялся за его окном, где были двор, улица, школа, и вообще — *другой мир*, по-

⁴⁴ Социолог Азуз Бегаг — один из них, хотя в его художественном творчестве засвидетельствовано прямо противоположное (*Béni, ou le paradis privé*, к примеру (Р., 1989 и др.); но есть и берберская певица Джюра, написавшая книги о том, что считает себя «и той, и другой сразу», и др.

тихоньку, но безнадежно точно и прочно втянувший в себя, воспитавший его детей, а потом и отнявший их у него.

...И вот теперь, стоя на коленях на молитвенном коврике и повернув лицо свое в сторону Мекки, Мохаммед молился своему Богу и вспоминал свою жизнь, и размышлял о том, что будет с ним и с его семьей, и как он станет дальше жить на земле, когда выйдет на пенсию, когда наступит вдруг этот несчастный момент Времени, называемый во Франции *«La Retraite»*, — действительно похожий на какое-то подобие отступления, ретировки, ухода, уползания куда-то совсем в другое жизненное убежище. Ведь это новое «убежище» обязательно надо будет определить, обустроить, ибо жизнь по *«выходу на пенсию»* не кончается вовсе, и даже не замирает, но должна обрести, наконец, свой смысл. Для Мохаммеда этот смысл был **единственным**, которому он следовал все эти сорок лет, тайно сохраняя его, как последнюю свою надежду в глубине души.

«...Что же теперь делать? — размышлял он. — Пора очнуться. С заводом всё кончено. Я больше не гожусь для работы на конвейере. В моем возрасте это уже смешно. Люди будут смотреть на меня с издевкой. Если останусь, то буду единственным в истории этого предприятия стариком-рабочим, который не пожелал уйти на пенсию. Таких еще здесь не видали. И речь вовсе идет не о деньгах. Подработать всегда можно, если постараться заменить кого-то заболевшего или получившего травму... Меня могут взять на такой учет, чтобы работа не прерывалась, — мой опыт может пригодиться... Но не соглашаться на уход на пенсию... Тогда за меня возьмутся профсоюзы⁴⁵, сочтут меня с ума спятившим или даже “защитником беспорядков”. А я не хочу ничем отличаться от других: на пенсию, так на пен-

⁴⁵ Французские профсоюзы тщательно следят за высвобождающимися по возрасту рабочими местами, ибо пенсионное обеспечение во Франции вполне приличное, а по закону — 60 лет — наступление пенсионного возраста.

сию...» Один профсоюзный деятель уже поздравил его, сказав, что «теперь Мохаммед может делать всё, что ему захочется, располагать своим временем самостоятельно...» Мохаммед ответил ему с улыбкой, что да, действительно, он будет теперь, наконец-то, счастлив проводить больше времени со своими детьми, а то и не заметил даже, как они выросли...

Вспомнил, как он в последний раз посмотрел на заводские ворота. Оглянулся. Вокруг никого не было. Тело его как-то сразу отяжелело, идти вдруг стало трудно, душу заволокло печалью. Почему-то в памяти всплыл его первый день по прибытию во Францию... И твердо решил, что сейчас, выйдя на пенсию, уедет на первое время, хотя бы на несколько месяцев, в родное Марокко, в свою деревню...

Но не для того, чтобы разъединиться со своими домашними или оставить свою семью, боже упаси. Это было бы дьявольским каким-то решением. И в его племени люди никогда так не поступали. Не бросали ни своих жен, ни своих детей. Да он и сам за всю свою жизнь никогда и не смотрел на других женщин. И опускал стыдливо глаза, когда кто-то заводил речь о его супруге... И на дочерей-то своих едва поглядывал, но никогда не осмеливался говорить им «всякие там нежности»...

...По дороге домой встретил старого приятеля. Тот сразу закричал: «Вот здорово-то, что ты вышел на пенсию! Теперь ты свободен! Не работаешь! Разве это не прекрасно? Здесь, во Франции, тебе хоть сдохнуть не дадут, как там, в твоей деревне, откуда ты родом! Поместят в больницу, в случае чего. Ты это заработал. Всё прекрасно. И расизма здесь больше нет. И в больнице будут тебя лечить, как и других. Бесплатно причем. Надо отдать Франции должное:

всё здесь в порядке, разве что Ле Пэн⁴⁶... Ну, да черт с ним! Давай отметим, выпьем по стаканчику лимонада!..»

...Мохаммед тогда пошел дальше, хотел именно пешком, не сядя в автобус, добраться до дома, поразмышлять, немного успокоиться. Шел, опустив глаза, словно врачи ему это повелели. Руки держал в карманах, сжав в кулаки. Думал о детях и вдруг почувствовал, что потерял их окончательно. Был почти уверен даже. Но он еще попытается вернуть их к себе. В отчий дом. И только спустя несколько лет, в полном одиночестве, он вдруг очнётся. И у него возникнет ощущение, что он упал в какую-то бездну, или стоит, шатаясь, над пропастью, словно тяжелый мешок с цементом. Или набитый всякой ненужной никому рухлядью... И что в этом мешке уже давно лежитдохлая крыса и нестерпимо воняет... Он даже представил себе, как его выбрасывают на свалку вместе с другими отбросами, металлоломом, камнями, как всё это превращается в пыль, в забвение... Внезапно почувствовал, что больше *не существует*. Что никто больше не думает о нем, не нуждается в его присутствии, никому он больше вообще не нужен. **Всему конец**. Он уже на краю пути, этой долгой своей дороги жизни. И никто из его старших детей не придет к нему никогда, не будет рядом с ним, чтобы проводить его в последний его путь...

...Его сын Мурад работал в каком-то супермаркете. Женился на испанке Марии, как и он, родившейся во Франции. Родители ее вернулись к себе, в Севилью... У Мурада, человека атлетического телосложения, могла бы сложиться карьера футболиста, но было слабое сердце. И он окончил бухгалтерские курсы, хотя спортом понемногу занимался. Но главным его желанием было **выбраться из своего иммигрантского предместья**, жить в большом городе, в Па-

⁴⁶ Бывший генерал, боровшийся с партизанами в Алжире, бывший лидер праворадикальной партии «Национальный фронт», резко настроенной против интеграции иммигрантов, возглавляемой сегодня его дочерью Марин.

риже, и не иметь ничего общего с прежней своей средой. Хотя он и любил своих родителей, но предпочитал свободу, независимое существование и с детства, еще во время школьной учебы, даже подрабатывал себе на жизнь. Руку отцу, по традиции, целовал, а мать — в лоб. Знаки уважения им оказывал, но никогда не подчинялся их воле. Со своего первого заработка выделил родителям немного денег. Отец поблагодарил его, сказав, что отложит их на *«строительство дома»*. «Какого еще такого дома?» — удивился сын. Но Мохаммед тогда ему ничего не ответил, не рассказал о своих далеких планах. Так, сделал какой-то неясный жест рукой, а потом ушел к себе в комнату...

...С тех пор, как Мурад женился, он больше не ездил с родителями на каникулы в деревню к отцу, в Марокко. Предпочитал отдыхать с женой у новых родственников в Испании. И всё спрашивал себя, отчего же испанцы живут лучше, чем марокканцы?.. Жена, правда, как-то сказала ему, что *«всё дело в религии, и ислам всему виной»*...

Это весьма удивило Мурада, и он вспыхнул даже, словно был имам какой-то, хотя мусульманских обычаев сам не соблюдал никогда... Но сказал Марии, что «ислам сам по себе не может быть источником отсталости народа». Но Мария уточнила: «Любая религия противится общественной эволюции и модернизации». А Мурад подумал, что для его отца ислам был больше, чем религия: скорее даже особой моралью, культурой, его *идентичностью*... «Кем бы был мой отец без ислама? Человеком потерянным между двумя мирами. А прибегая к религии, он успокаивается, находит утешение души, просветление».

Когда-то тесть Мурада, любивший арабскую архитектуру, свозил зятя посмотреть Альгамбру в Гранаде. «Это всё ваши предки построили, возвели все эти роскошные дворцы с фонтанами и садами, всё это пышное величие создали. Конечно, это было давно, очень давно... Но какая прекрасная была цивилизация... И куда же всё подевалось

у вас? Почему всё исчезло? Слава Богу, мы еще храним все эти оставшиеся от вас сокровища...». Мурад был очень удручен, но ничего не мог ни ответить, ни возразить. Да и что говорить-то?..

Джамиля, дочь Мохаммеда, вопреки воле родителей, вышла замуж за итальянца. И Мохаммед больше не виделся с ней. Хотя ему и было очень больно. «Как это вдруг какой-то немусульманин войдет в их семью?» Это было запрещено исламской религией, и дочь стала ему *чужой*. Поначалу еще он пытался ее урезонить, но Джамиля устраивала громкие скандалы, потому что была безумно влюблена и вообще отказывалась всё это *обсуждать*. А Мохаммед не мог выносить никаких ссор.

«Это моя жизнь, а не твоя! — кричала ему дочь. — И ты не можешь мне помешать только потому, что мы — мусульмане! И вообще, что это за религия, которая сыну позволяет жениться на христианке или иудейке, а дочери запрещает то же самое? Что это такое?! Тебе что, хочется, чтобы я обрела свое счастье, выйдя замуж за какого-нибудь парня из твоей деревни?! За вшивого деревенского парня, который потом меня заперёт в доме, а сам пойдет пьянствовать со своими друзьями? Нет уж, папочка, мерси, и вообще, очнись и подумай: моя жизнь — это моя жизнь, и я сама разберусь, что мне нужно, а что нет. Я сама решаю, что мне делать! А ты можешь дать мне свое благословение, если захочешь. А если нет, то и не надо! Что можно поделаться со всей этой глупостью? Лучше бы тебе полечиться, лечь в больницу, ты ведь давно болеешь..., надо позаботиться о себе!»

Он опускал голову и уходил со слезами на глазах. Жена его пыталась успокоить, как могла, говоря, что дочь долго не выдержит и быстренько вернется домой. А он все твердил, несколько озадаченный. «А что это значит «быть влюбленной»? И вообще, зачем вся эта история случилась с ними со всеми, *словно дом обрушился внезапно* и он ока-

зался под тяжестью его обломков, раздавленный всем происходящим. «И вообще, разве ты или я, — обращался он к жене, — мы были когда-то влюбленными? Да я просто не знаю, что это всё значит. Да ты понимаешь сама-то, как мне трудно говорить обо всем этом, об этой “любви”... У нас не рассуждают. Видят, разве что, в кино. Но в жизни... А она — понимаете ли — “влюблена”! Но это значит, что с ней — всё кончено, ее больше нет для семьи!.. Я не хочу ее знать! Он или мы! Он или я, ее отец! Я вычеркну ее из своих документов! И всё это — результат избалованности. А ведь ей ни в чем никогда не отказывал. А она решила привести в дом этого длинноволосого христианина! Да еще хочет моего благословения! Это невозможно. *Не обсуждается...* Мужчине должен быть хозяином в доме. Но еще никто из нас не видел, чтобы христианин принял ислам, чтобы женился на мусульманке. Скорее моя дочь превратится в христианку! Нет, нет! Здесь я всё решаю».

И Джамиля покинула родительский дом. И больше никто в семье не произносил ее имя. И Мохаммед не мог забыть о нанесенной ему ране.

Два других его сына сами бросили школу и отправились работать подальше в провинцию. Мохаммед узнал об этом во время праздника жертвоприношения Аллаху. Теперь в семье остались только младшие дети — Рекийя и Набиль. И впервые Мохаммед понял, что с ним никто даже и не посоветовался, как устроить свою жизнь. Сыновья сами всё решили. Один стал механиком в гараже, другой работал в кондитерской у своего дяди. Один — на севере, другой — на юге Франции. Тот, кто зарабатывал в кондитерской, время от времени присылал матери денег: он умел торговать...

Квартира теперь стала казаться слишком большой, — семья словно рассыпалась. Правда, малышка Рекийя пока хорошо училась, ходила в школу и хотела стать ветеринаром. Мохаммед пытался утешить себя: «Это жизнь. Рожаем

детей, балуем их, а потом в один прекрасный день они больше не желают жить с родителями. А потом и вообще едва вспоминают о нас. Но что поделаешь?.. Если бы мы все жили в моей деревне, как мы с женой раньше, то дети были бы всегда у меня перед глазами... А здесь мы — в безжалостной стране, где надо все время бороться, чтобы выжить, дышать, спокойно спать...»

Но он все еще мечтал собрать всех воедино и устроить большой праздник, хотя и был уверен, что никто из уехавших детей не двинется со своего места. Тогда он решил, что известит их о том, что тяжело болен. Это был выход. И может быть тогда они придут попрощаться с ним в больницу... Но Мохаммед был человек с предрассудками, а потому боялся гневить бога и играть со смертью. «На всё воля божья». И вся его отеческая любовь теперь обратилась к Рекийе, хотя у той не было ни времени, ни особого желания его утешать. Она все время прилежно занималась и хорошо училась. И Мохаммед сказал себе: «По меньшей мере хоть она нормально закончит школу и дальше продолжит свое образование в институте. Выучится на доктора для животных и приедет к нему в деревню помогать по хозяйству»... Он все еще не мог представить себе и смириться с тем, что жизнь его детей ему уже больше не принадлежит, ускользает от него. Но хотя он и помнил гневный окрик взбунтовавшейся Джамили («Ты что? Совсем больной? Так лечись! Тебе и надо давно уже лечиться!»), однако не понимал, что любить своих детей, хотеть быть и ими любимым, быть близким им человеком, жить рядом с ними, — это и есть его *болезнь*, и что от нее и надо ему лечиться... «Интересно, какое лекарство выпишет мне врач, если я приду к нему и скажу, что болею, потому что люблю своих детей?.. И откуда только у моих детей столько ненависти к своим родителям? Ведь вроде бы всех их правильно воспитывали. Да и вряд ли во французской школе, где они учились, им говорили, что с родителями не надо считаться. Может, это

телевидение на них повлияло? Все эти американские фильмы, да и французские тоже, где и семей-то нормальных не увидишь, и родительской воли и авторитета не существует вовсе... Мне *“надо лечиться”*! Наверное я и в самом деле очень болен. И какой уж там у меня теперь авторитет! Я и раньше-то никогда не заставлял моих детей меня бояться. Просто надеялся, что они и сами не наделают глупостей. И они вели себя нормально, не хулиганили на улицах, не поджигали автомобили, не били стекла, ничего не ломали...» И когда их иммигрантская окраина приходила, как и другие, в волнение, и в городе начинались беспорядки, его дети вроде бы и не одобряли поступки своих друзей и товарищей... «Им всегда хотелось быть примерными, — думал Мохаммед, — и они никогда не склонялись к насилию и не участвовали в организации хаоса...»

Утешить его подошел Набиль, его приемный сын, ребенок, тяжело больной с рождения, даун. Взял за руку, положил его ладонь в свою и поцеловал. Они посмотрели друг на друга с пониманием. Потом пошли в кафе за мороженым. А вечером, не обмолвившись с Набилем ни единым словом, Мохаммед крепко прижал мальчика к себе и заплакал. И когда пришла из школы Рекийя, он поцеловал ее, собрал свой чемодан и сказал жене, что уезжает *к себе, «au pays»*, в *свою деревню*, в Марокко, чтобы «немного отдохнуть»... «Ты потом приедешь ко мне вместе с ними, когда начнутся школьные каникулы».

Мохаммед сел на поезд: его, хоть и недорогую, машину, как и у других, сожгли молодые бунтари еще во время осенних беспорядков. И хотя их округ не числился среди самых «неблагонадежных», тем не менее, молодежь из иммигрантской среды была солидарна с теми, чьих товарищей полицейские, преследуя за «хулиганство», загнали в кабину высоковольтной передачи, где ребята и сгорели...⁴⁷ Вот

⁴⁷ Реальные события 2006 г., однако осенние и весенние «беспорядки» во Франции продолжаются, и поджоги автомобилей, и разбитие витрин, и пр.

молодежь повсюду на окраинах устроила свой пожар, и тогда горели машины все, без разбора. Надо же было как-то выразить свое «возмущение»... Но Мохаммед был недоволен, — ведь свое маленькое «Рено» он купил сам, хотя и со скидкой, в кредит, поскольку работал на этом заводе, но деньги эти были для него большими. Он вообще считал, что все молодые люди — плохо воспитанные, не понимающие, *где свои, а где чужие, не знающие «своих корней»*, неприкаянные, не желающие прилежно учиться, не слушающиеся родителей, не уважающие их волю, не понимающие, что у таких, как он, Мохаммед, *машину было жечь нельзя*, — ведь она могла пригодиться ему летом, когда всю семью надо было везти на каникулы через всю страну, к морю, а там — на пароме или в трюме парохода — до берегов Марокко... Он и страховку даже не получил, «не полагалось», ибо «беспорядки на улицах, организованные хулиганами», не входили в разряд «страховых случаев»... «Это всё из ваших, из иммигрантов, зачинщики. Вот с ними сами и разбирайтесь, — сказали ему. — Подождите, пока они утихомируются, а потом еще кú пите себе новую машину... Хотя, знаете, новенькие авто они особенно любят поджигать»...

Мохаммед тогда вышел из страхового агентства подавленным, удрученным. Он задавал себе вопрос, почему это государство не хочет платить бедным людям — жертвам всех этих беспорядков. Оглянулся вокруг: припаркованных машин нигде не было видно, — люди стали осторожнее. А он и вообразить не мог, что подростки и юноши, которых он встречал ежедневно в лифте своего дома, могли устраивать поджоги на улицах города только потому, что *им нечего было делать*, просто так, «от скуки», просто потому, что хотели досадить Франции за свою *н е в о с т р е б о - в а н н о с т ь*. «Но я-то, — думал Мохаммед, — я ведь не Франция, я обычный отец семейства, простой человек, который вот теперь вынужден пешком идти домой. А мне

ведь еще предстоит в будущем долгий путь. Надо будет добраться как-то до родной деревни, а это далеко, за морем... И вообще, я ничего плохого этим молодым людям не сделал, никогда не кричал на ребятишек, бегающих на улице... Да и мои дети с ними не дружили. Я в этом уверен. Зачем им с ними общаться? Мои рано начали работать и выбрались из этого окраинного квартала...»

Теперь ему предстояло ехать до побережья на поезде, потом по морю на пароме, а там пересесть на автобус, потом взять такси и уж только после всего этого оказаться в своей деревне. Или надо дожидаться четверга и ехать прямым автобусом из французского Жанневилье в марокканский Агадир. Через две страны и по морю, на пароходе. Но вот беда, в прошлом году шофер такого автобуса заснул за рулем. Результат: двадцать человек погибло. А сколько раненых!.. Нет. К автобусному маршруту у Мохаммеда не было доверия. Хотя, вот, все его соотечественники-марокканцы выбирают переезд за море подешевле, да и покороче. И сами нанимают частенько водителей, которым платят небольшие суммы, но требуют от них приехать поскорее, обещают потом вознаграждение... Вот и происходят зачастую несчастные случаи из-за спешки... ..«Надо бы, — думал Мохаммед, — чтобы правительство сделало что-то, прекратило бы коррупцию, закрыло бы все эти сомнительные транспортные агентства, которые любой ценой добиваются права на существование... Надо бороться с теми, кто превышает скорость на дорогах, водит перегруженные людьми машины, совершает обгоны, и все это — ради денег... Пусть мне будет хуже: поеду дольше, но поездом. Может быть, удастся заснуть... Отдохну...»

Первый раз за всю свою иммигрантскую жизнь Мохаммед не поедет до побережья на своей машине, «не будет прокладывать свой маршрут», — как он говорил. Купил железнодорожный билет. Он не торопился. Выход на пенсию [он называл это по-французски одним неправильно

произносимым словом «летрэт» (от «la retraite»)] означил для него время, в которое предстояло суметь заняться своим планом. Реализовать его. Он проворочался всю ночь в постели перед отъездом, думая только о том, что будет делать на родине. Конечно же, там он сумеет объединить всех своих детей, «*восстановить*» семейное единство как некую целостность. **Объединить всех вокруг себя.** Он уже готов был проклинать «госпожу Францию», пригrevшую его на сорок лет, но отнявшую у него детей... Забыл даже про свою сгоревшую машину. Но потом счел более благоразумным помолиться Аллаху и попросить, «чтобы Тот привел всё в норму». Это означало *возвращение детей*, пусть даже женатых и замужних, но **в отчий Дом**. Ну хотя бы пусть навещают они его почаще... Может быть, совершат даже когда-нибудь вместе с ним паломничество в Мекку. Почему бы и нет? Покружились бы все вокруг Каабы и помолились... Разве это безумие с его стороны — мечтать о таком? Вовсе нет. Просто исполнили бы все вместе свой *мусульманский долг*... Здесь, во Франции, — не *их земля*. И на ней им надо было думать не о своем священном долге, а о чем-то другом, попроще, о том, что легче реализовать: открыть свою кондитерскую, например... Лучше бы его сын задумался над тем, как осуществить путешествие в Марокко, пересечь эту страну с севера на юг, посмотреть на землю своих предков. Ведь ездят же туда французские туристы целыми семьями? И ничего, довольны... Страна ведь такая разнообразная, такая красивая. Есть чем насладиться и заняться. Да Мохаммед и сам никогда не ездил по родной земле просто из любопытства. Каждый год много лет подряд с 15 июля по 28 августа совершал одно и то же: машина, пароход, потом долгая и пыльная дорога до деревни, и всё. «Это было его судьбой», — так думал он. И никогда не задавал себе лишних вопросов и не строил никаких других планов. Со всей семьей (когда дети были маленькие) собирався и ехал. **К себе.**

...В деревне стояла сухая жара. Земля была выжжена солнцем. Безжалостно. На ней не видно ни травинки, ни зеленого кустика. Деревья засохли. Еще по дороге Мохаммед вдоволь надышался пылью. Люди все сидели по домам. Закрывали крышками колодцы во дворах из-за страха, что вода испарится. Стояла тишина. Не о чем было говорить. Нечего было и делать. Сердца человеческие постепенно тоже черствели. Дети не слушались старших. Девушки сидели взаперти: родители не разрешали им смотреть на мужчин. Здесь не спорят, не возражают. Соблюдают традицию. «Жизнь очень простая, то есть ужасная» (это — комментарий автора — с. 135). Хотя установленные в домах телевизоры (на газовых генераторах энергии, поскольку электропроводов в деревне нет) дают возможность людям «приоткрыть окошко в мир». Но на этот мир люди «смотрели с улыбкой», как на нечто экзотическое. А уж если показывали им какой-то фильм, где мужчина берет женщину за руку, зрительницы закрывали платком лицо, приговаривая: «Эти христиане совсем стыд потеряли!»...

...Время текло «на родной сторонке» медленно и как бы «удаляясь от человека». Мохаммед не заметил, как прошло пять лет: он начал строительство своего нового дома — следуя своим планам «воссоединения детей с семьей» — и не останавливался, «словно плыл куда-то по воздуху», лелея надежду ухватиться за свой мираж, пока не кончились все его сбережения. Подрядчик выманивал из него деньги, а нанятые им строители пытались реализовать безумные планы возведения огромного и нелепого сооружения с большим количеством комнат, террас, с каким-то «общим для всех туалетом» (многочисленные сидения с отверстиями), с большой кухней, бесчисленными коридорами, оконными проемами (пустыми, незастекленными), — и все это воздвигалось на приобретенном Мохаммедом пустыре неподалеку от старого его жилья, где, как и повсюду в деревне, не было проведено ни канализации, ни водопровода...

А Мохаммед воображал, что сооружается нечто «грандиозное, просторное, воздушное, похожее на ковер-самолет, плавно покачивающийся на облаках в небе». Наверное, полагал он, время стало к нему благосклоннее, и он, если что-то и не успел сделать для счастья своего во Франции, то уж здесь, в Марокко, будет вознагражден сполна... Дом, полагал он, обязательно будет «светлым и прекрасным, полон детьми, их радостным шумом и гамом»... Он улыбался, вспоминая, что его и раньше никогда не раздражала детская беготня и суете. А еще он планировал насадить деревья вокруг Дома, вырастить пышный сад и огород, кусты роз и собирать обильные урожаи фруктов, плодов и цветов... И представлял себе любимого приемного сына Набиля в роли садовника... Этот тихий мальчик почему-то был особенно дорог ему, они были всегда трогательно привязаны друг к другу; Мохаммед жалел больного ребенка, а тот, как умел, утешал его, заставляя своей лаской забыть ссоры с другими сыновьями и дочерьми. Набиль был сейчас единственным человеком, на помощь и поддержку которого рассчитывал Мохаммед. И он свято верил, что сделав Набиля «распорядителем» в большом и новом своем будущем Доме, поможет излечиться ему от болезни Дауна... Ведь ему шел уже шестнадцатый год...

Может быть и младшей дочери удастся выучиться на ветеринара и стать здесь всеми уважаемой и почитаемой женщиной... Ведь там, во Франции, размышлял Мохаммед, ей вряд ли удастся преодолеть когда-нибудь ту «планку», которую установили для иммигрантов. Как-то его товарищ объяснял ему, зачем это делается: «Понимаешь, наши дети никогда не будут учиться в их Университетах... Их в лучшем случае ориентируют на приобретение рабочих, технических профессий, на разные ремесла. И им никогда не стать депутатами парламента, работать в крупных банках, в исследовательских лабораториях. Несмотря на все обещания, Франция с легкостью предоставляет детям иммигран-

тов только одно право: заполнить тюрьмы, постоянно быть на учете в полиции, вечно ходить в подозреваемых во всех совершаемых в стране преступлениях... Мы — иммигранты — конченные люди. Французы на нас обрушивают комплекс своей колониальной вины. Вот и срываются на наших детей, а те — на них, и губят их машины, и всё, что попадется на их пути, и бьют витрины... Наша с тобой плачевная судьба и судьба наших детей одинакова... На нас, иммигрантов, здесь всегда будут указывать пальцем как на источник всех здешних несчастий... А ведь мой сын, как и твои дети, Мохаммед, родились здесь, и они — стопроцентные граждане Франции...» (с. 139–140)⁴⁸.

...Добираясь в родную деревню (до Танжера — паромом из Марселя, до Касабланки — автобусом, до Агадира — поездом, а оттуда — на попутной машине), Мохаммед повсюду видел нищих на дорогах; женщин с детьми за спиной (марокканки, как и многие другие африканские женщины, привязывают их полотенцами), идущих в город пешком в изнуряющей жаре; бесцельно бродящих безработных молодых людей; жалких стариков в лохмотьях, показывающих какие-то мятые, старые бланки медицинских рецептов, прося денег у проезжающих прохожих на лекарство, и сказал себе: «Понемногу, но все больше и больше, эта страна утрачивала свое достоинство, теряла постепенно былую гордость за свое прошлое... Уж слишком много стало тех, кто протягивает вам руку, прося помощи, и тех, кто беспощадно наживаете на нищете народа... Слишком много стало несправедливости, и чем дальше, тем больше. И чем богаче становятся люди, тем страшнее коррупция, тем ужаснее бедность» (с. 142–143). И всю долгую дорогу в родную деревню он не уставал повторять себе: «Потерпи. Подожди». Он когда-то, еще во время своего паломничества

⁴⁸ «Планка» эта для североафриканцев существует во Франции реально, даже в среде преподавателей Высшей школы. Спорт — дело другое. Даже театр или эстрада. Но тем не менее, «различение» существует (С. П.).

ва в Мекку, запомнил эту «магическую формулу», звучавшую для него, как заклинание («Assaber Ya Haj!»), но потом подзабыл ее с годами, стал нервным, но все-таки умел скрывать свое недовольство и раздражение и даже душивший его гнев, когда, к примеру, сожгли его машину... И сейчас, видя, как *«несправедливость царит повсюду»*, хотел надеяться только на будущее: на тот Дом, в котором, возможно, обретет счастье...

Откуда-то взялись прежние молодые силы, прибавилось энергии, и он целиком погрузился в подсчеты мешков с цементом, щебнем, штукатуркой, забыв о времени... Соседи и родственники помогали ему советами, хотя с удивлением взирали на постепенно возникавшее на пустыре странное сооружение, совсем не похожее на маленькие их хижины, и расходясь по домам, спрашивали себя, не потерял ли их земляк рассудок...

Мохаммед похудел, спал рядом со стройкой, зарос, обносился, не заботился о себе. Архитектор, которому он заплатил за его проект заранее, так и не появился больше, а каменщики не могли ничего понять, что от них хочет «этот ненормальный старик»... Он без конца твердил им только одно: **«Я хочу большой дом, самый большой в этой деревне, такой большой и такой вместительный, как самое мое сердце. Надо, чтоб этот дом был виден издалека, чтобы люди говорили: там живет Мохаммед с детьми... Да, да, все мои дети приедут сюда и расселятся здесь в этих больших комнатах. Места хватит всем... И детям моим, и внукам. И это будет Дом Счастья, Мира, Гармонии!»** (выделено мной. — С. П.). Он понимал иногда, что преувеличивает, но строительство так захватило его, что он сам на себя давно уже стал непохож. А дом все разрастался, терял все мыслимые пропорции, всякую логику. Главным было *«собрать всех под одной крышей»*, хотя создававшееся жилье напоминало скорее «огромную кастрюлю, под крышкой которой варилось нечто несъедобное».

Стены так и остались непокрашенными, оконные проемы незастекленными и ставни неприкрепленными... Зияли темные дыры. Прошло несколько лет, но дом так и остался необитаемым. Дети так и не явились, а жена, которая жила в старом фамильном домишке неподалеку, навещая почти потерявшего рассудок мужа, все еще пыталась «свернуть его с неверного пути»... Она уже давно поняла, что ее дети больше не принадлежат им, их унес «вихрь жизни во Франции», что живут они своей жизнью и не испытывают ни сожалений, ни угрызений совести... «А разве они не правы? Они тоже по-своему привязаны к той стране, где родились и выросли. И как их упрекать за это?»

...Она довольствовалась тем, что иногда разговаривала с детьми по телефону, добираясь до соседнего городка, что-то пыталась советовать им, хотя и знала, что они ее не слушают. Их жизнь — это *другая жизнь*. А родительская — это совсем *другая история*, в которой была эмиграция, завод, тяжелая работа, печаль и усталость и лишь пять-шесть недель отдыха в родной деревне... У детей, у каждого из них, — теперь своя судьба, и никто из них не захотел идти дорогой отца... Уж слишком низким был «потолок» его жизни...

А отец за сорок лет работы во Франции не захотел меняться. Он остался таким, каким был. «Словно был загерметизирован: не испытал никаких влияний. Ничего из «французского» не оставило и следа в его душе, в его сердце». Ничто не могло поколебать его, вытравить из него его сущность. И таких как он — он в этом был уверен — во Франции были миллионы... Они прибыли туда, эти эмигранты, словно «в броне», и не захотели никакого «смешения», жили своей жизнью, хранили свои обычаи. Чувствовали всю жизнь себя здесь «чужими», иностранцами. И защищали себя своими традициями. Будто перенесли сюда свою родную деревню, свой мир, и боялись подхватить «французскую заразу»... Охраняли себя таким образом от

окружающей реальности. Вопросов особо не задавали. Считали, что ислам — их крепость. Их сущность. «Я, — размышлял Мохаммед, — прежде всего — мусульманин, потом — марокканец, и я был таким раньше, чем стал иммигрантом. Зачем меняться? Ислам — мое прибежище. Религия успокаивает меня... Здесь другая вера. Мы не созданы для нее. И французы тоже живут своей жизнью, а мы — своей. И они не могут жить, как мы. Наш взаимный контракт прост: мы работаем, они нам платят. Но у меня на их земле выросли дети. И надо бы, чтоб они вернулись *в родной дом*. А он — *в моей стране, на моей родине*... Это ведь так просто: этот Дом — это наша звезда, наше главное богатство, самое драгоценное. И каждый камень, положенный в его основание, — это капля крови моей; каждая его стена — часть моей жизни... И мы *все* будем жить здесь той жизнью, которой жили и мой отец, и мой дед, я всего лишь следую по дороге, проложенной ими, а им лучше было знать, как жить следующим за ними поколениями... Здесь будет всё, что нужно для счастья... Главное — это наша земля, а это лучше, чем деньги... И доказательство того, что я, уехав на чужбину, покинув родную деревню, **вернулся обратно, не став другим**... Франция помогла мне заработать, сделать какие-то сбережения, но она хороша для французов. У нас там нет *своего места*... И я хочу вытащить оттуда наших детей, и они должны продолжить жизнь своих предков... Здесь скоро кончится засуха, земля будет плодоносить, и нет смысла, чтобы наши дети жили вдали от нас»... (с. 146–149).

Эта идея стала его наваждением, он без конца повторял одно и то же, прерывая свой монолог только для того, чтобы взглянуть на небо и посмотреть, не появилось ли хоть какое-то облачко...

Но дождь так и не пролился. Строительство Дома больше не продолжалось, но Мохаммед все надеялся, что и воду к нему подведут, и электричество, и дети, глядишь, и прие-

дут на следующее лето, на каникулы хотя бы... И он купил на остатки своих денег старое кресло, принадлежавшее какому-то еще французскому колонисту, установил его перед фасадом своего странного сооружения, устроился в нем, хотя пружины были уже никуда не годными и сидеть в нем было неудобно, и стал смотреть на дорогу, на открывавшийся за ней горизонт, в надежде увидеть подъезжающие сюда машины...

Мохаммед упрямо сидел в своем кресле и ждал. Он уже не мог вставать, не мылся, зарос грязью, дурно пах. Да и старое кресло как-то странно вдруг стало зарастать травой, погружаться все глубже и глубже в землю, словно хотело зарыть в ней и себя и своего сидельца...

Мохаммеду как-то померещился черный силуэт: какая-то тень словно кружилась вокруг его так и недостроенного Дома. Повяло каким-то страшным холодом... Послышался какой-то странный скрежет чьих-то зубов; черный силуэт то исчезал, то снова возвращался... Мохаммед умылся остатками воды в кувшине, которую приносила ему жена, и прошептал молитву, пытаясь удалить от Дома и от себя это видение Смерти...

На какое-то время рассудок возвращался к нему, и он успел еще, прежде чем окончательно врасти в свое кресло, подняться на крышу своего Дома и там, глядя на небо, обращаясь к Богу своему и его Пророку, стал бормотать то по-берберски, то по-арабски: «О, несчастный! Ты истратил все свои деньги на эту свою стройку, и теперь будешь питаться только мясом ежей и пить овечье молоко пополам с песком. Потом подохнешь, подавившись, и никто не придет тебе на помощь... Ты, видно, соорудил все это на земле, не принадлежащей людям, вторгся в пределы тайных хозяев этого места, причинив им зло... И это твое сооружение, этот твой Дом останется навсегда пустым, и ни единая душа не поселится в нем, да и ты сам останешься умирать на пустыре перед входом в него... И когда настанет Ночь

Судьбы, последняя ночь священного праздника жертвоприношения Аллаху, ты навсегда покинешь это место, оставив его тайным властелинам, — тем духам его, что живут в глубине колодцев, в вышине небес, что обжигают огнем все то, на что обращают свой взор, не зная ни стыда, не ведая страха, ибо они — сильнее самого Дьявола, и обитали здесь всегда, испокон веков, тысячелетий, и они терпеть не могут наивных людей, которые думают, что помолившись Аллаху, они изгонят этих духов... О, несчастный! Всё, что ты сделал, всё — впустую. Всё — напрасно! И сам ты станешь пылью, которую унесет ветер, не оставив ни следа твоего на этой земле...» (с. 159–161). И исполнившись древними поверьями, Мохаммед теперь заклинал людей: «О вы, живущие на чужбине! Покинув землю свою, вы засыпали ее камнями! Вы — потерянные люди, — и дети ваши — потеряны для вас! Они сами отторгнули вас, как вы когда-то свою землю! И тайные стражи ее, духи этой земли сделали так, что ваше потомство будет считать себя сыновьями другой земли, **чужой**! О, неблагодарные! И у них отныне не будет нигде корней, и никогда они не обретут истинной веры! Они сожгли свои корни, а сами превратятся в пыль, станут пеплом, как сгоревшая трава... О, Люди! Пойдите лучше к могилам предков ваших, приникните ухом своим к земле, послушайте, что скажут они! Ведь они — мудрецы и праведники. А они вам скажут, что всё, что я задумал и построил, всё — ошибка. И она — огромна. И в ее необъятности никому жить нельзя... И пусть это место, тайных властелинов которого я растревожил, станет местом всеобщего раскаяния нашего; и пусть придут сюда все заблудшие, как я, все, за границей этой земли живущие, забывшие, откуда родом они и куда идут...» (с. 159–160).

Мохаммед спустился тогда с крыши, решив переночевать не под открытым небом, но в своем старом домишке, где возле железной койки, на тумбочке, лежал Коран. И обнаружил, что страницы старой книги рассыпались. Он со-

брал их, но увидел, что они — *абсолютно белые. без единого слова.* Тогда он тщательно завернул Книгу в лоскут, похожий на саван, и заснул, свернувшись на молитвенном коврике. Кто-то Невидимый лишил последнего прибежища и его уставшую душу, стерев *все знаки его Веры со страниц священного писания...* Неужели и Аллах оставил его? Но он еще успел на последние гроши совершить последнее свое жертвоприношение ему в наступивший (незадолго до его смерти) праздник. Зарезав перед Домом барана, он на следующее утро отдал мясо его всем пришедшим к нему соседям, так и не дождавшись самых дорогих гостей — своих детей, которых надеялся увидеть хотя бы в Священную для мусульман Ночь — *Ночь судьбы*, явившую когда-то Пророку Божественное Откровение... «Нет, никто и никогда не придет ко мне в эту глушь, не бросит своих христианских жен и мужей, не захочет выйти замуж за местного пастуха, а один из моих сыновей и вовсе забыл свое имя — Рашид — и стал называть себя Ришаром...»

...Люди унесут по домам, разделив на куски зачерстевшую к утру тушу жертвенного животного, удивляясь щедрости Мохаммеда и дивясь на странное сооружение, стены которого уже стали давать заметные трещины...

Потом началась другая его жизнь, а точнее — смерть, во все вставшем в землю старом кресле. Хотя Мохаммед уже не видел больше бродивший вокруг Дома черный силуэт... Устремив пристальный взгляд на дорогу, он все еще надеялся увидеть спешащих к нему попрощаться детей. Ждал ночи, почему-то думая, что встреча их произойдет, когда уляжется дневной зной, и палящее солнце опустится за горизонт. Но посетил его только местный пастушок, забредший сюда со своими овцами, и прислонившись к его плечу, почувствовал всю глубину его печали и тоски. И заплакав над ним, сказал ему, что «никогда не видел такой красоты, как этот Дом», да и вообще не видел ничего другого, кроме этой сухой, выжженной солнцем, растрескав-

шейся земли. Пастушок напомнил Мохаммеду дни его юности.

...Жена еще успела обмыть его уже постепенно уходившее вместе с креслом в землю тело, обернула его белым саваном, умастила. Мохаммед уже давно молчал. Ни на что не реагировал. Давно ничего не ел. Потихоньку, вместе с креслом уходил в глубь земли, «словно дерево, пускавшее свои корни... Словно якорь, стремившийся закрепиться здесь навсегда... Словно старая лодка, навсегда разбившаяся о безлюдный морской берег...» (с. 182).

И вот, наконец, все смешалось с землей. Лоскуты старой кожи, обтягивавшей кресло, и почти разложившееся старое, никому не нужное, как домашняя рухлядь, тело Мохаммеда.

Неожиданно вырос холм, покрылся зеленью, и на эту могилу пришли помолиться люди в белых одеждах. Они говорили, что умерший — человек, у которого чужая страна *«отняла всё»*. И еще о том, что в той стране их ценности не стоят ничего, и никому там не нужен ни их язык, ни их традиции... Она сеет только безумие среди таких, как Мохаммед, который пытался **сохранить свои корни**... И решили, что воздвигнутый им Дом станет ему Мавзолеем. Хотя его могила и не внутри, а снаружи. Так появилась гробница нового святого на этой земле — марабута Мохаммеда. И станет холм из родной ему земли, что сам вырос перед входом в несостоявшийся *Дом Счастья*, местом паломничества людей...

...Когда кто-то предложил выкопать его ушедшее само под землю тело; оно оказалось нетленным, благоухало, а саван остался первозданной белизны... Портал Дома покрасили известкой и сделали на нем надпись: «Во имя Бога Всемилостного и Всемогущего. Упокоился человек праведный. И кончились его страдания. Господу принадлежим мы все. И все к нему возвращаемся»...

...За могилой Мохаммеда никто не ухаживал, она зеленеет сама. Верующие люди приносили сюда иногда свои нехитрые дары (у марокканцев обычно это яйца и хлеб), складывали их на пороге Дома. Ни мухи, ни осы не трогали съестного, не кружили над приношениями. И еще: ни кошки, ни собаки не подкрадывались к ним. И над этим местом всегда царил какой-то неведомый райский аромат. И всегда пробивалась молодая трава на могильном холме. Кто-то посадил привезенное издалека дерево. Под сенью его быстро разросшихся ветвей можно было обрести прохладу и покой...

Так закончил писатель свое повествование о нелегкой судьбе людей, когда-то расставшихся с родиной, но захотевших вернуться к ней. В давно привычной манере, смешивая реальное и фантастическое (поклонник Борхеса и Маркеса, Бенджеллун еще с конца 60-х годов XX в. увлекался «магическим реализмом»), писатель еще раз показал, как эмиграция способна разрушить и даже убить человека, отрезав его «корни», лишая возможности полноценно жить «своей жизнью». Но даже мечтая об обретении жизни новой, даже стремясь **радикально изменить что-то в своей судьбе** и стать «новым человеком» [роман «Уехать!» — («Partir!»)], даже став им, т.е. *человеком как-то интегрировавшимся* в другой мир, в его общество [роман «Сладкая каторга» («Les raisins de la galère». Р., 1997)], **эмигрант** (а специфика именно эмигрантского, в отличие от иммигрантского, менталитета, очевидна) будет ощущать себя неким особым «*поселенцем*» на чужой земле. Даже если надолго останется на ней. И так или иначе будет ощущать свою *особость*⁴⁹.

⁴⁹ Даже в огромном уже корпусе иммигрантской литературы это ощущение не просто манифестируется, но и становится доминантой сознания «этнических арабов» (или берберов), вскрывающей различные причины (в основном — социальные и политические), порождающие такого рода психологическую реакцию североафриканцев, живущих во Франции.

«Примерный» североафриканец, почти полвека проживший и проработавший во Франции, герой романа «Au Pays» Т. Бенджеллуна, так и не смог обрести здесь свою *целостность*, ибо память об «отрезанных корнях» терзала его, и он настойчиво стремился к ним. Всю свою жизнь, прошедшую, как сон, *между реальным пространством чужбины и идеальным представлением о «берегах Отчизны дальней...»* Это произведение, собственно, и стало выражением квинтэссенции этой тоски, ностальгической грёзы человека, не желавшего *изменить самому себе*, несмотря на диктат окружавшего мира. Его *самосушность* повелевала ему хранить не только древние «традиции и обычаи предков», уравненные в своей святости с его религией, но и обязательно *удержать этот свой мир* в сердцах и душах своих детей, передать им не только священную память об оставшихся далеко за морем их *«родных корнях»*, но и воспитать в них чувство *долга воссоединения с ними*. Трагедия семейного **разрыва**, предчувствие которого он старался скрывать от самого себя, назревала давно. Но свершившись (как итог долгой и почти естественной *поколенческой дезинтеграции*), она предстала ему как силуэт «черной смерти», как крушение всех надежд и даже веры. И человек, стремившийся *воссоединить*, **собрать в единое целое родную землю и своих детей**, рассеявшихся на чужбине, погиб.

Но нельзя не заметить, что **мотив Дома**, который создает Мохаммед *во имя «всеобщего счастья»*, как и мотив проросшей на его могиле **зеленой травы** (наконец-то *ожили* родные корни!) сродни **мотиву Дерева**, ставшего обиталищем другого бенджеллуновского Мохаммеда (из романа «Мох — безумец, Мох — мудрец»), который питаясь, как и его родимое дерево (в ветвях которого живет этот провидец) соками родной земли, умел говорить («вещать»!) людям *только правду*. Пусть горькую, но ведь и она — *спасительна...* Вот и Дом, который пытался воздвигнуть на

родной земле вернувшийся в родной край Мохаммед, тоже по-своему стал, пусть иллюзорным, пусть безнадежно несовременным, но так необходимым человеку образом некоей Истины, живущей в человеческой душе, жаждавшей пусть невозможной, но такой светлой, такой теплой, такой лучезарной Гармонии: *объединения всех в радости, воссоединения в покое и мире, а значит, и восстановления нарушенной людьми связи между прошлым, настоящим и будущим...*

Вдруг оказавшись в абсолютно ином, непривычном ему времени жизни, внезапно остановившемся (выход на пенсию почти означил для него *небытие*), Мохаммед попытался собрать оставшиеся силы для воплощения этой своей давно лелеемой мечты. Но писатель оказался беспощадным к своему новому герою, показав *нелепость*, неосуществляемость его планов: то ли сам давно уже ощущая *тяжесть мрака безысходности всех человеческих надежд на лучшую жизнь* «на родной стороне» (роман Т. Бенджеллуна «Это ослепляющее отсутствие света» — «Cette aveuglante absence de la lumière. P., 2001) и продолжая жить во Франции, то ли зная точно (ведь он, Тахар Бенджеллун, — не только писатель, лауреат Гонкуровской премии, но еще и профессиональный социопсихолог), что процесс полной *дезинтеграции* как «разрыва» с корнями **неизбежен**, и новое поколение «этнических североафриканцев», окончательно **забудет** о том, что такое «**заветы предков**», и что значат «**родные корни**»... Они их пустили уже на **другой** земле. Но наградит ли она их благоуханием молодых побегов и новых ростков?.. Или же «горький дым *Отечества*» будет иногда застилаться слезами их глаза?

Так или иначе, но, как и могила Мохаммеда, роман писателя живет теперь своей жизнью, и мне жаль так и не построенного героем романа Дома, жаль его прекрасной иллюзии *всеобщего счастья*... Утешает одно: Человек, вопреки всему, вернулся к *Самому Себе*. И это — главное.

Конечно, надежда и вера всегда согревают душу человека.

И то, что герой романа остался им верен и «не сходил с места», но ж д а л лучшего, обратив свой взор к *горизонту*, хотя *земля* и время уже беспощадно вершили свой приговор, — лишний раз свидетельствует о том, что писатель остается верен своему изначальному порыву — запечатлеть возможность человека, народа, страны прорваться к Свету, несмотря на цепи прошлого и оковы настоящего.

Можно было бы, с читательской стороны, заметить некое «тиражирование» тем и проблем, а также и формотворческих увлечений [сочетания поэзии, прозы, мифопоэтического сознания и резкой социальной критики, ритмов и смыслов народных «сказов» и преданий (как в дилогии «Песчаное дитя», «Священная ночь» и романах «Мохабезумец», «Писарь», «Молитва об отсутствующем», «Ночь ошибки», да и в «Домой!»), старинных легенд и абсолютно реальных и точных фиксаций реальности («Опустив глаза»), амплификации автобиографических фактов до символических значений (как в романах «День молчания в Танжере», «О матери»), трансформации рамок действительно происходившего или случавшегося до мистического («Ночь судьбы»), общих философских размышлений до скрупулезных детализаций зарисовок разных сцен и подробностей, в том числе и любовных («Горький виноград» и др.)], однако и нельзя не сказать о том, что всё это огромное разнообразие и персонажей, и сюжетов, мотивов и тем, — всё вместе создает картину жизни и родной страны на протяжении более чем полувека ее независимости и картину эволюции бытия североафриканских эмигрантов на Западе (от «Одиночного заключения» до «Горького винограда» и «Домой!»). Но «всполохи современности», а порой и ее реальные «костры» заставляли писателя не только фиксировать последствия бурных проникновений западных влияний в родную страну («Человек сломавшийся», «По-

следний друг» и др.), но и делать зарисовки самого Запада, где уже долго жил писатель, и где не всё устраивало его, а порой и напоминало то, что он наблюдал на своем Востоке — абсолютную власть особых традиций, связанных и с глубоким прошлым, и с вызовами настоящего.

С 90-х гг. Т. Бенджеллун особо фиксирует свой взор на Италии, где бывает, иногда и подолгу, знает язык ее язык и с интересом отмечает не только следы давнего присутствия арабов на юге страны, особенно в Сицилии (в ее особой народной музыке, особом укладе жизни, когда в традиционных семьях чтут, в основном, мужчин, и т.д.), но и некоторую похожесть такого города, как Неаполь, с его «собственными законами» существования, со всё еще очевидным диктатом мафиозных структур, определяющих свою иерархию правил подчинения Закону, свой порядок Власти и свои нравы и обычаи, где прежде всего — царство силы, денег произвола, на Танжер. У итальянской мафии — свои «бароны», свои «хозяева», свои вассалы и даже рабы. Свой с незапамятных времен не поддающийся попыткам разрушения его «порядок». Он — как «ужасающая при встрече с ним фатальность», когда даже правовое Государство «словно отступает» или делает вид, что «не замечает», «отсутствует» даже при совершении «очевидных преступлений». Повествуя в своем романе «Слепой ангел»⁵⁰ о неаполитанской «каморре», как и о калабрийской «ндрагетте», создавая яркие портреты и преступников, и их жертв, писатель (надо сказать, довольно смело) утверждает, что совершающееся здесь, как неуловимое, но реально существующее «вездесущее» Зло — исток и «триумф отчаяния и страха», которые держат народ в «безнадежности»... Когда даже дети постигают кровавый «Закон», и это становится какой-то религией, часто повергающей этот регион Италии в место «несчастий и депрессии». Автор книги «Слепой ангел» (или «ангел, закрывший глаза на происходящее») по-

⁵⁰ Ben Jelloun T. L'ange aveugle. P., 1992.

сле длительного путешествия по этому краю, многочисленных своих (профессиональных) опросов собрал свои свидетельства, обратив их в жанр романа, где герои вступают и в свои личные взаимоотношения с окружающим миром, порой вынужденно следуя «кровавому Закону» мафии, но где проблема конфронтации, противостояния Закону, решается не всегда «по совести», порой просыпающейся в них, или просыпающейся незадолго до ухода из жизни. Так, «опытный» старик в «делах» местной мафии, когда-то славившийся своей «неуловимостью» на закате своих «славных дней», следуя ритуалу, свое «напутствие» дает молодому человеку, завербованному агентом в ряды мафии, такой совет. Он сказал «современному и образованному юноше»: «Попробуйте не опустошать свою душу полностью. Иначе здесь людям придется есть лишь горькую траву, ослепших рыб и не желающих летать птиц» (с. 186). А это означало засуху, безводье, безжизнь, т.е. в конечном счете - безлюдье. И прежде чем удалиться на покой, в горы, пасти своих коз, старик повторил юноше старую мудрость: «Тот, кто совершал злодеяния, пас на своей земле трагедию». И добавил: «Лучше уезжай из Трапани, покинь Сицилию. И вообще, Италию. Отправляйся куда-нибудь подальше, во Францию, к примеру. Учись там, где пока еще люди уважают культуру... Я оплачу тебе все расходы... Это будет моей победой над Судьбой, нашим Проклятием, над этими нашими «братьями» по мафии, надо всеми этими хищными волками, которые мнят себя хозяевами этой земли, а на самом деле они — марионетки в невидимых руках тех, кто где-то контролирует их в своих интересах, а Государство только делает вид, что не замечает этого. Мое существование, мой голос, моя тень даже больше не совмещаются с черными скалами такой жизни. Я удаляюсь туда, где обрету покой души» (с. 187).

Это было завещанием старого Рикардо. И молодой Сальваторе выполнил его и по настоянию матери уехал из

Сицилии в Милан учиться в школе информатики на средства старика... Шел 1983 г. В Сицилии же всё оставалось, как и прежде...

А началось еще на заре этой эры в «новом городе», Неаполе, сооруженном еще в Римской империи. Впрочем, о мафии известно многое. О ней неустанно пишут и ученые-историки, и журналисты, и очевидцы, и писатели (и А. Моравиа, и Л. Шаша — не единственные).

У Бенджеллуна — попытка обнаружения проснувшейся души и совести «мафиозо», его надежды на то, что высоко в горах он вдохнет, наконец, чистый воздух Свободы или освобождения своего от «проклятых пут» огромного спрута. Старик умрет вскоре во сне. Прожив долгую свою жизнь тоже во сне своих иллюзий, что силой, хитростью, обманом и угрозой, расправой и местью за «непослушание» какому-то «Хозяину Жизни», можно добиться Власти над землей, — запуганной истерзанной беззаконием «трафиков» оружия, наркотиков, фальшивых товаров, даже торговли людьми (в наше время — и «хозяйничанием» повсюду в больших городах Италии в сфере «вывоза мусора»...) Но в этом «смирении» с Диктатом несправедливого «порядка вещей», установленным какой-то тысячелетней традицией привычки к послушанию и зависимости от права Сильнейшего, писатель различил, видимо, и что-то «свое», царящее еще и в родном Марокко, и в других мусульманских странах, где оковы Прошлого, догмы религии, порой искажающие людским «умислом» «замысел Господен», порой приводят к бунту души, обретающей свое прозрение. И неслучайно в финале этого романа возникает странный образ Наполитаны — некоей «femme cruelle» («хищной женщины»), чем-то напоминающей и бенджеллуновскую «Женщину-птицу», Харруду, и жену фольклорного берберского Великана-людоеда, и провозвестницу, вещунью одновременно «новой жизни», всегда окруженную детьми, которые

«ловили ее голос», ее слова, когда спускалась она со своих «дремучих ветвей» высокого дерева.

А некоторыми чертами — и феллиниевскую Сарагину из фильма «8^{1/2}», одиноко жившую где-то у моря, и чаровавшую своим «диким» танцем детей, вырывавшихся «на простор» из-под присмотра священника и воображавших «будущую жизнь» как свободу, полную от чьей-то Власти... (Вообще, манера этого итальянского художника, где сочетается реализм наблюдаемого с «потокотом» памяти героев своих фильмов, слияние воображаемого и остро значимого — и социально, и исторически, глубина психологического раскрытия личности, — всё это близко и даже родственно и манере творчества марокканца Т. Бенджеллуна, всегда многому учившемуся у «старых мастеров»...) Помещенный в заключительной главе «Слепого ангела» рассказ автора повествования об образе мафии (а он возник исключительно в результате всего увиденного писателем во время его длительного маршрута по Сицилии — 4000 км, — когда он выполнял вполне журналистский, для прямых «репортажных целей» заказ одной из крупных итальянских газет «Il Mattino» (обратившейся к марокканскому писателю, обретшему немалую славу на Западе) по-своему рассказать об увиденном и испытанном, я представляю фрагментами той подлинной *новеллы* (по-итальянски это слово означает «новость»), которая рождена и реальностью, и воображением, воссозданной и как особо значимый для человека факт его жизни, о котором «необходимо поведать», но и как особый образ мира, в котором сконцентрирована и писательская боль. И вот о чем поведал рассказчик: «Одинокий ястреб парил в небе»... Я повторял про себя эту фразу из какого-то мексиканского романа и смотрел на белое небо над Неаполем... Но вместо хищного одинокого ястреба здесь мельтешили воробьи. Но почему-то образ хищной птицы преследовал меня. И я думал, что если уж и есть место на земле для ястребов, то это точно — Неаполь...

...«Она не стоит и грошá, но ни у кого не находится этой монеты, чтобы купить ее!» — приговаривала старуха продавшая сигареты в розницу на углу какой-то тесной и темной улочки. Она была то ли слепой, то ли глухой. Смотрела куда-то мимо тебя и бормотала всё одно и то же... Не из вежливости, конечно. Просто ее здесь посадили, чтобы она присматривала за этим кварталом. Никто и ничего не должны были ускользнуть от ее внимания. И если она замечала что-то неладное, «анормальное», какое-то скопление людей, или какого-то незнакомого покупателя, она держала за тоненькую веревочку, тянувшуюся вдоль стены дома, возле которого сидела. Звенел звоночек, и хозяева окрестных улиц были предупреждены...

Как и повсюду люди умирают естественной смертью даже в страданиях, или случайно, ежедневно, но не здесь, в Неаполе. Здесь смерть — часто бывает жестокой. Неожиданной. Например, когда кто-то выходит из церкви после воскресной мессы; в больничной палате, где есть врачи, в ресторане, выпив стаканчик аперитива, чтобы сытнее и вкуснее поесть, или даже в зале заседания суда после оглашения приговора о помиловании «за отсутствием доказательств», или просто на углу какой-то темной улочки, обычно пустынной, а некоторых убивают в толпе народа, порой даже на праздниках или во время процессии похорон прямо на кладбище... Убийцы, обычно молодые люди, не уважают ничего, даже старые «табу», запреты, освященные временем. Они убивают, как закуривают сигарету, в полном спокойствии, без зазрения совести, банально, «рубиноно»: это их обычная работа. И она должна быть «хорошо сделана. И никаких слюней, ни слез. Без оглядки. Главное — не думать, идти только вперед, не останавливаться, иначе ястребы не будут летать в небе Неаполя, и в городе померкнет солнце и воцарится печаль. И уйдет из него шум безумного веселья, исчезнут его фантазии, его привычный беспорядок, и он перестанет жить...

...Размышляя на эту тему, я подумал об обещании, которое дал когда-то своему дяде, бывшему в молодости моряком, «морским волком», недаром родившемуся в Танжере. Я ему сказал тогда (он был уже тяжело болен, парализован), что обязательно посетю Неаполь, город, о котором он столько слышал, но не видел и только мечтал всегда, — ведь там был «просто настоящий оазис проституток». У него была особая страсть к этим «свободным женщинам», и каждую из них, с которой встречался, он называл именем города, куда прибывал на своем судне в порт... Та, что стала «Барселоной», была вполне себе элегантной дамой, богатой даже, но извращенной. Ночами она ему часто снилась...

Другую дядя называл «Танжеа» — иначе нельзя — ведь у родного города = «мужское имя» по-французски, хотя по-арабски звучит, как женское... О! Эта Танжеа была особой путаной — космополиткой, как и сам город; полиглоткой и чуть-чуть «грязноватее», чем «Барселона», о которой дядя часто вспоминал... Но «Танжеа» помогала ему забыть о ней. Не своей красотой и легендами о том, что она обладает «особым «особым обаянием», «таинственным даром» любви. Нет, скорее соблазняла его своим скверным характером, постоянной сменой настроений. Она доводила его до безумия. То назначала ему свидания, то заставляла дожидаться ее часами. Она пряталась, следила за ним. А когда он решал уехать, то бросалась ему на шею, обуреваемая страстью. Он уступал всегда этой странной девке. А она клялась, что больше никогда не заставит его ждать ее любви...

А меня что-то привлекало в его рассказах о ней. Может быть, он любил «Танжеу» потому, что она напоминала ему чем-то его прекрасную «Барселону»? У нее была та же страсть, но только груди — поменьше. Она была высокого роста, и часто танцевала фламенко... Злые языки болтали, что когда-то она была танцовщицей в кабаре Малаги, где забавляла туристов... Но дядя мой в это не верил. Он про-

сто запирался с ней в номере гостиницы, и день и ночь они занимались любовью... А когда отправлялся на своем рыбацком судне в море, то только о ней и думал. Он даже чуть было не лишился из-за нее своей работы, — она просто околдовала его. Говорят, что на севере Марокко колдовство — в порядке вещей, дело обычное. Женщинам нравится обладать мужчинами, они только делают вид, что зависимы от них. И «Танжеа» тоже, как и все марокканки, выходила на улицу в покрывале, закрыв лицо до самых глаз. Носила плотно прилежавшие к телу галабеи. И только становилась еще привлекательнее. Да шла по улице, словно пританцовывая... Специально прикидывалась вульгарной, оставаясь с мужчинами, соблазняя их своей небрежностью, вызывающим макияжем, жевала жвачку... Говорила, что становится безумной, когда дует восточный ветер. И тогда бросалась в руки первому встречному матросу... Дядя ничего не мог с ней поделать... Только пил кофе и боролся со своими мигренями, глотая испанский аспирин, от которого болел желудок. И ничего не мог поделать со страстями «Танжеи», которые вспыхивали каждый раз, когда дул горячий ветер с востока, заставляя ее принадлежать другим, а не ему. А она заставляла его страдать больше, чем «Барселона». И тогда он называл ее «хищницей»... Дядя мечтал всю жизнь о Неаполе, он полагал, что там женщины не так распутны. Но горды и прекрасны. И называл их, как прежних своих возлюбленных, по имени города — «Наполита».

Я дал ему слово, что когда поеду в Неаполь, обязательно найду ее... И встретил такую «Наполиту» на центральном вокзале, плохо одетую, непричесанную, грязноватую, с неухоженными ногтями, тащившую сумку со старым тряпьем. У нее был такой вид, что можно было подумать, что она пережила какой-то кошмар, или долго не спала. Глаза ее сузились, взор блуждал, наверное, ждала кого-то. Из поезда выходило много сицилийцев, и ни один не взглянул на нее. Только безработные африканцы крутились вокруг нее, не

зная, что ей сказать или предложить. Какой-то деловой человек, видимо миланец, толкнул ее, проходя мимо, не извинился. А она плюнула в него, и плевок попал ему в затылок. Она была довольна, разразилась смехом. Через минуту к ней приблизились двое элегантных мужчин и, не говоря ни слова, взяли у нее ее сумку, передав ей какой-то маленький черный чемоданчик. И молча ушли, растворившись в толпе. Она выпила кофе и пошла в туалет. Через какое-то время вышла оттуда, преобразившись в красивую, элегантную, надменную женщину с маленьким чемоданчиком. И пошла, растолкнув группу африканцев, продававших какие-то кожаные контрафактные кошельки и сумочки («от Кардена», «Луи Веттона», «Картье» и т.д.). Она прошлась прошлась и по коврику, на котором были расположены для продажи защитные очки. Потом села в такси и исчезла в пробках, знаменитых в Европе...

...Ее интересовало в жизни только одно — ее способность пленять мужчин. Она с усмешкой смотрела на жизнь. Знала, что порой приходится «обслуживать» тех, кто платил ей, порой по четыре, а то и по шесть раз в день... Полагала, что это неизбежно, раз в Неаполе индекс преступности выше, чем в Лос-Анджелесе. Может потому этот город — и самый оживленный, безумный даже, не похожий на американские города, где «каждый делает, что хочет, и у каждого — свой закон». Словом, Наполита была свободной. И мятежной. Не принадлежала никому. И порой позволяла себе и откровенно продемонстрировать свое презрение к тем, что считал себя «благоразумными». Она подсчитывала умерших друзей. Оплакивала их. А однажды я видел «Наполиту» в гневе: какие-то чужаки, иностранцы заполонили территорию, где продавались наркотики и раздавали их подросткам... И она объявила пришельцам войну: «Героин — еще ладно, — говорила она мне. — Но не детям же, они ведь умрут! Я сыта по горло трупами и не желаю видеть, как умирают беззащитные создания. Я люб-

лю детей. И деньги тоже люблю. Но не приносить же ради них детей в жертву! Мне хватает на жизнь. И хватает даже на то, чтобы платить тем, кто обслуживает мой трафик наркотиками, а их немало, тысячи три будет. Торговля эта приносит достаточную прибыль, во всяком случае бóльшую, чем от торговли сигаретами и поддельным алко-голем», — размышляла она. И безжалостно, как и всегда, расправилась с противником... Она знала, что войну выиграет всегда, и будет «бессмертной»... Хотя жизнь и немного значит. Но она останется навсегда той, кто будет прекрасен во всех своих нарядах, и светлых, и черных; той, кто не любит никого, но весь мир не может жить без нее...

Мой дядя долго воображал ее, уже навсегда осевший в Танжере, как нечто прекрасное. Наверное, целое десятилетие жил только ее образом. Он уносился на крыльях мечты высоко, в звездное небо, и утешался... А о том, что я мог видеть поутру в Неаполе лежащих на тротуаре мужчин с пулей в затылке, — думать не хотел, полагал, что «всё это — какое-то недоразумение». Мысль о том, что это было беспощадным «сведением счетов» каморры, к которой принадлежат эти «Наполиты», кто «переходит им дорогу», никогда бы не пришла ему в голову. А надо знать, что «Наполита» жизнь, как таковую, не ценит. Зачем? Ведь она считает себя «бессмертной». Но дядя не слышал никогда ни о какой «каморре». О мафии вообще знает, но не о неаполитанской. Хотя очевидно же, что она — только «звено» первой. А «Наполита» была давно опутана этой цепью. И не жалела ни о чем. Покупала себе имущество, недвижимость, драгоценности, корабли и даже целые острова, людей... Царила со своими миллиардами долларов... И давно уже имела не лицо желающей обладания над всеми мужчинами женщины (как «Танжеа»), но облик чудовища, которое пожирает всё, не брезгуя ничем... А Преступление — весьма эффективное средство. Хорошо, что дяде повезло, что не был замешан ни в чем, что сам не был убит своей

«Наполитой», хотя, наверное, она и унижала бы его, а он просил бы только ее любви и приносил бы ей букеты роз. А она частенько посылала бы его к черту со всеми «его чувствами»...

...Когда я покидал Неаполь, то сильно дождало. Небо было черным, и «Наполита» была в плохом настроении... Что-то не ладилось с приготовлением к встрече желающих тогда посетить чемпионат мира по футболу... Перед отъездом она соблаговолила уделить мне время и поговорить со мной о моем дяде. «Что это за чудик, который к своим возлюбленным посылает своего племянника? Я ей объяснял, что этот человек болен, но образ Прекрасной «Наполиты» согревает его душу, что я во многом согласился на свое путешествие по Италии благодаря старику, и даже пообещал ему привезти записанную на пленку беседу с ней. «Скажите ему что-нибудь нежное. Что сожалеете, что не знакомы с ним, но знаете о его былых "подвигах", что слава о нем дошла и до Италии, преодолела море...» Забавно, но ее это растрогало. Она взяла микрофон и прошептала нежные слова, которые знают только такие вот «девахи» с большим сердцем и умеют их произносить в нужное время: «Я представляю себе тебя как восточного принца, прибывшего к нам на ладье контрабандистов. Влюбленного и не ведающего страха. Я вижу тебя на высокой скале во время морского прилива, где ты ожидаешь своих возлюбленных. Всех. И благословляешь небо, что послало тебя на смерть в Неаполь. А я плачу, глядя на тебя. Закрыв лицо дрожащими ладонями... Конечно, ты смешон, но мне жаль тебя. Ты такой искренний... Мне как-то говорили, что Танжер мог бы стать одним из моих филиалов (в этом слове — *filial* — есть «дочерний» смысл, а «Наролита» мечтала о детях)... И он чуть было и не стал, а ведь было время, когда там была и наша гавань, где отдыхали наши бандиты... И даже заходили в темные улочки и тупички этого города. Но там воцарялся уже новый порядок, и город охватили лень и не-

подвижность бытия... Но всё это уже не имеет значения. И если увидимся, я подарю тебе ночь любви. И безумия. До встречи!»

...Она похлопала меня по щеке. А я смотрел на тучи, приближавшиеся к Неаполю...

...Уже после смерти дяди, в могилу которого я опустил свой магнитофон с записью голоса «Наполиты» (я был уверен, что дядя будет вечно слушать его), итальянское консульство в Танжере передало мне письмо из Неаполя на мое имя. Конверт пах духами. И я подумал, что это весьма странно. «...Хочу вам сказать, что я не изменилась. Я всё та же женщина с блуждающей душой, и забываю порой о хороших манерах. Я все также не чту законы и смеюсь над “хорошими нравами”... Я потолстела. И мне тяжело носить в себе столько секретов и столько трупов, но я это все жрала только для того, чтобы спасти своих друзей... Порой я выплевываю их, и они, как призраки, бродят по старым дворцам и даже улетают в соседние империи... Но это не приносит облегчения. Я — как старая мать, которая все еще кормит своих детей... А у меня их много... Но я их всех люблю, даже если они — ужасны. Жду вас к себе. Надеюсь на встречу... *Napolita*».

Так что «Слепой ангел», на этот раз, роман — без особой надежды автора увидеть Свет в родной стране. Разве что случатся очередные перемены...

На фоне всего написанного Т. Бенджеллуном в 90-е годы «Слепой ангел», видимо, был попыткой, еще раз смещая границы реального и воображаемого, «предупредить» страну и свой народ и о возможных переменах к худшему, видя, как западное влияние не всегда бывает только сопряжено с «прогрессом» и эволюцией — и человека, и общества. Но и сам Запад все чаще открывался писателю не только в наблюдениях за жизнью там своих соотечественников — и тяжелой, как в 60–70-е годы, и порядком изменившейся частично даже «аккомодировавшейся» к условиям внут-

ренного развития Франции и даже немало усвоившей из уроков жизни своих родителей-эмигрантов и первой — довоенной, и второй — послевоенной, и третьей — после событий, связанных с уже постколониальной реальностью своих стран — волн магрибинской эмиграции (романы «Опустив глаза», «Гроздь каторги» и др.). Писатель, а Т. Бенджеллун писатель особый, он еще и поэт, и публицист, и журналист, и социолог, видел многое, что порой укладывалось и в большие повествования, как «Слепой ангел» или «Приют для бедных» («Auberge des pauvres». Р., 1999), а порой и в остро актуальные «заметки», хотя и для газет или журналов, но почти оформленные с точки зрения стиля как небольшие новеллы («Un pays sur les nerfs». Р., 2017).

В «Приюте» — речь идет об изменении самого облика Европы (на примере Италии, в частности) под наплывом беженцев из Африки и Азии, «подпольно» наводняющих своими обычаями, привычками, своими «требованиями» к жизни, запахами своей кухни, звуками своих праздников, своими радостями и недовольствами, своими, казалось бы, «недопустимыми» протестами против открывшего им двери общества — «иногo, республиканского, со своей религией, своими устоями и своими принципами. Описывая «дно» итальянских городов, тайной и явной жизни «темных закоулков» Неаполя, где царят «Наполиты» (этот образ снова возникает в романе), слушая «исповеди» сенегальцев, да и своих соотечественников, покинувших древний Марракеш и совершивших «прыжок» из пустыни отчаяния, нищеты в «город у моря» с надеждой испытать «свежий глоток Свободы» от засухи «застоя прошлого», «безысходности» «вечного страха», писатель в общем-то рисует все ту же неприглядную картину жизни эмигрантов как и в Париже, и в других городах и столицах Европы, с которой знаком каждый, кто имеет возможность путешествовать по миру. Но если во Франции такая «картина» вырисовыва-

лась уже издавна, еще в начале 50-х годов, потом только усугубляясь «темными мазками» 70-х, а в 80-х уже и откровенными свидетельствами трансформации французского общества в полиэтническое и поликофессиональное (демонстрации «бёров», потомков эмигрантов), исполненное острых противоречий, разрешаемых порой (особенно уже на исходе 90-х и в начале 2000-х) кровавыми конфликтами, живущее в напряжении и тревоге ожидания очередных терактов, — то в Италии активное проникновение Африки (а сейчас особенно и Азии), началась где-то на исходе 90-х. Тогда те, кто знал Италию не «понаслышке», как я, а реально, немало удивлялись, как это могут в такой глубинке, как Abruzzo, где-то в горах, мелькать яркие головные платки, завязанные бантом, и светиться на солнце золотые кольца в ушах сенегалок, черный цвет кожи которых просто «не вписывался» в местный иссиня-зеленый пейзаж. Однако они уже, эти сенегалки (а сколько было и других африканцев) работали прислугой, нянями в домах богатых (и не очень) итальянцев, плативших гроши за их труд, за который «белая прислуга» требовала в сто крат больше... А «нелегалам», с трудом пробравшимся на Запад, порой рискуя жизнью, переплывая на лодках подпольных торговцев людским товаром (Италия совсем ведь близко расположена к Тунису, откуда и сегодня плывут «беженцы»), платят и по сей день и в городах, и в селениях (а на плантациях виноградников можно порой и не платить вовсе; кормить, чем придется, да изредка разрешать помыться). Перетерпят, ведь у многих нет не только «права на гражданство» или на пребывание в стране, но и паспорта вообще. Но исход в Европу и в Африке, и в Азии, и на Ближнем Востоке — продолжается, и люди бегут навстречу с «новым миром», не ведая об опасностях его «строгих законов».

И если сегодня в нарядном и оживленном Риме (как и в городах Адриатики) вам будут постоянно встречаться «африканцы» или «азиаты» (особенно выходцы из Бангладеш),

торгующие каким-то мелким товаром или зеленью, настойчиво предлагающих вам что-то у них купить, не удивляйтесь их «агрессивности», — ведь это всё зависимые от своих «новых хозяев» несчастные люди, обретшие свой искомый рай как нечто уже совсем безысходное, — ведь из «джунглей» Европы уехать или быть высланными «обратно», по требованию законных Властей, это в лучшем случае, попробовать вернуться в оставленный «ад жизни». А там никто никого не ждет и даже порой не прощает эмигрантов (см. роман М. Диба «Если захочет Дьявол...», 1998 — яркий пример). А если и «откроют двери» — обратно, «в свою страну», то деньги, с трудом и страхом собранные в Европе, как-нибудь, всеми правдами и неправдами, отберут, и родная земля только станет местом, где можно умереть от вечного ожидания счастья... Т. Бенджеллун этот «возврат», даже добровольный, показал в романе «Домой!», прибегнув к образу «добропорядочного эмигранта» как процессу нескончаемого в душе человека пути «обретения покоя и счастья», удержания «родных корней», но и безнадежной утраты «радужных» горизонтов жизни, в которой бушуют всполохи костров «страстей» современности. Т. Бенджеллун зафиксировал уже документально — эти «огневые точки» реальности XXI в. в книгах и о «Революции жасминов» в Тунисе (2011 г.), и в сборнике своих статей во французском журнале «Le I» (учрежденном как и остроактуальное, но и «серьезное» издание не так давно, только в 2014 г.), который он назвал «Un pays sur les nerfs» (2017), т.е. «Страна на нервах», имея в виду Францию, но реальность, которой свидетельствует только о том, что и Запад, и Восток сегодня вынужденно или по исторически сложившимся обстоятельствам (война в Алжире, колониализм в целом, последствия постколониальной реальности оставленных и в Африке, и Азии стран) уже не просто сосуществуют как бы параллельно, но радикально изменяя и себя, и мир по причинам, иногда весьма скорбным. Это и

«обскурантизм» политического исламизма, но и неспособность Запада оправдать свои когда-то звучавшие призывом слова о Свободе, Равенстве и Братстве»...

Я не могу сказать, что писатель постепенно утрачивал юношеские иллюзии о возможности изменения миропорядка хотя бы в родной стране. Были разные периоды и в его жизни, и в его творчестве. Он, конечно, оставался всегда верен «правде» воссоздаваемого, будь то в воображении или в зарисовках и интерпретации окружающей реальности. А она, эта «правда», рождалась, естественно, из тех основных принципов его жизни, которым он не изменял даже в «переломные моменты» и Истории, и личной судьбы. Правильные они или нет, судить тем, кто читает его книги, а не только его горькие памфлеты («Левые на лестнице», «Ваххабизм или ислам, забывший о боге», «Обывательский антисемитизм», «Проклятая участь алжирской войны за независимость» и др. из книги «Un pays sur les nerfs») или его роман «Огнем» (2011), посвященный горестным событиям и последствиям тунисской «революции жасминов». Писатель не только «романтик», но и трезвый «реалист», оценивающий окружающий мир с позиций тех, кто еще не утратил веры в необходимость преобразования мира по законам справедливости, чести, совести и даже Красоты и Гармонии. «Шрамы памяти», конечно, болят. И Время не лечит. Но хотелось бы закончить свое повествование о Т. Бенджеллуне не взглядом на его «прозу» — художественную и документальную, но на его поэзию, с которой я и начала свой рассказ. И как подтверждение верности его юношеским порывам «взятия слова», озвучания «голосов провидцев» (и Настоящего, и Будущего) — сборник стихов «Пусть зарубцуется рана» («Que la blessure se ferme». Р., 2012). Эта рана — и боль печальных воспоминаний о превратностях судьбы, о «печали родной страны», и осознания своего «одиночества» на чужбине, и даже бессилия «изменить мир», где «всегда что-то начинается», но и

быстро проходит, где полно потерь и безвозвратных утрат, где преодолевают сомнения; где люди порой «застывают, как камни», и только Время может вселить в них «дух» и «зажечь огонь творчества». В нем — даже если человек «сам себя истощает», будет жить «иллюзия» его Надежды, и ее Свет не угасят даже «холодные, как снег, слова»... В этих строчках из «белых стихов» Т. Бенджеллуна, а их много, один «темп», общий ритм, или в точном переводе слова «Темпо» (как музыкального термина) — Время. И оно словно конденсируется в заключительных строфах этой книги (а в сборнике есть и прозаические тексты), короткие, как «афоризмы», как итог авторских размышлений:

*Тот, кто медленно шел по дорогам Чужбины,
Знает, как хмурится небо.
Знает, что больно смеяться сквозь слезы,
Знает, что не дождется забвения,
Знает, что не увидит плодов, которые ждет...
...Одиночество — не ремесло или умение
Жить, как «завтракая на траве»,
Как праздник с друзьями...
Убежища просить в другой стране — бесчестье...
Но рану эту надо претерпеть
Иль просто проглотить,
Надеясь только, что однажды
Мы счастье ощутим
Иль здесь, иль там... (с. 99)*

И в Заключении своем автор книги «Пусть зарубцуется рана» просто написал то, что обычно пишут в «предисловиях» — или составители, или сами авторы — о «цели» и «задачах» произведения: «К регистру своих молитв человеку надо обязательно добавить звучание своей Надежды... «О, господи, дай ее мне!.. Пусть останется она с нами до конца нашего пути, пока есть силы идти и преодолевать

невозможное, воображать Мечту и оставаться с ней навсегда» (с. 133).

Пусть это станет заветом писателя, создавшего много и разных книг, но объединенных этой «молитвой» — не об «отсутствующем» (хотя и желаемом), но просто Необходимом.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Писать о творчестве Тахара Бенджеллуна можно еще много и долго — в его багаже и десятки романов, и сборники поэзии, обширная публицистика и новеллистика. В полученном мной Собрании его романов¹ — почти полторы тысячи страниц, изданных мелким шрифтом. В этой книге отобрано Издателем, а может быть, и самим автором только одиннадцать весьма ярких произведений, среди которых есть и «проиллюстрированные» мной выше, и те, о которых я не упомянула («Семейное счастье» и «Брак по удовольствию»²), — книги сами по себе очень хорошие, драматичные, глубоко психологические, и даже остроактуальные (последняя — о трагедиях африканских беженцев), но не совсем вписавшиеся в предложенный мной тот аспект творчества, в котором очевидна изначальная, хотя и поразному варьирующаяся концепция писателя — «Взятие слова» как повествования прежде о своей стране и своих соотечественниках. Она, эта концепция, была очевидна и в юношеских стихах Т. Бенджеллуна, и в тех произведениях, которые были представлены выше. И не случайно, что и в указанное Собрание его прозаических сочинений включены и образцы его ранних стихов, которые названы писателем «Подпольная лирика» («La poésie clandestine»), неопубликованная никогда ранее. И в ней — уже мотивы и интонации «Миндальных деревьев, умерших от ран», и «Людей под саваном молчания», и «Харруды». Но как бы ставшая «концепцией» этого голоса, давно уже рвавшегося из «Подполья» на «Свободу», воплотилась именно в «Харруде», а далее и «Писаре», и дилогии «Песчаное дитя»,

¹ Ben Jelloun T. Romans. P.: Gallimard, 2017.

² Ben Jelloun T. Le bonheur conjugal. P., 2012; Le mariage de plaisir. P., 2016.

«Священная ночь», и в «Мохе-безумце», да и в «Молитве об отсутствующем». Она стала развернутой во времени и пространстве той мелодией, которая жила в писателе как желание «отражения Правды». И не важно, в каких формах и способах передачи зова своей души работал писатель, — прибегал ли только к воображению, совмещал ли его с реальностью окружающего, или же преимущественно — особенно в 90-е и 2000-е годы — отражая «вызовы современности», горячие «всполохи» ее, но так или иначе касающиеся Марокко, и в своей прозе, и публицистике, и поэзии, и новеллистике («Уехать!», «Человек расколотый», «Пусть зарубцуется моя рана», «Первая любовь — всегда последняя», «Домой», «Огнем», «Страна на нервах» и мн. др.) — Т. Бенджеллун оставался верен своей манере выражения «Правды жизни», даже если пользовался приемом включения потока воспоминаний («День молчания в Танжере») и прибегая к символизации неких образов, тенденций или «вызовов» современного мира («Слепой ангел», «О матери» и др.). Но когда литературные критики на Западе обращаются к творчеству марокканца, отмечая его заслуги только в парадигме его сравнения со «знаковыми» именами европейской или американской словесности (что само по себе неплохо, — значит, писатель соответствует мировому «уровню!»), то это вовсе не выявляет ни смысла его преднамеренной «похожести на других», ни предназначенных собственных усилий художника и «усвоить» пространство Слова мировой литературы, и «освоить» его, и так «взять», чтобы зазвучал в нем и голос собственный, и голос его земли, и те проблемы окружающего мира, которые становятся для Т. Бенджеллуна и уроком Истории, и трагедией Настоящего времени.

Поэтому, когда после выхода в свет романа «День молчания в Танжере», итальянцы сравнили Т. Бенджеллуна с М. Бютором (одним из мэтров школы французского «ново-

го романа»³) я перестала искать подтверждения или, наоборот, опровержения моих собственных представлений о творчестве писателя в трудах моих уважаемых коллег, излюбленным методом которых является только поиск неких «отражений» Света звезд обычно северного полушария неба мировой культуры в явлениях, пусть и выросших, но уже давно окрепших в его «лоне», укоренившихся в собственном замысле и вполне самостоятельно развивающихся в собственном русле. Так уже было не раз и с алжирцами — Катебом Ясином, к примеру, уже с 1956 г. его имя называли среди мэтров «нового» французского романа⁴. Но сам по себе великий писатель, один из основоположников алжирского современного романа, создав свою «Неджму» как некий метафорический вариант «другой», но «извечной» реальности своей страны, всегда страдавшей от нашествий чужеземцев, но и всегда остававшейся верной своей свободе, меньше всего думал, что пишет некий «новый роман» как произведение, неподвластное никакой логике, как «поток» разных ситуаций. Ведь его героиня всегда ускользающая от всех своих «женихов», «невеста», разрушающая все их «помыслы» овладения ею, остающаяся всегда свободной, Неджма («Звезда») становится в его «нелинейном» повествовании, ведущемся из уст разных рассказчиков, именно символом его Родной страны, в те годы еще сражавшейся за свою Независимость от французов.

Да и алжирца Рашида Буджедру с 70-х годов и далее анализировали только в плане абсолютно «постмодернистского» творчества, подчеркивая его «страсть» к «потoku сознания», «самоповторению», к выстраиванию собственного «метатекста» и пр. и пр. и, углубляясь в дебри его «формотворчества»⁵, как бы меньше всего замечали, *во имя чего* художник творит эту свою удивительную манеру, за-

³ См. в: Panorama. Novembre 1989.

⁴ См., например, в: Kateb Yacine. Boucherie de l'espérance. P., 1996.

⁵ См., напр. сб. статей: «La passion de la modernité». P., 1990.

печатлевшую бурно, протестно и гневно ту подлинную реальность Алжира, где всё еще царит «беспорядок вещей», не соответствующий страстной юношеской мечте писателя «избавиться от тления» прошлого, «вывернуть» мир на «лицевую сторону», выбраться из его «тупиков» и «лабиринтов».

Обычно любые сравнения франкоязычных магрибинцев с «кем-то» (ведь и алжирского франкоязычного классика М. Дибя долго «различали» только в ключе «неореализма»⁶) только подтверждают способность многих писателей нового и новейшего времени Магриба к некоему, если и повторению Прошлого, то скорее в плане трансформации (или собственной аранжировке) уже ставших «классическими» образцов европейской Традиции для создания своих национальных «вариантов», а порой и переосмыслению их в окружении Настоящего и в перспективе Будущего.

У каждого писателя были, конечно, в арсенале свои образы мира, их окружающего, но у них — на «кончике пера» уже есть и опыт мировой культуры⁷.

⁶ См., к примеру: Джугашвили Г. Современный алжирский франкоязычный роман. М., 1973. Для «сравнения» можно порекомендовать наше прочтение творчества М. Дибя: «Обречение Авеля». М., 2020.

⁷ Вообще, если отыскивать в творчестве любого художника (не только «слова», но и изобразительного искусства, и музыки и др.) только его «схожесть» с кем-то из предшественников или современников, или только их «непохожесть» на что бы то ни было, то *самобытность* и *самостоятельность* таланта могут раствориться под грузом либо традиций, либо «инноваций», хотя это очевидно взаимообусловленные явления. [Иначе и «байрониста» А. С. Пушкина можно сделать «отцом» сюрреализма (вспомним «сон Татьяны» из «Евгения Онегина» и, в целом, всю «даль свободного романа», открывающую и перспективы и для неких уже в 30-е гг. XX в. «Улиссов», свершающих свои путешествия в глубь истории всей своей жизни и возвращаясь к себе в один единственный хотя и не ночь, но день). Что уж говорить о гиганте Л. Н. Толстом, о его сне Анны Карениной где как бы давно открыты двери джойсову «потoku сознания»... (Но и эпопею свою о «Войне и мире» он сотворил ведь как собственную «Одиссею», блуждая в океане своих воспоминаний и раздумий...). Не говорю уж о Ф. М. Достоевском — «отце психологического реализма» и повсеместно признанного «отцом современного детектива» и т.д.] В целом для интересующихся сравнительным способом анализа художественного творчества магрибинцев можно порекомендовать коллективный труд Университета Туниса, основанный на докладах на международном коллоквиуме «La Littérature maghrébine d'expression française entre cliché, lieu commun et originalité», 2000.

Вернувшись к Т. Бенджеллуну, можно заметить и то, что, к примеру, его «День молчания в Танжере» тоже можно считать созданным в ключе Д. Джойса: чем нескон-

...Когда-то, по-своему вступая в диалог (ставший полемикой) с мэтром теории «нулевого градуса словесности» — структуралистом Р. Бартом⁸, убежденным в том, что любой «текст» литературы — *нейтрален* и лишь обретает смысл в воображении читателя, Т. Бенджеллун уже в своей «Харруде», даже прибегая к обильной цитации из знаменитого творения Барта, определившего и «тупики» постмодернизма, как бы подтвердил прямо противоположное, создав текст своей «Харруды» как совокупность разных основ (и мифологии, и религии, и реальности, и поэзии, и прозы). Эффект случился обратный бартовскому «тексту», — повествование не обесмыслено «новыми веяниями», но лишь уплотнено разными «знаками». «Пространство» слов, которыми написана «Харруда», оказалось достаточно объемным и надежным, чтобы вместить символику «взятия слова».

И уже прямо противопоставляя свою концепцию «*la prise de la parole*» концепции Р. Барта, Бенджеллун отмечал позднее в одном из своих интервью: «Надо было вовремя сказать слово обществу, которое не хочет его слышать, отрицает его существование, когда речь идет о женщине, осмеливающейся говорить. Это «взятие слова», возможно, иллюзорно, потому что слова эти “произносит” за нее в книге автор. Но самое главное в этом даже не “прямом” ее слове то, что она вообще его произносит. “Взятие слова” — это уже занятие позиции в обществе, которое отказывает в этом женщине. “Взятие слова”, сама инициатива выступления (даже если оно спровоцировано) — это политический манифест, подлинная контестация застоя. В том контексте, где слово — обычное явление, молчание тоже может быть

чаемое путешествие Отца по Прошлому и Настоящему в *один дождливый день* отличается от «Улисса»?.. Или в названии романа «Слепой ангел» (т.е. не видящий Зла, творящегося на земле) разве не отмечается воздействие того, которое дал в 1945 г. Карло Леви своему неореалистическому роману «Христос остановился в Эболи», т.е. не пришел туда, где царил «бед». Можно длить «сходства» до бесконечности...

⁸ Barthes R. *Dégré zero de l'écriture*. P., 1953.

позицией. Но в данном конкретном социальном контексте, где слово никогда никому не дается, молчание теряет свою значимость. Немота составляет единое целое со всей обстановкой в стране. Она заложена в природу вещей. В каждом обществе есть свой экран, на котором возникают только так или иначе разрешенные знаки. А всё, что за пределами этой знаковой системы, — осуждается. Для нас такой системой был всегда только «Коран»»⁹.

Но ведь и текст «Харруды», без последовательно развивающегося «сюжета» и «действия», текст нелинейный, традиционной романной технике (и даже «неореалистической») не подчиненный, зависимый от фантазии, воображения, которому следует содержание, — тоже чем-то напоминает древние «озарения», да и «пророков» разных в его творчестве немало... И еще позднее, автор скажет, что «...фантазия позволяет мечтать, возвращаться к поэзии и превращать воображаемое в реальность!.. И хотя собственно реального в его книгах предостаточно, и время от времени писатель, «насыщая историей реальность», обращая свой взор к прямо «актуальной» действительности, все еще пытается рассказать о ней «максимальному количеству людей, в надежде быть услышанным»¹⁰.

Так и происходит. И не только с «Харрудой». Книги Т. Бенджеллуна переведены на разные языки, и голос его слышен и на Востоке, и на Западе. Видимо, сумел все-таки писатель, следуя и традициям своих предшественников, и создав свою манеру писать, укрепляясь в своем очевидном влиянии на творчество современников-магрибинцев, «сорвать саван молчания» с той Земли, которой остается предан всю жизнь¹¹.

⁹ Jeune Afrique. № 486.

¹⁰ Ibid. № 684.

¹¹ Поставив точку, взглянула в свою почту, я еще раз убедилась, что сказанное в заключение — абсолютная правда. Подтверждение этому и сегодня, 19 июня 2021 г. в очередном выступлении в прессе Т. Бенджеллуна, настойчиво напоминающего о необходимости решения давних территориальных конфликтов на юге Марокко, где люди устали от бесконечных войн, в которых виноват, как считает писатель, колониальный «раздел Магри-

*«Голос народа звучит
Тогда, когда мы говорим.
Прервав молчанье иль тишину,
А может быть, в битвы канун»¹².*

ба». См.: URL: https://fr.le360.ma/blog/le-coup-de-gueule/la-diplomatic-de-la-verite-242320?fbclid=IwAR1VV-FSt8TYqaIA6S-KplJawV2L2Y-FsJpNoVDyL5NrC_eWlvJDsZTiF5M

¹² Kateb Amazigh — in: Kateb Yacine. Minuit passé de douze heures. P., 1999.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тахар Бенджеллун

МОЙ ДОМ*

Мой старый дядюшка, каменщик, посмотрев однажды мою библиотеку, сказал мне: «Я вижу, что ее формируешь снизу вверх. Ну совсем, как я, когда строю свой дом». Я считаю его замечание точным. Позднее, познакомившись с Жаном Женэ, услышал его ремарку о моем творчестве: он считал, что у него должна быть солидная основа, и она не позволит оставлять произведения как бы незаконченными, как это происходит с моими романами. Я подумал, что мой дядюшка остался бы недоволен, услышав это из уст знаменитого француза. Но и я считаю, что каждая моя книга, маленькая ли или большая, роман ли это, или эссе, — все они только те самые кирпичи и кирпичики, которые, возлагаясь один на другой, следуя друг за другом, и сформируют, и построят однажды то самое жилище моих слов, раздумий и сомнений.

Когда надо было объединить несколько моих романов в один этот том, я должен был сделать выбор. С одной стороны, подобное издание не должно было быть слишком объемно — для удобства читателей. Но с другой стороны, надо было принять во внимание и то время, когда я намеревался это сделать. Тот же Ж. Женэ заметил, что для создания любого произведения необходимо «чувствовать нужный момент».

Но я знал и то, что это не всегда удастся, и что и другие мои произведения — это мой дом... И, конечно, эти одиннадцать романов, вошедших в мой том, это — для меня главное; но есть и другие, которые так или иначе связаны с

* «Ma maison» — фрагм. предисловия к собр. сочинений: Ben Jelloun T. Romans. P., 2017

этими и даже, наверное, лучше их, или их дополняют...

Когда я пишу, то считаю себя тем самым «*écrivain public*», которого в марокканском народе обычно называли писарем, который «записывал» слова тех, кто был неграмотным, но хотел отправить свои письма другому, или «уличными рассказчиками», которых и сейчас немало на площадях Марокко.

Я не пишу по плану. Не знаю, что будет дальше. У меня нет «границ безопасности». Меня это смущает, но и нравится. Потому что с утра меня уже переполняет что-то такое, мне самому малопонятное, но очень нужное. Слова сами ведут меня, воображение работает, я свободен и абсолютно погружен в мое дело, в творчество, которое дается теперь легко, хотя всё это добыто немалым трудом.

Во многом на меня повлияли кинематографисты, фильмы которых я люблю — японец Озу и испанец Луи Бюниэль... Ну, и такие писатели, как Джойс, Фолкнер, Бальзак, Пруст, Селин и Женэ... Они обострили во мне чувство необходимости писать и постоянно трудиться.

Мое воображение было моим самым верным, самым мобилизующим и самым амбициозным товарищем. По причине болезни, не позволявшей мне двигаться и играть, как все мои детские друзья, я призывал на помощь мое воображение и развил в себе способность придумывать другой мир, другую реальность. Мне было тогда то ли четыре, то ли пять лет. Моя мама помещала меня в большую плетеную корзину и занималась своими делами на кухне, куда часто приходили ее подруги. Я слушал их разговоры и запоминал обрывки случайных историй и рассказов. Не знал ни их начала, ни их конца, но всё воображал по-своему. Я спасался таким образом. Убегал от себя самого, немощного. Зато я научился жонглировать временем, и так как постоянно лежал, а дома в Фесе были с открытой крышей, смотрел в небо, на проплывающие облака, у которых были

переменчивые формы, похожие и на людей, и на игрушки, которыми я играл.

Я не был несчастным. Мои родители жаловались на постигшее их горе, считали меня обреченным. Но я выздоровел, и жизнь стала счастливой, простой, без игрушек и подарков. Мы были бедны, но никто на жизнь не жаловался. Даже если я мог сравнить жизнь своих кузин — детей и внуков каменщика — дяди, с моей, я ничего другого для себя не желал, не испытывал ни к кому никакой зависти. Я просто говорил себе, что счастлив. Потому что стал способным сам себе зарабатывать на жизнь с тех самых пор, как научился воображать другую реальность. Счастье, конечно, скромное, но настоящее. Я смеялся серьезно, если над чем-то смеялся. А потом и научился рассказывать свои истории за столом, и люди думали, что они — не выдуманные, настоящие. А когда-то я говорил маме, что это всё я сам придумал, она не хотела верить, — видимо, у нее не было чувства юмора. Отец, напротив, выдавал всем мои истории за подлинные, на полном серьезе, ибо обладал сам большой иронией и знал цену реальности. Мне оба они — и мать, и отец — помогли в творчестве. Мать научила относиться к нему серьезно, а отец — иронично...

Когда я задумывался о том, как получают мои истории, укладываются в книги, — тень каменщика-дяди склоняется надо мной, и я различаю и цемент, и воду, и кирпич, и способы его укладки... Ведь главное — воздвигнуть одну стену дома, потом — другую, третью, четвертую...

На самом деле я одной ногой стою на реальной почве, стою спокойно и уверенно, не колеблясь, а другой — в своем каменщицком деле, — строю дом, укладывая кирпичи своего воображения. Однажды, когда мне уже исполнилось 20 лет, увидел слова, написанные в одной арабской газете, которые показались мне каким-то негодным к строительству кирпичом, или просто сухим деревом, которое никогда не зазеленеет: «Пусть мне не говорят, — писал П. Низан, —

что 20 лет — это прекрасный возраст. Я никому никогда не позволю этого говорить». Я чувствовал по-другому.

Но и мою счастливую юность испортила тяжелая воинская повинность. Служба в армии была сущим наказанием. Полтора года познания реальности репрессий, лишение свободы и насилия над безумцами, оказывавшими сопротивление.

Другой мир. Там не было места моему воображению.

Потихоньку я писал свои стихи. Свои послания на тот случай, если раздастся приказ уничтожить и всех нас, военнообязанных. Так уже в истории случалось...

Когда я вернулся с воинской службы, я был битком набит историями, которые надо было рассказать. Совсем неслышными. Но я уже начал строить свой дом. Большой, не очень прямой, не очень правильный, наверное, но дом, в котором слова танцуют, как на празднике. Жизнь должна быть праздником...

Романы, собранные в одном томе, базируются на трех темах — Марокко, положение женщины, воображение другой реальности. Это — главные оси моей жизни. Они — как мостики между мной и моим творчеством, выросшем на уроках каменщика или архитектора...

...Я давно усвоил главное, в чем не сомневался никогда: иметь совесть и искать правду, несмотря ни на что, даже если надо перейти через горы или выбраться из лабиринта тесных и тупиковых улочек старых частей арабского города... Надо просто знать, куда идешь. Дойдешь ли? Вряд ли. Или никогда. Ведь дом поднимается от земли к небу. И он рискует обрушиться. Особенно тогда, когда тебя гипнотизируют неоновые огни какой-то блистательной, но пустой идеи.

(Из Предисловия к собр. сочинений, 8/II-2017 г.
Здесь и далее — пер. с фр. яз. — С. В. Прожогойной)

Тахар Бенджеллун

Посвящается Мирием

РАСИЗМ, ОБЪЯСНЕННЫЙ МОЕЙ ДОЧЕРИ*

— Папа, скажи, что такое расизм?

— Явление, достаточно распространенное, существующее во всех обществах и ставшее, увы, банальным, привычным в некоторых странах, потому что об этом особо не задумываются.

Расизм заставляет опасаться, даже презирать тех, у кого физические и культурные черты отличны от наших.

— Когда ты говоришь, что это явление существует везде, значит оно — нормальное?

— Нет. Это вовсе не означает того, что если явление — распространенное, значит, оно нормальное. Человеку вообще свойственна тенденция опасаться всего, что отличается от него самого, — иностранцев, к примеру. Этот тип человеческого поведения столь же древен, сколь и сам человек; это — универсальное качество, и оно существует повсюду в мире.

— Если это так, то и я могла бы быть расисткой!

— Ну, во-первых, спонтанная натура детей не располагает их к расизму. Ребенок расистом не рождается. И если его родители или близкие ему люди не вбили в его голову расистских идей, то у ребенка нет повода стать расистом.

* Ben Jelloun T. Le racisme expliqué à ma fille. P., 1998 (фрагмент). Эта книга была обязательным школьным пособием во Франции долгие годы, как и его работа «Islam, expliqué aux enfants». Казалось бы, здесь собраны простые истины. Однако, как показывает время, они еще не усвоены на Западе. И изданная на исходе XX в., книга Т. Бенджеллуна словно стала непрекращающимся объяснением того, что надо знать человеку с детства, если он живет в мире, где существуют бок о бок разные расы, народы и их религии (С. П.).

Но если, например, тебя заставят верить в то, что те, у кого кожа белого цвета, превосходят тех, у кого она — черная, и если ты всерьез воспримешь эти утверждения, то ты вполне можешь приобрести расистские взгляды и поведение по отношению к черным людям.

— А что значит «превосходить»?

— Ну, к примеру, полагать, что те, у кого кожа белого цвета, умнее цветных, черных или желтых. А физические черты человеческого тела, отличающие одних от других, вовсе не означают неравенства людей.

— Как ты считаешь, я могу вырасти расисткой?

— Стать расистом возможно, все зависит от воспитания, которое получил человек. Лучше о расизме все знать и помешать возникнуть в себе расизму. Надо хорошо усвоить мысль о том, что всякий ребенок или взрослый способен однажды почувствовать или ощутить в себе состояние неприятия того, кто ничего плохого тебе не сделал, но просто потому, что тот отличен от тебя, что тот — другой, не такой, как ты. И это часто случается. И такое плохое чувство, такая неприязнь могут возникнуть в каждом из нас. Нас могут раздражать люди, которые на нас непохожи, нам не привычны, и мы можем подумать, что мы-то лучше, чем они. Но будь то чувство своего превосходства или даже, наоборот, своей неполноценности по отношению к другому, неприязнь возникает, его отбрасывают, с ним не хотят жить рядом, его не желают иметь своим другом, и все это потому, что он — не такой, как я, что существует разница между ним и мной.

— Что такое *разность*?

— *Разность* — это то, что противоположно сходству, тому, что одинаково у всех. Изначальная разность людей — их половое различие. Мужчина отличен от женщины, и он это осознает. Она — также. Но когда речь идет о такой разности, то в этом случае она скорее провоцирует притяжение людей друг к другу.

Но о человеческой разности заходит речь и тогда, когда имеют в виду цвет кожи, другой национальный язык, другую пищу, не похожую на нашу, другие обычаи, религию, другой образ жизни, отличные, от наших, праздники и т.д. О **разности** людей могут свидетельствовать и цвет кожи, черты лица и другие физические свойства. Есть, конечно, **разность** и в поведении и в образе мыслей людей, — их ментальности, их верованиях и т.п.

— Тогда, значит, расист — это тот, кто не любит чужой язык, чужую кухню, чужой цвет кожи?

— Нет, это не совсем так. Расист может любить и выучить чужой язык и даже не один. Это ему может быть полезным в его работе или для его развлечения, но в то же время он может вынести негативное и несправедливое суждение о народах, которые говорят на этих языках. Таким же образом он может отказать в найме комнаты студенту-иностранцу, вьетнамцу, например, хотя может и любить при этом азиатскую кухню и посещать рестораны вьетнамцев. Расист — это тот, кто думает, что все то, что отлично от него, слишком разнится с ним, может угрожать его безопасности и спокойствию.

— Значит, этот расист полагает, что ему угрожают?

— Да, потому что он боится того, кто на него не похож. Расист — это тот, кто страдает либо от комплекса превосходства, либо от комплекса неполноценности. Но результат один и тот же: у расиста возникает чувство презрения к другому.

— Он боится?

— Всякое человеческое существо нуждается в том, чтобы быть уверенным в своей безопасности. А потому не любит особо то, что вызывает у него тревогу, неуверенность. У него всегда есть недоверие ко всему новому. И часто боятся именно то, что на знают. Как бояться темноты, потому что не видят, не знают, что может случиться, когда погашены огни. Человек чувствует себя незащищенным перед ли-

цом неизвестности. И начинает воображать ужасные вещи. Без всякого на то основания. Здесь нет никакой логики. Иногда просто вообще отсутствует какая-либо причина страха, и все-таки человек боится. И бесполезно его убеждать, он реагирует, ведет себя так, словно угроза существует реально. Расизм — это нечто, не поддающееся оправданию или объяснению.

— Папа, если расист это человек, который боится, то глава партии тех, кто не любит иностранцев, должен испытывать страх постоянно. Однако, всякий раз, когда он появляется на экране телевизора, страх возникает у меня, именно я начинаю бояться! Ведь он так орет, вопит, угрожает журналистам, стучит кулаком по столу!..

— Да, конечно, но этот человек, о котором ты говоришь, — политический деятель, известный своей агрессивностью. Его расизм выражается в манере грубой и жестокой. Он общается плохо и мало информированным людям ложные утверждения. Именно для того, чтобы они начали испытывать страх. Он эксплуатирует их чувство страха, иногда вполне обоснованное. Например, он им говорит, что иммигранты во Франции специально отнимают рабочие места у французов, приезжают сюда только за социальным обеспечением для своих семей, за бесплатным медицинским обслуживанием. Но это неправда. Иммигранты часто выполняют работу, от которой французы отказываются. Они платят налоги и делают исправные страховые взносы, что дает им социальную и медицинскую страховку. А потому и имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, когда болеют.

И если завтра, к несчастью, вышлют из Франции всех иммигрантов, то экономика страны просто рухнет.

— Я понимаю. У расистов нет оснований для страха.

— Но он боится иностранцев, чужого, того, кого он не знает, особенно если этот иностранец беднее, чем он. Он будет бояться и опасаться гораздо больше африканского

рабочего, чем американского миллиардера. Или если какой-нибудь арабский эмир приедет на каникулы на Лазурный берег, то ему, конечно/, распахнут объятья, — ведь он, хотя и приезжий, но уже не араб, а просто богатый человек, который явился во Францию тратить деньги.

— А что значит быть *étranger*? (чужестранцем, посторонним, чужим. — С. П.)?

— В этом слове есть в корне и тот смысл, в котором звучит понятие «странный, *«étrange»*, что означает одновременно и «с другой стороны», «издалека», «извне». Оно обозначает того, кто не принадлежит «семье», «клану», «племени», прибывшего из другой страны, города или деревни, все равно каких — близких или далеких. Это понятие породило и другое слово «ксенофобия», то есть то, что выражает страх и враждебность ко всему чужому, ко всему тому, что приходит, прибывает с «другой» стороны. Сегодня слово *«étrange»* (странный. — С. П.) определяет нечто экстраординарное, очень отличное от того, что привыкли видеть. У этого слова есть почти свой синоним: *«bizarre»* (чудной. — С. П.).

— Когда я езжу в гости к своей подружке в Нормандию, я тоже становлюсь там «чужестранкой», Чужой?

— Для жителей того края — ты парижанка, а значит, не «своя», да еще к тому же ты и марокканка по происхождению... Помнишь, как мы ездили в Сенегал? Так вот, для сенегальцев мы были чужестранцами.

— Но они, сенегальцы, не боялись же меня, как и я их!

— Да, но именно потому, что твоя мама и я объяснили тебе, что не надо бояться людей из других стран, бедные они или богатые, маленькие или высокие, белые или черные. И не забывай об этом! Другой человек всегда в чем-то чужой, отличный от тебя; всегда и везде есть люди, культура которых не похожа на твою и может казаться кому-то странной...

— И все-таки, папа, я не совсем поняла, почему расизм существует в общем-то повсюду?

— Когда-то очень давно, в обществах древних, называемых первобытными, человеческое поведение мало чем отличалось от животных. Кошка метит свою территорию, и если другая кошка или другое животное, попытается отнять у нее пищу или ее котят, то кошка начинает себя защищать, отстаивать своими когтями свою территорию, где она хочет ощущать себя в безопасности. Так и человек. Он любит свой дом, свою землю, свое достояние и сражается за них, когда надо. И это нормально. Но расист думает, что всякий чужестранец, которого он видит, всякий посторонний его «дому», посягает на его достояние. И начинает, не задумываясь, выражать свое подозрение, опасение, почти инстинктивно. Даже животное не вступает в борьбу до тех пор, пока на него не напали. А человек иногда атакует чужестранца просто так, без всяких у того намерений причинить кому-либо какой-то ущерб...

— И ты полагаешь, что это свойственно всякому обществу?

— Это обычное, достаточно распространенное явление. Хотя и нельзя сказать, что нормальное. Но просто человеку свойственно такое поведение издавна. Но есть природа и есть культура. Иначе говоря, есть инстинктивное поведение, безумная реакция, без всякого предварительного осознания последствий своих действий, и есть поведение осознанное, обретаемое в процессе воспитания, школьного обучения, заставляющее человека размышлять. Это то, что называют «культурой», в отличие от «природы». Культура учит человека жить в сообществе с другими людьми; она учит тому, что человек, люди в мире — не одни, что существуют разные народы, с другими традициями, с другим образом жизни и что все это имеет не меньшую значимость и ценность, чем наше собственное мироустройство.

— Если ты под словом «культура» подразумеваешь образование, то и расизму ведь можно обучиться...

— Да, расистом не рождаются, им становятся. И существует и хорошее, и дурное, плохое образование и воспитание. Все зависит от того, кто воспитывает, в школе ли, дома ли.

— Значит, животное, не получающее никакого воспитания, лучше, чем человек!

— Вернее будет сказать, что животное не имеет предвзятых чувств или предубеждений. А человек, наоборот, может иметь предрассудки и предубеждения. Он судит о других людях, даже не будучи знаком с ними, он полагает, что заранее все знает о них, чего они стоят. И часто ошибается. Отсюда и проистекает причина его страха. Но чтобы победить этот страх, человек порой даже прибегает к войне. Знаешь, когда я говорю о «страхе», это не значит, что человек дрожит от боязни. Напротив, его страх провоцирует в нем агрессивность; он как бы чувствует угрозу и потому нападет. Расист всегда агрессивен.

— Так, значит, войны возникают по причине расизма?

— Некоторые, да. В основе их лежит желание захватить чужое добро. Вот и используют идеологию расизма или же религию, чтобы подтолкнуть людей к ненависти, к презрению тех, кого они и не знают вовсе. Возникает боязнь чужого, страх потерять свой дом, свою работу, свою жену, — страх, который питается невежеством. Я не знаю, кто этот «чужой», а он не знает, кто я. Посмотри, к примеру, на наших соседей: они ведь долгое время с опаской смотрели на нас, до самого того момента, пока мы их не приглашаем в гости на кускус¹. И только тогда они поняли, что мы живем, как и они. В их глазах мы перестали быть теми, кто казались им опасными, несмотря на то, что мы родом из другой страны, Марокко. Пригласив их к себе домой, мы избавили их от подозрений. Мы поговорили друг с другом,

¹ Любимое блюдо североафриканцев (С. П.).

мы лучше узнали друг друга. Мы вместе посмеялись, а это значит, что мы не ощущали неловкости, чувствовали себя свободно, хотя раньше, встречаясь на лестнице мы едва здоровались друг с другом.

— Значит, чтобы бороться с расизмом, надо приглашать друг друга в гости!

— Хорошая идея. Учиться узнавать жизнь других, разговаривать с другими, вместе смеяться, попробовать научиться совместно делить и горе, и радость, не стесняться рассказывать о своих проблемах, — они у всех общие. Все это бы могло заставить отступить расизм. Люди должны путешествовать, — это хорошее средство получить узнать жизнь других народов. Еще Монтень (1533–1592 гг.) учил своих соотечественников, что путешествия — прекрасное средство, помогающее не просто наблюдать разные способы жизни, различия людей, но и «помериться с ними» своими собственными духовными способностями и умениями. Узнать других, чтобы лучше познать самих себя.

— Расизм существовал всегда?

— Да, с тех самых пор, как существует человек, хотя в каждую эпоху в своих формах. В древности, в доисторическое время, которое один из писателей назвал «войной за огонь», люди сражались друг с другом примитивным оружием, дубинами, за территорию, за хижины, за женщин, за пищу и т.д. Они укрепляли свои границы, застряли свое оружие. И все из-за страха, что у него все отнимут, захватят другие. Человек всегда боялся за свою безопасность, опасался соседей, посторонних, был одержим страхом.

— Расизм равнозначен войне?

— У войн бывают разные причины, чаще экономические. Но случается, что войны возникают и потому, что одна группа людей считает, что превосходит другую и может ее подавить. Такую причину, такой аспект войны, когда человеком овладевает инстинкт, можно преодолеть путем

убеждений, воспитанием, чтобы добиться цели искоренения страха перед соседом или посторонним.

— Так что же можно сделать?

— Учиться. Воспитываться. Размышлять. Стараться многое понять, интересоваться всем, что касается человека, уметь контролировать свои инстинкты и порывы, свою импульсивность.

— А что это такое?

— Это те действия, которые человек совершает бездумно, не поразмыслив, стремясь только к достижению своей цели. Часто это приводит к такому результату, когда другого человека принимают за врага, выталкивают, отталкивают. Это похоже на отвращение и связано с выражением отрицательных чувств и эмоций.

— Расист это тот, кто отталкивает от себя незнакомого человека, иностранца, потому что тот внушает ему отвращение?

— Да, расист прогоняет, изгоняет «чужого» просто потому, что тот ему не нравится, даже если никто ему не угрожает. А для того, чтобы оправдать свое насилие, свои грубые поступки, он выдумывает те аргументы, которые его устраивают, оправдывают. Иногда даже прибегает к помощи науки, хотя та никогда расизм не оправдывала. Расист может заставить людей поверить, что наука предоставляет неоспоримые доказательства его правоты. Но у расизма нет никакой научной базы, даже если люди и пытались воспользоваться научными данными для оправдания идей человеческой **дискриминации**.

— А что означает это слово?

— Это когда одна социальная или этническая группа отделяется от другой и плохо с ней обращается. Ну, к примеру, если бы в какой-то школе администрация решила сосредоточить в одном классе только черных учеников, посчитав их более слабыми, менее способными, чем другие учащиеся. К счастью, такого рода дискриминаций нет во

французских школах. Но в Америке и Южной Африке она существовала. Когда одну человеческую общность — этническую или религиозную — заставляют сгруппироваться и жить в изоляции от другой части населения, то в такого рода дискриминационных условиях и возникают **гетто**.

— Это что, тюрьмы?

— Слово «гетто» означает название маленького острова рядом с Венецией, в Италии. В 1516 году венецианские евреи были отправлены жить на этот остров, отдельно от других. Это своего рода заключение, — можно считать гетто некоей формой тюрьмы. Во всяком случае, это дискриминация.

— А какие могут быть научные обоснования у расистов?

— Их просто не существует, но расист, к примеру, может думать или заставлять людей верить в то, что человек может принадлежать к низшей расе. Значит, такого человека надо считать «чужим». Но это абсолютное заблуждение, потому что существует единый человеческий род в противоположность животным. У животных отличия внутри видов существуют: так, собака отличается от быка. Да и внутри одного вида случаются глубокие различия: среди собак есть представители разных пород (например, овчарку не спутаешь с таксой). Но для людей такие разделения невозможны, потому что каждый человек подобен другому.

— Но, папа, ведь говорят же, что этот человек — белой расы, а тот — черной или желтой. Мы это часто слышали в школе. Учительница нам говорила, что Абду, который родом из Мали, принадлежит к черной расе...

— Если твоя учительница на самом деле сказала такое, то она ошиблась. Я сожалею, что говорю тебе это, зная, что ты ее очень любишь, но тем не менее она совершила ошибку, сама того не осознавая.

Послушай меня хорошенько, дочка: человеческие расы не существуют. На земле живет один людской род, в котором есть мужчины и женщины, а среди них есть те, у кого

цвет кожи различен, как различен рост (высокий или маленький) и различны и многообразны способы существования. Разные **расы** существуют лишь в животном мире. И по отношению к человеку это слово — «раса» — не должно употребляться, когда хотят сказать о человеческом разнообразии. У этого слова нет научной базы. Им пользовались, когда хотели подчеркнуть или преувеличить эффекты внешних, физических, различий — цвета кожи, роста, черт лица. Но на физических различиях такого рода нельзя основываться для того, чтобы разделить человечество по иерархическому принципу, то есть никто не имеет права сказать, что существуют люди с высшим развитием по отношению к другим, которых отнесли к «нижней» категории. Иначе говоря, никто не имеет права полагать и, особенно, быть уверенным в том, что только потому, что у человека белая кожа, у него есть еще какие-то дополнительные качества по сравнению с теми, у кого кожа другого цвета. **Я предлагаю тебе больше никогда не употреблять слово «раса».** Его так долго эксплуатировали в своих гнусных целях непорядочные люди, что лучше заменить его другими словами: **«человеческий род».** Таким образом, человеческий род составлен из различных групп людей, у которых могут быть отличительные черты. Но у всех людей, у всех мужчин и у всех женщин нашей планеты кровь одного цвета, даже если цвет их кожи варьируется от черного к белому, и может быть розовым, коричневым, желтым или еще каким-либо другим...

— Почему у африканцев кожа — черная, а у европейцев — белая?

— Темный цвет кожи зависит от пигмента, который называется **меланин**. Этот пигмент существует у всех людей. Но у африканцев организм вырабатывает его больше, чем у европейцев или азиатов.

— Значит, мой друг Абду вырабатывает больше этого...

— Меланина. Это как бы красящее вещество.

— И у Абду его больше, чем у меня. А я знаю, что у нас у всех кровь — красного цвета; но когда маме понадобилась кровь, врач сказал, что твоя группа — другая...

— Да, существуют разные группы крови, их четыре: А, В, нулевая и АВ². Нулевая — это у универсальных доноров. А группа АВ — у тех, кому можно переливать любую. о это не имеет никакого отношения к вопросу о превосходстве или неполноценности той или иной группы людей. Различия находятся в культуре (языке, обычаях, ритуалах, кухне и т.д.). Помнишь Тама, вьетнамскую подругу твоей мамы, которая была ее донором. А мама ведь марокканка. Но и у нее, и у вьетнамки оказалась сходная группа крови. И они ведь принадлежат к очень разным культурам, и даже цвет кожи у них разный.

— Значит, если когда-нибудь моему малийскому другу Абду понадобится кровь, я смогу ему ее дать?

— В том случае, если у вас обоих она одной и той же группы.

— Кто бывает расистом?

— Под предлогом, что у него другой цвет кожи, другой язык, другой способ отмечать праздники, расист считает себя лучше того, от кого он отличается. Он настаивает на том, что существует несколько рас, и верит в то, что его раса — «лучше и благороднее», а все остальные люди «уродливы, похожи на животных».

— А лучшая раса, действительно не существует?

— Нет. Историки и в XVII, и в XIX веках пытались доказать, что существует белая раса, и она лучше в плане физическом и духовном, чем предполагаемая или черная раса. Тогда верили в то, что человечество разьединено на несколько рас. Один историк (Эрнест Ренан, 1823–1892 гг.) даже определил, какие человеческие группы принадлежат к «низшей расе», африканские негры, аборигены Австралии и американские индейцы. Он считал, что «чернокожий от-

² «Нулевая», где I группа крови, А = II, В = III, АВ = IV (С. II.).

носятся к человеку, как осел к лошади», то есть «это тот человек, которому не достает человеческой красоты и разумности»! Но, как говорит профессор медицины, специалист по изучению крови, «чистых рас в животном царстве не существует; это можно наблюдать только в лабораторных условиях, в опытах с мышами, к примеру». И добавляет: «существует гораздо больше социокультурных различий между китайцем, или малайцем, или французом, чем отличий генетических».

— А что такое социокультурные различия?

— Это то, что отличает одну человеческую группу от другой в способе организации общественной жизни (не забывай, что у всех людей свои традиции и обычаи) и то, что люди создают в качестве своего продукта культуры — музыка африканцев отличается от музыки европейцев. Культура одной человеческой группы отлична от другой. Это касается и свадебных обрядов, и праздников и т.п.

— А что такое **генетика**?

— Термин «генетический» определяет гены, то есть элементы, частицы, ответственные за наследственный фактор нашего организма. Один ген — это одна наследственная единица. Ты знаешь, что это такое, **наследственность**? Это то, что все родители передают своим детям: например, физические черты характера или психические. Похожесть некоторых черт характера и поведения родителей и их детей объясняется наследственностью.

— Значит, люди больше отличаются по своему воспитанию, чем по генам?

— В любом случае мы все различны между собой. Просто у кого-то есть общие наследственные признаки. Обычно такие люди группируются, образуют популяцию, которая отличается от другой своим способом жизни. Так и образовались различные человеческие группы, которых отличал цвет кожи, характер волосяного покрова, черты лица,

ну и культура. Когда такие группы смешиваются (в браке), то рождаются дети, которых называют «метисами».

Обычно метисы очень красивы. Смешение, «меланж», рождает красоту. Вообще метисизация — прекрасная баррикада против расизма.

— Но если мы все — разные, значит, похожесть не существует?..

— Каждое человеческое существо — уникально, единственно в своем роде. Во всем мире не найдется двух человек, абсолютно идентичных. Даже настоящие близнецы разнятся друг от друга. Особенность каждого человека в том, что он имеет только ему присущую самоличность. Он — единственен, то есть не заменим другим. Можно одного чиновника заместить другим, но точная репродукция того же самого человека невозможна. Каждый из нас может себе сказать: «Я не такой, как остальные», — и будет прав. Но сказать: «Я — уникален» не означает «быть лучшим». Уникальность — это констатация того, что каждое человеческое существо — единственно по-своему. Иначе говоря, каждое лицо — это чудо, единственное, неподражаемое.

— И я тоже?

— Конечно. Ты так же уникальна, как и твой друг Абду, как и Селина. На земле не найти двух совершенно сходных отпечатков пальцев. У каждого пальца — свой собственный отпечаток. Именно поэтому в детективах, полицейских фильмах все начинается со снятия отпечатков пальцев, оставленных на предметах, с целью идентификации тех людей, которые находились в том месте, где было совершено преступление...

— Но, папа, по телевизору недавно показывали овечку, которую сделали в двух экземплярах!

— Ты говоришь о том, что называют **клонированием**, то есть о факте репродукции какого-то объекта в сколь угодно количестве экземпляров. Это вполне возможно с неодушевленными предметами, и машины могут воспроиз-

водить идентичные вещи. Но с животными и особенно с людьми этого не стоит делать.

— Ты прав, я не хотела бы, чтобы в моем классе было две одинаковых Селины, хватит и одной.

— Подумай-ка, ведь если станут воспроизводить людей как печатать их фотокопии, то мир будет контролируемым, — ведь можно будет принять решение о размножении одних и уничтожении других людей. Это ужасно.

— И мне страшно... Даже лучшей подруги мне нужно в двух экземплярах!

— Да и вообще, если клонирование будет разрешено, опасные люди могут этим воспользоваться в своих целях, для своей выгоды, например, смогут захватить власть и раздавить, искоренить всех слабых. К счастью, человеческое существо — единственно и не репродуцируется в своей самоличности. Потому что каждый человек не идентичен ни своему близнецу, не похож на своего соседа, потому что все мы — разные, и можно поэтому сказать, что «богатство мира — в его разнообразии».

— Если я правильно поняла, то расист боится «чужого» потому, что невежественен, верит в то, что существуют разные расы и рассматривает свою как самую лучшую?

— Да, дочка. Но это не все. Ты забыла о жестокости, агрессии и желании доминировать, властвовать над другими.

— Расист — это тот, кто ошибается.

— Расисты убеждены, что человеческая группа, к которой они принадлежат (которую можно определить по религии, стране, языку), — превосходит другую, противоположную.

— А как они добиваются этого своего чувства превосходства над другими?

— Веря и заставляя других верить в то, что сама природа породила неравенство в плане физическом, то есть внешнем, в плане культурном. А это и рождает у них чувство своего превосходства над другими. Некоторые обра-

щаются к религии, чтобы оправдать свое поведение. Надо признать, что каждая религия полагает себя самой лучшей и имеет тенденцию заявлять, что тот, кто не исповедует именно ее, идет «ложным путем».

— Значит, религии — расистские?

— Нет, не сами религии уподобляются расизму, но люди, исповедующие их, делают из своих религий средство, которое используют расисты. Так в 1095 году папа Урбан II начал войну, пойдя из Клермон-Феррана на мусульман, объявив их «неверными». Тысячи христиан отправились из Франции в страны Востока убивать арабов и турок. Эта война, которая велась от имени Бога, получила название «крестового похода». (Крест, символ христианства, поднятый против полумесяца, символа ислама.) В течение XI–XV вв. христиане Испании изгоняли со своей земли мусульман, а потом и иудеев исключительно по религиозным причинам. Некоторые пытались черпать аргументы в священном писании, чтобы утвердить свое превосходство. Вообще религиозные войны случаются довольно часто.

— Но ты мне говорил как-то, что Коран — против расизма.

— Да, в Коране, как и в Торе, как и в Библии, как и в других священных книгах нет расистских идей. Коран говорит, что все люди — равны перед Богом, но и то, что они — разные в том, как они в него верят. В Торе, например, написано: «...если чужестранец захочет войти в твой дом, не прогоняй его. Пусть станет он для тебя, как и твои соотечественники. Возлюби его как самого себя». Библия тоже настаивает на уважении ближнего, то есть другого человека, будь он твоим соседом, твоим братом или чужестранцем. В Новом Завете сказано: «Заповедую вам любить друг друга». И еще: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Все религии проповедуют мир между людьми.

— А если кто-то не верит в Бога? Я говорю это, потому что иногда задаюсь вопросом, а существуют ли в самом деле рай и ад?

— Если человек — неверующий, то на него косо смотрят, религиозные люди к нему просто плохо относятся, а фанатики так и вообще врагом считают...

— Как-то по телевизору, когда в городе были убийства, журналист во всем обвинял ислам. Это был расист, по-моему?

— Нет, этот журналист — не расист; он просто несведущ и некомпетентен. Он путает ислам и политику. Это политики используют ислам в своих целях, в своей борьбе, и их называют интегритами.

— Интегриты — расисты?

— Они фанатики. Фанатик — это тот, кто думает, что он единственный, кто знает Истину. Порой религия и фанатизм идут рука об руку. Интегризм существует во всех религиях. Интегриты считают себя боговдохновенными. Но они — слепы, одержимы своей идеей и хотят навязать свои убеждения другим. Они — опасны, потому что чужая жизнь для них не имеет цены. Во имя их Бога они готовы убивать и даже погибать: многие из них просто манипулируют их вождем. Конечно, их можно считать расистами.

— Расисты — это те, кто голосуют за Ле Пена?

— Ле Пен руководит партией, основанной на расизме, то есть на ненависти к Чужому, к Чужому, к чужестранцам, к иммигрантам, на ненависти к мусульманам, евреям и др.

— Это партия ненависти?!

— Да. Но все те, кто голосует за Ле Пена, — не обязательно расисты... Может быть, не все. Если не так, то значит, во Франции больше четырех миллионов расистов! Это много! Их обманывают, или они сами не хотят видеть реальность. Голосуя за Ле Пена, некоторые выражают свою растерянность, смятение. Но они ошибаются в выборе средств.

— Скажи, папа, что надо сделать, чтобы среди людей больше не было расистов?

— Как говорил генерал де Голль, «речь идет об обширной программе». Ненависть гораздо быстрее укореняется в душах людей, чем любовь. Гораздо проще опасаться кого-то, не любить, чем любить того, кого не знаешь. Всегда присутствует эта спонтанная тенденция, готовность кого-то сразу оттолкнуть от себя, отказать ему.

— А что это значит?

— Это значит закрыть все окна и двери. Если иностранец, кто-то чужой стучит к тебе, ему не открывают. А если он продолжает стучать, ему откроют, но не разрешат остаться, ему будут всячески давать знать, что лучше убраться отсюда. И его выталкивают.

— Это и есть ненависть?

— Это природное опасение, и это чувство возникает у многих, ненависть — чувство более серьезное и глубокое, потому что у него есть своя противоположность — любовь.

— Я не понимаю, о какой любви ты говоришь?

— О той, которую человек питает к самому себе.

— А разве есть люди, которые не любят самих себя.

— Когда не любят себя, не любят никого. Это как болезнь. Как нищета, обездоленность. Хотя очень часто расист очень любит себя. Но любит себя так, что в его сердце уже нет места для другого. Это — эгоизм.

— Значит, расист это тот, кто не любит никого и эгоист. Он должен быть несчастен. Это же ад!

— Да, расизм — это ад.

— Как-то ты, разговаривая с дядей, сказал ему: «Ад — это другие». Что это значит?

— Это не имеет отношения к расизму. Это просто выражение, которое употребляют по отношению к тем, с кем не хочется жить вместе...

— Ну, это похоже на расизм...

— Нет, это не совсем так, потому что в данном случае речь идет о том, что вовсе не обязательно любить всех. Если, к примеру, твой кузен очень шумно ведет себя, все разбрасывает, рвет твои тетради и мешает тебе играть одной, — ты же не становишься расисткой только потому, что ты выгоняешь его из своей комнаты. Но если один из твоих школьных товарищей, например малиец Абду, придет к тебе домой, будет вести себя хорошо, а ты его выставишь за дверь только потому, что он — чернокожий, значит ты — расистка. Понимаешь разницу?

— Ладно, но все-таки выражение «ад — это другие» мне не совсем понятно...

— Это — реплика одного из персонажей пьесы Жана-Поля Сартра «За глухими стенами». Трое людей оказываются в красивой комнате после своей смерти, и это уже навсегда. Они отныне должны жить вместе, и нет никакого способа вырваться отсюда, убежать. Вот это и есть ад.

— Ну, это не расизм. У человека есть право не любить всех подряд. Но как различить это чувство от расизма?

— Человек не может любить абсолютно всех без разбора, и порой вынужден жить рядом с теми, кого он не выбирал, и это может стать для него адом. Он может видеть в окружающих его людях недостатки, и это может сблизить его с расизмом. Но чтобы оправдать свое отвращение к другим, расист начинает указывать на их физические характеристики. Он скажет: я не выношу такого-то человека, потому что у него нос с горбинкой, потому что у него курчавые волосы, раскосые глаза и т.п. Но сам-то расист думает так: «Мне абсолютно все равно, какие у этого человека недостатки или индивидуальные, личные качества. Мне достаточно знать, что этот человек принадлежит к определенному человеческому сообществу, которое мной отвергается». И при этом он опирается на физические или психологические черты этих людей, чтобы оправдать свою неприязнь к ним.

— Приведи примеры.

— Ну, например, говорят, что чернокожие «крепкие, но ленивые, обжоры, нечистоплотные». Говорят, что китайцы «маленькие, эгоистичные и жестокие»; что арабы «хитрые, агрессивные и предатели»; говорят, что они «не умеют работать» (даже поговорка имеется: «арабская работа»). Говорят, что турки «сильные и грубые»; евреям приписывают самые низкие качества как физические, так и моральные, чтобы как-то оправдать преследования и массовые репрессии в отношении к ним. Примеров полно. Но и черные говорят, что у белых специфический запах, азиаты скажут, что у чернокожих — все дикари и т.д. Надо забыть о таких выражениях, как «упрямый, как турок», «арабская работа», «желтая улыбочка», «вкалывать, как негр» и др. Это все глупости, и с ними надо бороться.

— Как это бороться?

— Прежде всего научиться уважать других людей. Уважение — это главное. К тому же, люди и не требуют, чтобы их любили, но чтобы уважали их человеческое достоинство. Уважение, это значит уметь оказывать внимание и почтение. Умение слушать. Чужестранец не любви к себе требует, но именно почтения, уважения. Любовь и дружба могут возникнуть потом, когда люди лучше узнают друг друга, лучше оценят друг друга. Но поначалу нельзя иметь никаких предвзятых суждений или предрассудков. Потому что расизм и развивается из предвзятых идей о народах и их культурах. Я могу привести и другие примеры идиотских суждений: шотландцы — скупые, бельгийцы — хитрые, цыгане — воры, азиаты — скрытные и т.п. Всякое обобщение такого рода — глупость и источник заблуждений. А поэтому никогда не стоит говорить: «французы такие вот и такие...», и т.д.

Расист — это тот, кто прибегает к обобщениям на основе какого-то частного случая. Если его обокрал араб, он не-

пременно сделает заключение, что все арабы — воры. Уважать другого — это значит заботиться о справедливости.

— Но можно ведь рассказывать анекдоты про бельгийцев и при этом не быть расистами!

— Для того, чтобы насмеяться над другими, надо уметь смеяться над собой. В противном случае — это отсутствие юмора. А юмор — это сила.

— Это что — смех?

— Иметь чувство юмора, это уметь шутить, но не принимать вещи всерьез. Это значит уметь увидеть в чем-то какую-то смешную сторону, которая заставляет смеяться или улыбаться. Один поэт сказал: «Юмор — это вежливость отчаяния».

— А у расистов есть это чувство «юмора»³?

— Хорошая оговорка, раньше употребляли выражение «умора», когда говорили о смешном... Нет, у расистов нет чувства юмора; они скорее злы по своему настрою. Они по-злему смеются над другими, высмеивая их недостатки, как будто их нет у них самих. Когда расист насмехается, то он показывает свое мнимое превосходство. На самом же деле он демонстрирует свое невежество и степень своей глупости или же свое желание навредить другим. Чтобы определить других людей, расист употребляет термины оскорбительные, презрительные. Например, араба он называет «буньюль»⁴ («тачка»), «ратон» («крысеныш»), «бико» (козел), «мелон» («дыня») и т.п.; итальянца обзовет «макаронником», еврея — «иудой», чернокожего — «негром» и т.п.

— Когда человек — глуп, он — расист?

— нет, наоборот, когда он расист — он глуп.

— Таким образом, если я правильно поняла, то расизм происходит: I — из чувства страха, II — невежества, III — глупости.

³ Девочка произнесла это как «oumeur», гомофонное «ou meurt».

⁴ Арабы так произносили простонародное фр. слово «bagnole».

— Ну, в общем, ты права. Но надо знать также и другое. Можно обладать каким-то знанием, но использовать его, чтобы оправдать расизм. Образованность можно обратить на служение плохому делу. Значит, не так все просто.

— Порой люди образованные и знающие, в результате какого-нибудь несчастья — безработицы, например, — обвиняют иностранцев в том, что они виновны в этой ситуации. В глубине души они знают, что иностранные рабочие тут ни при чем, но надо же на кого-то выплеснуть свой гнев. Это то, что называется «козлом отпущения».

— А что это такое?

— В древности израильтяне выбирали в стаде козла и наделяли его — символически — всеми грехами и отпускали в пустыню. И вот теперь, когда кто-то хочет свои ошибки и причины неприятностей возложить на кого-то другого, то выбирает «козла отпущения».

Во Франции, например, расисты заставляют людей верить в то, что если возникает экономический кризис, то в этом повинны иностранцы. Их обвиняют в том, что они отнимают работу и хлеб у французов. Так, партия, называемая «Национальный фронт», — а это расистская партия, — наклеила на всех стенах Франции плакаты, на которых написано: «3 миллиона безработных = 3 миллионам иммигрантов, лишних для Франции». Но, знаешь, ведь сейчас каждый пятый француз имеет иностранное происхождение!

— Но ведь и среди иммигрантов тоже есть безработные! Отец Суад, кузины мамы, уже в течение двух лет сидит без работы. Ищет, но не находит. Когда он куда-то звонит с вопросом, есть ли работа, то отвечают, что есть. А когда он приходит, представляется, то ему отвечают, что он пришел слишком поздно!

— Ты права. Но расисты еще к тому же и лжецы. Они рассказывают бог знает что, не заботясь о правде. Единственное, что они хотят, так это поразить воображение людей своими лозунгами. Экономические исследования показали,

что это уравнение («3 млн безработных = 3 млн иммигрантов») абсолютно неверно. Но кто-то из тех несчастных французов, потерявших работу, оставшихся без заработка, готов поверить во все что угодно, любой глупости, которая может каким-то образом умирить его гнев.

— Но обвиняя иммигрантов, работы-то он все равно не найдет!

— Это так, но зато он обретет страх, боязнь чужого, иностранца, которого и обвинит во всех своих бедах и несчастьях!

Так проще. А расисту и нужна эта «дурная вера», заблуждения людей, их недобросовестность.

— А что это такое?

— Например: иностранный ученик в школе получает плохие отметки. Вместо того, чтобы позаниматься побольше, внушить самому себе, что он мало занимался, плохо поработал над уроками, он начинает говорить, что у него плохие отметки потому, что учительница — расистка.

— Это случилось и с моей кузиной Надией. У нее было замечание в дневнике, а она сказала родителям, что учительница в школе не любит арабов! Она неправа, выдумщица, и я точно знаю, что она — плохая ученица!

— Ну вот это и есть недобросовестность.

— Но Надия же не расистка...

— Но она использует глупый аргумент, чтобы ввести в заблуждение родителей, снять с себя ответственность, и это ее сближает с теми методами, к которым прибегают и расисты.

Значит, к страху, к невежеству и глупости, свойственным расистам, надо добавить и недобросовестность.

— Да. И если я объясняю тебе сегодня, как становятся расистами, это потому, что расизм принимает порой трагические размеры. Тогда это уже не просто вопрос о недовере или ревности к людям, принадлежащим к другой груп-

пе. В прошлом были случаи, когда целые народы были подвергнуты власти расистских законов экстерминации.

— А что это такое?

— Экстерминация — это когда заставляют исчезнуть с лица земли — радикально и окончательно — целые сообщества, группы людей.

— Каким образом? Их убивают?

— Это то, что произошло в период Второй мировой войны, когда Гитлер, вождь нацистской Германии, решил истребить на земле всех евреев и цыган (что касается арабов, то Гитлер считал и их «последней расой после жаб»). Ему удалось сжечь в печах, удушить в газовых камерах пять миллионов евреев. Это называется геноцид. В основе его лежит расистская теория, которая гласит: «Евреи, которые принадлежат к «нечистой расе» людей, то есть низшей, не имеют права на жизнь; их надо истребить, то есть уничтожить всех до последнего».

В Европе все правительства тех стран, где среди населения были евреи, должны были объявить об этом и выдать их нацистам. Евреи должны были носить желтую звезду на груди для того, чтобы их узнавали. Этому виду расизма дали наименование «антисемитизм».

— Какое происхождение у этого слова?

— Оно происходит из термина «семит», который обозначает группы людей, выходцев из Западной Азии и говорящих на близких между собой языках, таких, как арабский и еврейский. Арабы и евреи — семиты.

— Значит, если кто-то антисемит, то он и анти-араб?

— Вообще, когда говорят об антисемитизме, обычно подразумевают расизм анти-еврейский. Это особого рода расизм, потому что он был задуман и жестоко спланирован таким образом, чтобы уничтожить именно всех евреев. Но в любом случае, если прямо отвечать на твой вопрос, то надо сказать, что антисемит это и антиараб одновременно. Расист ведь тот, кто не любит других, будь они евреи, ара-

бы, чернокожие. Если Гитлер выиграл бы войну, то он был бы атакован потом всем человечеством, потому что «чис-
тых рас» не бывает. Это нонсенс. Это невозможно. Именно
поэтому надо быть чрезвычайно бдительным.

— А может еврей быть расистом?

— Может, как и араб, как и армянин, как и цыган, как и
всякий «цветной». Не существует никакой группы людей, в
недрах которой не было бы индивидуумов, способных
иметь расистские чувства и расистское поведение.

— Даже тогда, когда эти люди сами испытали, что такое
расизм?

— Сам факт страдания от несправедливости не приво-
дит к тому, чтобы человек обязательно стал праведником.
И человек, который когда-то сам был жертвой расизма,
может в некоторых случаях поддаться расистскому иску-
шению.

— Объясни мне поподробнее, что такое геноцид?

— Это методичное и систематическое разрушение ка-
кой-нибудь этнической группы. Кто-то могущественный и
безумный принимает твердое решение убивать всеми воз-
можными средствами всех представителей той или иной
группы населения. Обычно это бывают **этнические мень-**
шинства, на которых нацелено такое решение.

— Вот еще слово, которое я не знаю. Что такое этниче-
ское?

— Этнос, это группа индивидуумов, у которых общий
язык, обычаи, традиции, цивилизация, которую эта группа
передает из поколения в поколение. Это — народ, у кото-
рого своя точная идентичность. А индивиды, отдельные
люди, которые принадлежат этому народу, могут жить в
разных странах, быть рассеяны по миру.

— Например?

— Евреи, берберы, армяне, цыгане, халдеи (те, кто гово-
рят по-арамейски, на языке, на котором говорил Христос) и
т.д.

— Когда народ немногочислен, он рискует геноцидом?

— История показывает, что меньшинства — те группы людей, которые немногочисленны, — были часто преследуемы. Только в одном XX веке, начиная с 1915 года, армяне, жившие в восточных областях Анатолии, были постоянно преследуемыми турками и подвергались массовым уничтожениям (больше миллионов убитых среди населения, общее количество которого не превосходило миллиона восьмисот тысяч человек). Потом была очередь евреев, убитых в России (эти убийства назывались погромами). Ну а вскоре 5 млн евреев было уничтожено нацистами в Европе, в концентрационных лагерях. С 1933 года нацисты рассматривали евреев как «негативную расу», как «подрасу», в точности так же они и цыган объявили «низшей расой» и тоже их уничтожали (200 000 убитых).

— Но это все было давно. А сейчас?

— Уничтожение этнических меньшинств происходит и сейчас. Не столь давно, в 1992 г., сербы, во имя того, что они называли «этническими чистками», уничтожили тысячи боснийских мусульман.

В Руанде были уничтожены тутси (их европейцы противопоставляли другому народу)... Колониализм, — а мы еще о нем поговорим, — часто разделял народы, чтобы властвовать в завоеванных странах. Этот век, дочка, был очень щедр на убийства и горе.

— А в Марокко есть евреи? Я знаю, что там есть берберы, потому что мама — берберка.

— В Марокко евреи и мусульмане жили одиннадцать веков вместе. У Иудеев были свои кварталы, которые назывались «меллах». Они не смешивались с мусульманами, но и не ссорились с ними. Были, конечно, и взаимные подозрения, но было и уважение друг к другу. Самое главное, когда евреев уничтожали в Европе, в Марокко их защищали. И когда Францию оккупировала Германия, марокканский король Мохаммед V отказался выдать маршалу Петэ-

ну евреев, которых тот хотел отправить в нацистские концлагеря, то есть в ад. Он оказал им покровительство. Король так ответил Петэну: «Это мои подданные, они марокканские граждане. Здесь, в Марокко, они — у себя дома, в безопасности. И я обязуюсь их защищать». Марокканские евреи, те, кто живет сейчас в разных странах, очень любят этого короля. Сегодня в Марокко осталось несколько тысяч евреев. Но и те, которые уехали когда-то, хотят теперь вернуться. Марокко — одна из тех арабских и мусульманских стран, которая на своей земле имеет больше всех евреев. Знаешь, как марокканские евреи зовут Сефру, маленький городок на юге от Феса? Они называют его «маленький Иерусалим».

— А почему они уезжали из Марокко?

— Потому, что когда в Марокко была в 1956 г. провозглашена независимость, они испугались, не зная, что следует за этим. Да и те, кто уже обосновался в Израиле, «подстегивали» их отъезд, настаивали на воссоединении с родственниками. Ну, наконец, войны 1967 и 1973 гг. между Израилем и арабскими странами заставили евреев покинуть свои родные страны и уехать в Израиль, или в Европу, или в Америку. Но мусульмане Марокко сожалеют об их отъезде, потому что больше тысячелетия евреи и мусульмане здесь жили в мире. Существуют песни и сказания, сочиненные на арабском языке и евреями, и мусульманами. И это доказательство того, что оба сообщества жили во взаимопонимании.

— Значит, марокканцы — не расисты?

— У этого утверждения нет смысла. Потому что не существует целиком народа расистского или нерасистского. Марокканцы — как и все во всем мире. И среди них можно встретить и расистов, и нерасистов.

— Любят ли они иностранцев?

— Марокканцы известны своими традициями гостеприимства. Они любят принимать странников, проезжих, тури-

стов, показывать им свою страну, дать возможность наслаждаться своей кухней. Во все времена марокканские семьи славилась своим гостеприимством; это относится и к остальным магрибинцам, к арабам пустыни, к бедуинам, к кочевникам и др. Но некоторые марокканцы достойны осуждения в отношении своем к чернокожим.

— Почему именно к ним?

— Потому что в старые времена марокканские торговцы уезжали по своим делам в Африку. И торговали там в Сенегале, в Мали, в Судане, в Гвинее. Некоторые, возвращаясь обратно, привозили с собой черных женщин. Дети, которых те рожали, были предметом плохого обращения со стороны белых жен и их детей. У моего дяди были две черные жены. Поэтому у меня есть черные кузены. И я помню, что они никогда не садились с нами за общий стол. Появилась и привычка называть черных «абидами» (т.е. рабами). Задолго до марокканцев, белые европейцы рассматривали чернокожих как «особого рода животных» (Бюффон, живший в 1707–1788 гг.). И хотя этот человек был ученым, он заявлял, что «негры — ниже по своему развитию, чем белые, а потому вполне нормально, что из них делают рабов». Рабство было отменено почти повсюду в мире. Но оно в скрытой форме присутствует и по сей день.

— Это как в том американском фильме, где белый хозяин бьет кнутом чернокожих.

— Чернокожие американцы — потомки рабов, за которыми первые поселенцы, обосновавшиеся в Америке, ездили в Африку. Рабство было правом собственности на человеческое существо. Раб полностью лишен свободы. Его тело и душа принадлежат тому, кто его купил. Расизм в отношении черных был и остается очень сильным в Америке. Чернокожие вели ужасные войны, чтобы добиться своих прав. Раньше в некоторых штатах у них не было права даже купаться в тех же водоемах, где купались белые люди, права посещать одни и те же туалеты, права быть похоронен-

ными на одном кладбище с белыми, права ехать в одном автобусе с белыми и посещать вместе с ними одни и те же школы. В 1957 г. в Литтл Роке, маленьком городке на юге Соединенных Штатов, понадобилось вмешательство президента Эйзенхауэра, полиции и армии, чтобы 9 черных детей могли поступить в Центральную Высшую Школу, которая раньше предназначалась только для белых... Борьба за права черных не окончилась и после убийства в 1968 г. в Мемфисе одного из великих инициаторов этой борьбы — Мартина Лютера Кинга. Сегодня многое начинает изменяться.

В Южной Африке раньше белые и черные жили раздельно. Это называлось **апартеидом**. Черные, более многочисленные, были дискриминированы белым меньшинством, которое управляло страной.

Надо сказать тебе, что чернокожие — такие же люди, как и все остальные, и они могут иметь расистское поведение в отношении тех, то отличен от них. Факт, что они становятся часто жертвами расовой дискриминации, не мешает некоторым из них самим становиться расистами.

— Ты сказал мне, что колониализм разделял людей... А что это такое, колониализм? Это тоже расизм?

— В XIX веке европейские страны, такие как Франция, Англия, Бельгия, Италия, Португалия осуществили военный захват африканских и азиатских стран. Колониалист считал, что его долгом — в качестве человека белого и цивилизованного — является «принести цивилизацию в низшие расы». Колониалист полагал, что поскольку африканец — черный, то у него меньше интеллектуальных способностей, что он — глупее белого.

— Колониалист, значит расист!

— Он и расист, и угнетатель. Когда одна страна угнетает другую, то люди теряют свободу, свою независимость. Так, Алжир до 1962 г. рассматривался как часть Франции. Его богатства эксплуатировались, а жители были лишены все-

го. Французы высадились в Алжире в 1830 г. и завладели страной. Тех, кто не хотел подчиниться угнетателям, преследовали, арестовывали, убивали. Колониализм — это расизм в масштабе государства.

— Как же целая страна может стать расистской?

— Не сама страна, но ее правительство, которое вершит произвол и устанавливает свою власть над другими территориями, которые ему не принадлежат, но которые оно захватывает силой. Такие правительства презирают жителей этих территорий, рассматривают их культуру примитивной, ничего не стоящей и решают «цивилизовать» эти народы. Обычно такие захваченные страны плохо развиваются. Ну, строят там дороги, какие-то школы и больницы, но все это делается, чтобы прикрыть подлинные цели — собственной наживы и выгоды. Колонизатор развивает только то, что может ему помочь лучше эксплуатировать ресурсы этой страны. Колониализм — именно такой, а не другой. И если он что-то «развивает» в стране, то зачастую именно для того, чтобы завладеть новыми богатствами, увеличить свою власть, хотя об этом он никогда не говорит. Это всегда было захватом, воровством, насилием и это имело тяжелые последствия. В Алжире, например, надо было несколько лет войны, тяжелой борьбы, чтобы люди покончили с колониализмом.

— Алжир теперь свободен.

— Да, страна получила независимость в 1962 г., алжирцы сами решили, что надо для их страны...

— С 1830 до 1962 г. — это же 132 года, так долго!

— Алжирский поэт Жан Амруш написал в 1958 году:

*У алжирцев отняли все:
Родину, дивный язык...
Землю, пашни, поля,
Родники и сады...
Сделали народ сиротой,
Бросили в тюрьмы людей,*

*Лишили истории,
Отняли Будущее,
Оставили только
Настоящего слезы.*

Вот что такое колониализм. Захватывают насильно страну, обездоливают, грабят жителей, бросают в тюрьмы тех, кто не хочет смириться... А тех, кто выживает, имеет силы, насильно увозят в страну колонизаторов, на тяжкую работу.

— Вот почему так много алжирцев во Франции?

— До независимости Алжир считался департаментом Франции и алжирского паспорта не было. И алжирцы были подданные Франции. Христиане считались французами. Евреи ими стали с 1870 г. А мусульмане назывались «аборигенами». Этот термин означал «выходцев из оккупированной страны, уроженцев Земли, захваченной колонизаторами», — таково было расистское определение эпохи. «Абориген» был знаком принадлежности к низшей ступени социальной лестницы. Абориген = нищему существу. Но когда французская армия или промышленность нуждались в людях, тогда их искали среди алжирцев. Их мнения не спрашивали. У них не было паспорта, права на паспорт. Им предоставляли документ, разрешающий перемещение. Им приказывали. А если они отказывались следовать этим приказам, их жестоко наказывали. Так возникли первые иммигранты.

— Но этим иммигранты были поначалу французскими гражданами?

— Только с 1958 г. тех, кого насильно заставляли приезжать из Алжира, стали рассматривать как французов, но не тех, кого насильно свозили из Марокко или Туниса. Некоторые приезжали сами по себе, — из Португалии, Испании, Италии, Польши...

— Франция стала как Америка!

— Не совсем. Все американцы, кроме индейцев, первых жителей этого континента, это в общем иммигранты. Индейцы были почти уничтожены испанскими завоевателями, потом белыми американцами. Когда Христофор Колумб открыл Новый Свет, он встретил там индейцев. Он был так удивлен, что они все были человеческими существами, похожими на европейцев! Потому что тогда думали, что индейцы — существа, ближе к животным, что у них нет души! Сейчас Америка составлена из разных этносов, разных групп населения, давно собравшегося сюда со всех концов земли, в то время как Франция стала иммиграционной территорией только в конце XIX века.

— Но до приезда сюда иммигрантов был ли во Франции расизм?

— Расизм существует повсюду, где живут люди. Нет ни одной страны в мире, которая могла бы похвастаться, что в ней нет расистов. Расизм составляет часть истории человечества. Это как болезнь. Лучше все знать о ней, чтобы научиться ей сопротивляться. Надо уметь контролировать себя и говорить, «если я боюсь иностранца, он тоже может бояться меня». Мы ведь всегда чужие кому-то. Надо учиться жить вместе, а это поможет и бороться против расизма.

— А я вот не хочу учиться жить вместе с Селиной, — она злая, лгуныя и воровка...

— Ну, ты преувеличиваешь наверно! Уж что-то очень много для одной девочки твоего возраста!

— Она была злой с Абду. Она не хочет с ним сидеть за одной партой в классе и говорит гадкие вещи про чернокожих...

— Родители Селины забыли о ее воспитании. Может быть, и они сами не получили должного воспитания. Но не надо с ней вести себя так, как она с Абду. Надо с ней поговорить и ей объяснить, почему она не права.

— Одна я не смогу...

— Попроси твою учительницу поднять эту проблему в классе. Ты знаешь, дочка, с детьми легче, чем со взрослыми, поправить положение вещей.

— Почему?

— Потому что ребенок не рождается с расистскими идеями в голове. Чаще всего ребенок повторяет то, что ему говорит взрослый, его родители, родственники. Естественно, что ребенок играет с другими детьми, и он не задается вопросом, кто из белых или черных детей выше по расе. Для него главное, чтобы найти товарища по игре. Они могут договориться или поспорить. Это нормально. Но даже их ссора не может иметь отношения к цвету кожи. Но если родители ребенка внушили ему мысль о неравенстве, предостерегли против цветного ребенка, тогда поведение детей становится совсем иным.

— Но, папа, ведь ты сам все время повторяешь, что расизм — это обыкновенное свойство всех народов, явление, широко распространенное, что вообще это один из недостатков человека!

— Да, это так, но ребенку нужно внушать чистые идеи, здоровые мысли, чтобы он не шел на поводу у своих инстинктов! А можно внушить ему идеи зловредные и ложные. Всё зависит от воспитания и образа мыслей родителей. Ребенок может и сам поправить поведение родителей, если они высказывают расистские суждения. И надо незамедлительно вмешиваться и никогда не уступать, если кто-то из старших начнет тебя запугивать.

— Это что означает? Что можно спасти, уберечь ребенка от расизма? Но взрослого человека уже нельзя?

— Не так легко, да. Есть закон, который правит людьми, начиная с того момента, когда они уже выросли: не изменяться! Один философ сказал как-то: «Всякое существо хочет упорствовать в том, что оно есть». Этого философа звали Спиноза. Если сказать проще, то «нельзя изменить полосы на зебре». Раз уже что-то сделано, то сделано. Но ре-

бенок еще дает такую возможность, он еще открыт для того, чтобы учиться и развиваться. Взрослого, который полагает, что есть «низшие расы», уже трудно переучить, перевоспитать. Дети же, наоборот, могут измениться. И школа создана для этого, чтобы научить их тому, что люди рождаются и остаются равными в правах и при этом отличными друг от друга. Чтобы научить их тому, что человеческое разнообразие — это богатство, а не несчастье.

— Можно ли расистам вылечиться?

— Ты что думаешь, что расизм это болезнь?

— Да, потому что это ненормально презирать кого-то только за то, что у него другой цвет кожи...

Излечение зависит только от них самих. Спокойны ли они пересмотреть свое поведение и оценить его.

— А как пересмотреть свое поведение?

— Надо, чтобы они задумались над своими поступками, задала себе вопрос: «А может быть, я не прав думать так, как я думаю?» Надо сделать усилие над собой, чтобы не иметь такого поведения, не поступать так и так не думать.

— Но ты мне сам сказал, что люди не меняются.

— Да, но о своих ошибках можно задуматься, проанализировать их и признать, что надо их преодолеть. Это не означает, что человек изменится полностью, радикально. Но он может адаптироваться. Когда человек становится жертвой расизма, его отвержения, то он отдает себе отчет в том, насколько расизм несправедлив и неприемлем. Достаточно немного поехать по миру, сделать для себя открытие жизни других людей, чтобы убедиться в этом. Как говорят, путешествия формируют взгляды молодости. Путешествовать — это значит открывать и постигать, учиться понимать, насколько человеческие культуры разнятся между собой, и насколько они прекрасны и богаты. И не существует ни одной культуры, превосходящей другую.

— Значит, есть надежда.

— Надо бороться с расизмом, потому что растет одновременно и опасность, и жертва.

— Как это можно быть двумя сразу?

— Потому что расист представляет опасность для других людей, но жертва он сам по себе. Он находится в заблуждении и сам об этом не знает или не может знать. Надо иметь мужество, чтобы признать свои ошибки. У расизма нет для этого отваги. И вообще это нелегко — научиться признавать свои заблуждения, свою вину, критиковать самого себя.

— То, что ты говоришь, не вполне мне ясно!..

— Ты права. Надо выражаться яснее. Легко сказать «Ты прав, или ты неправ». Но очень трудно сказать: «это ты прав, а я неправ».

— Я спрашиваю себя, знает ли расист, что он неправ?

— На самом деле, он мог бы это знать, если бы захотел и если бы вообще имел мужество задать себе все эти вопросы.

— Какие?

— Ну, например, вопрос о том, действительно ли кто-то может быть представителем какой-то высшей расы, считать себя лучше другого, принадлежать к какой-то избранной человеческой группе? Да и существуют ли группы «низшие» по отношению к моей? Но даже если предположить наличие таких в природе, то от имени кого и во имя чего я должен с ними бороться, их уничтожать? Разве физическая разность — необходимое условие для того, чтобы человек мыслил по-другому? Разве она навязывает человеку различное миропонимание? Или разве физическая разность делает одних более умными, а других менее, только потому что кожа у одних белая, а у других — черная?

— Люди слабые, больные, старики, дети, калеки, — разве они все — низшие существа?

— Таковыми их считают только трусы.

— Расисты знают, что они — трусы?

— Нет, потому что для признания этого нужна смелость.

— Папа, но это же порочный круг...

— Да, но я и хочу тебе показать, как прочно расист замкнут в тюрьме своих противоречий, и сам не хочет избавиться от этого!

— Значит он больной!

— В некотором роде да. Потому что, когда бегут из тюрьмы, то бегут на встречу со свободой. А ее-то и бояться. Как бояться и человеческой разности. Единственная свобода, которая мила расисту, это его собственная, та что позволяет ему делать неведомо что, судить и осуждать других, осмеливаться презирать людей только за то, что они — не такие, как ты сам.

— Папа, я хочу сказать грубое слово. Расист — негодяй.

— Это слово в отношении него слабое, дочка, хотя и справедливое.

Заключение

Борьба против расизма должна быть ежедневной заботой. Наша бдительность не должна давать слабину. Надо начинать с того, чтобы приводить примеры и уметь подбирать повнимательнее слова, которые мы употребляем. Ибо слова — опасны. Одни могут унижить и ранить, заставить питать презрение и даже ненависть к другим людям. Другие слова могут затмить истинный смысл, исказить правду и питать в людях их интенции превосходства над другими и дискриминацию тех, кто не похож на нас.

Но есть слова прекрасные, исполненные счастья. И надо отказываться от предвзятых идей, не прибегать к некоторым расхожим выражениям и поговоркам, которые обобщают что-то, какие-то частности, играя на руку расистам. Надо из своего обиходного словаря выбросить выражения, в которых заключены ложный смысл и вредные идеи. Борьба против расизма начинается с работы над своим язы-

ком. Эта работа — трудная, ее надо захотеть проделать, собрать свою волю, настойчивость и воображение. Недостаточно только возмущаться словами и делами расистов. Надо тоже научиться действовать, противодействуя расистам. Никогда не говорить себе: «Да это не так уж и важно!» Если только расслабиться таким образом, расизм может проникнуть даже туда, где люди, казалось бы, не могут быть подвержены влиянию такого рода микроба, где невозможно и представить себе, чтобы расизм раскинул там свои сети...

Не противодействуя расизму, занимая позицию пассивную, расизму помогают стать делом обычным, банальным и вызывающим. Надо знать законы. А они должны стоять на страже, защищать людей и наказывать всякое подстрекательство к расовой ненависти. Надо знать также, что существует множество движений, объединений и ассоциаций, которые борются со всеми формами расизма и проделывают огромную работу.

Когда ты возвращаешься в школу после каникул и смотришь на своих одноклассников и видишь, какие они разные, твои соученики, знай, что в этом разнообразии — красота и богатство. Это — шанс для человечества. Все эти ученики прибыли отовсюду, с разных горизонтов, и они все вместе тебе дают то, что они не имеют, чего нет в их культуре. Меланж, смешение — это же взаимное природное обогащение!

Знай, наконец, что каждое человеческое лицо -это чудо! Оно — уникально, и ты никогда и нигде не встретишь двух совершенно одинаковых лиц. И ни красота, ни уродство тут ни при чем. Всё это вещи относительные. Каждое лицо — это символ жизни. А всякая жизнь заслуживает уважения. И никто не имеет права унижать другого. Каждый человек имеет право на свое человеческое достоинство. Уважая каждого человека, мы воздаем дань уважения жизни всех людей, всему прекрасному, что есть в ней, всему чудесному, всему непохожему на нас, неожиданному. И уважая друго-

го, мы, таким образом, уважаем и себя самих, ценя достоинство каждого, учимся по достоинству и оценивать самих себя.

/Июнь-октябрь 1997/

Тахар Бенджеллун

РЕВОЛЮЦИЯ ЖАСМИНОВ

(Пробуждение собственного достоинства
в сознании арабского народа)*

Бунт? Революция?

Эта весна в разгар зимы не похожа ни на что в недавней мировой истории. Может быть, ее можно в чем-то сравнить с революцией гвоздик в Португалии (ноябрь 1974 г.), однако есть разница. Арабские народы издавна были отмечены знаками повстанчества. Где-то кто-то всегда бунтовал или восставал и даже сам себя истреблял. Это случалось и в Магрибе, и в Машрике. Но отдельные вспышки или индивидуальные случаи бунта особо не принимались во внимание или даже запрещались. Другое дело, когда возникает необходимость защищать эту «индивидуальность» как особо значимую для всего сообщества. Так Французская революция позволила гражданам Франции иметь право на личность, обрести свою индивидуальность, имея и права, но и обязанности.

В арабском мире всё, что признается, что принимается во внимание — прежде всего клановое. Принадлежит племени, семье, но не отдельной персоне. И индивидуум становится как бы только одним из голосов. Но поддержку получает от «хора». А каждый человек — это личность, у

* Фрагменты итальянского издания книги: Ben Jelloun T. La Rivoluzione dei Gelsomini. Milano, 2011. Этот перевод французского издания книги лишь подтверждает правильность перевода на русский этого существительным (жасминов), а не прилагательным жасминовая — здесь важна не «окраска» цвета, не характер его «белизны», но степень его энергии (С. П.).

которой есть, что сказать, и он говорит об этом, когда он идет на свободные и несфальсифицированные выборы. Это лежит в основе демократии, где культура основана на общественном договоре, по которому кто-то избирается на определенный срок для презентации всего народа. А потом его функции обновляются, если нет досрочных перевыборов.

В арабском же мире президенты республик ведут себя как абсолютные монархи до такой степени, что остаются у власти силой, посредством коррупции, лжи и обманов. (А в некоторых странах есть даже «династийное наследование» власти — от отца к сыну...) Принцип ясен и прост: когда человек обретает власть, то думает, что это — навсегда, хочет того народ или нет. И чтобы особо не беспокоить Запад, прибегают к «формальной» демократии, чтобы замаскировать реальность и пустить дым в глаза тем, кто за ним наблюдает. Всё в руках власти, и она не выносит никаких протестов, не допускает никакой внутренней оппозиции. Смотрит на свою страну как на свою собственность, располагает ее средствами, делает свои дела, обогащается и хранит свои сбережения в швейцарских, или американских, или европейских банках.

Вот именно так и получается и в Тунисе, и в Египте, где были протесты, вызванные морально-этической стороной Власти. Там люди были абсолютно не согласны с авторитаризмом, с коррупцией, с расхищением богатой страны, со всякого рода «семейственностью» в делах госуправления, фаворитизмом, отказом от ущемления прав, творящегося в этих странах беззакония и разгула мафиозных интересов. Начался процесс по восстановлению моральной гигиены в обществе, где разграбление национальных богатств и человеческое унижение доходили до невероятных размеров.

Но именно поэтому этот протест не был идеологической революцией. Здесь не было лидеров, не было партии, которая могла бы возглавить народный бунт. Все те миллионы

человек, которые вышли на улицы, были объаты только гневом, зная, что всё, что говорит власть, — «это уже слишком».

Это по-своему было революцией нового типа — спонтанной и непредвиденной. Как еще одна страница пишущейся изо дня в день Истории, без всякого плана, без предварительных размышлений, без всяких задуманных ходов и «уловок». Это — как поэзия, которая зарождается прямо в сердце и рвется из горла поэта, который пишет свои стихи под диктовку самой жизни, который восстает и надеется только на лучшие дни...

Ответственность европейских государств состоит в том, чтобы они, проявляя свою толерантность по отношению к авторитарным режимам, которыми недовольны народы, молчали...

...В отличие от Ирана, где шиитский ислам привержен религиозной иерархии и часто обретает политическую окраску, суннитские страны думают по-другому. В плане политическом они подвержены разным направлениям, и исламский фундаментализм не везде — единственное, как случилось, к примеру, в Египте. Пока нет основания верить в то, что политический исламизм придет к власти повсюду, разве что армия вдруг где-то объявит себя фундаменталистской ориентации и совершит военный переворот. Но пока это кажется абсурдным.

Если это демократии, то это означает, что они многопартийны, что есть разные способы выражения общественного мнения на либеральном поле. На последнее Запад закрывает глаза, пока у него есть возможность торговать будь то с Китаем, Ливией или Алжиром...

Произошедшие революции в некоторых арабских странах будут по меньшей мере свидетельством того, что люди не хотели, чтобы всё оставалось по-старому — ни внутри страны, ни за ее пределами. А там, где среди арабов есть лишь единичные, а не массовые движения протеста, я пола-

гаю, что будут еще какие-то системные изменения, и власть будет более бдительна к нарушениям прав человека... Каждый гражданин когда-то перестанет быть только подвластным субъектом, которого можно только подавлять, но станет личностью, способной отстоять и свое имя, и свой голос, и все свои законные права.

Тунис, декабрь 2010 — январь 2011

Национальный гимн Туниса заканчивается строчками поэта Абуль Касема Шабби:

*В тот день, когда народ надеется на жизнь,
Судьба должна ответ свой дать ему,
А сумерки должны уйти
И цепи рабства пасть.*

На листовках и плакатах демонстрантов — сегодня повсюду эти строки, будто нынешнее поколение вспомнило, как их деды жили во время борьбы за независимость, завершившуюся в 1957 году. А режим Бен Али к тому времени, когда началась «революция жасминов» уже был подобен именно колониальной оккупации страны, такой же незаконной и жестокой. Бен Али провел во власти более двадцати лет, создавая сети и структуры, необходимые только для того, чтобы превратить страну в свою собственность. Оправдывать его деяния можно лишь либеральными речами о том, что он освобождал Тунис от влияния исламского фундаментализма, хотя всё, что он делал, было под зорким оком Запада. Но сопротивление его режиму зрело в народе, и поэты вдохновенно звали к борьбе и революции. Тунисцы хотели жить и работать в «обновленном мире». А после них — и египтяне, пытаясь освободить весь арабский народ от влияния тех, кто сплотился в борьбе за власть диктатуры и регресса.

Однако, повсюду в арабском мире были и такие писатели, кто всю свою жизнь посвятил разоблачению этих про-

клятых режимов. Но именно поэты, — а они, преимущественно, — визионеры, хотя им и не всё удастся предвидеть, более остро чувствуют, что перемены — необходимы. И диктаторы должны, вообще-то говоря, читать и знать такую поэзию. А они их презирали всегда и повсюду, вплоть до того дня, когда народное сопротивление становится само по себе уже особого рода поэмой. Что мы и увидели на улицах Туниса, а потом и в Египте.

Сегодня вспоминают о падении Берлинской стены. О падении многих режимов, распаде блоков, союзов... Надо вспомнить бы и поэтов, которые первыми напоминали людям о необходимости перемен. И русского Владимира Маяковского, и турка Назыма Хикмета, и палестинца Мохаммеда Дервиша, и иракца Шакера Эссайэба, и египтянина Мохаммеда Шауки, да и другие голоса своих эпох, звучавшие еще в прошлом веке, поднявшиеся вопреки невозможности жить в оковах несправедливости и звавшие к Освобождению и Справедливости.

Но в целом ни один диктаторский режим никогда не считался и всерьез не принимал ни такие голоса поэтов, ни подобных им других писателей или художников.

Египет — самая большая страна арабского мира. Она долгое время определяла и всю его культуру. Но мало помалу, под давлением военных, залечивая раны после войны с Израилем, на волне поднимавшего голову исламского фундаментализма, эта великая страна стала территорией, где велись хитроумные игры с помощью и Америки, и Израиля, и Европы, в конечном счете воцаривших там полицейский режим, основанный на коррупции, фаворитизме и на произволе властей. Видимо, Египет — это стратегически важная страна для Запада, и именно поэтому он ничего там не критиковал, а только помогал этому режиму...

Нельзя обвинять египетских писателей, ни кинематографистов, ни интеллектуалов, в том, что они не сделали того, что надо было сделать: сказать, написать, показать,

что на самом деле происходило в стране ежедневно. Они многое сделали, и их романы, фильмы и другие свидетельства останутся документами этой эпохи, жизни египетского общества, картиной того, что было в нем невыносимо для человека.

Международная, да и тунисская пресса не обходила молчанием репрессии, которым подвергались многие туниисцы, претерпевавшие разного рода несправедливость. Не все из них смогли как-то выразить свое недовольство, защититься или отстаивать свободу. Свободные журналисты, эмигрировавшие писатели высказывали, конечно, свое мнение, но Запад на это закрывал глаза — правда о Тунисе их не колола.

Но как и положено, чтобы зажечь бунт, должна была вспыхнуть искра, случиться нечто, что вошло в столкновение с полицией, что было таким яростным криком о несправедливости, царящей в стране, который уподобился той самой капле, которая заставила выплеснуться воду из сосуда. Так именно случилось и в Тунисе, и в Египте, на ситуацию в которых с нарушением прав человека Запад просто закрывал глаза...

А ведь в Тунисе приход к власти Бен Али был поддержан всенародно. Тогда все говорили о необходимости госпереворота. И в одно прекрасное утро 7 ноября 1987 года тот, кого президент страны Хабиб Бургиба назначил своим министром внутренних дел, а потом и премьер-министром, вошел во дворец и заставил встать уже старого и больного человека, который управлял страной со дня завоевания Независимости, и сказал ему, что он — Бургиба — больше не президент. Накануне вечером Бен Али собрал в Министерстве внутренних дел семерых врачей и заставил их подписать заявление о «неспособности Хабиба Бургибы управлять страной». Говорят, что один из медиков не захотел подписывать бумагу, поскольку не наблюдал президента

уже в течение двух лет. На что Бен Али ответил: «Подпиши, у тебя нет выбора».

Одновременно были насильно собраны люди из разных министерств; Бен Али полагался на них. Вел себя по-хозяйски и без всякого стыда шел к верховной власти.

Конечно, Бургиба мог оставить власть и сам, приняв решение самостоятельно, зная, что состояние его здоровья уже не позволяло ему управлять Тунисом. Но когда человек находится у Власти, то действует, будто зараженный вирусом, не позволяющим ее оставить. Только, пожалуй, президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор сам по личной инициативе оставил свои полномочия, чтобы посвятить себя полностью литературе, поэзии, чтению. Но ведь не все правители — поэты...

Здесь нельзя не отметить, вспомнив, что Х. Бургиба как государственный деятель сделал немало для своей страны, даже если и был в своей политике авторитарным и не всегда справедливым в глазах демократов. Этот человек был достаточно смелым в актах модернизации своего общества. Это он вел переговоры с Францией о предоставлении Тунису Независимости. И это он начал стремительные преобразования, редкие тогда в арабском мире. Изменил Семейный статут: Тунис был еще долго в мусульманских странах первым, где было решено дать женщинам их права и запретить полигамию. Был разрешен развод и легализован аборт (даже раньше чем во Франции!). Бургиба был революционером. И первым государственным деятелем, который поддерживал конкретные возможности гражданских прав в религиозной среде: в марте 1964 он во время мусульманского поста — рамадана, — выступая по телевидению, выпил стакан апельсинового напитка, на глазах у обомлевших зрителей нарушив тем самым запрет на употребление в течение дня и пищи, и воды. Оправдал свой жест экономическими необходимостями. Он не терпел, что экономика страны буквально приостанавливается на целый месяц, по-

тому что постящиеся таким образом люди не могут нормально работать, не имея ни сил, ни энергии, и только к ночи могут позволить себе нормально поесть и утолить жажду. Десятилетия тунисцы были свободны в выборе — поститься или нет в течение рабочего дня. Кафе и рестораны были открыты, и люди ели и пили по своему желанию. (Естественно, что алкоголь у мусульман сам по себе запрещен. — *Прим. переводчика.*) А те, кто правомерно следовал мусульманским законам, соблюдали правила рамадана, и их не преследовали.

В марте 1965 года Бургиба вообще выступил с неслыханной в арабском мире речью о том, что «пора нормализовать отношения с государством Израиль», уточнив, что политика «всё или ничего» привела палестинцев только к поражению. Все главы арабских государств, особенно египтянин Насер, были раскритикованы Бургибой за «фанатический национализм». Толпы людей в арабских странах вышли на улицы с протестами против «капитуляции» и «предателя священного дела палестинцев». Но это не мешало Бургипе требовать от ООН «создания федерации арабских стран этого региона с Израилем».

Два года спустя, в июне 1967 года, арабские страны связали войну с Израилем, понеся значительные потери. Даже называли это «катастрофой». Но и сегодня мечтой палестинцев остается обретение территорий, которые у них были до июня 1967 года. Но вряд ли когда-нибудь Израиль согласится отдать им хотя бы метр своей территории...

Сам Бургиба был человеком образованным, светским, но визионером. Его гражданский и человеческий темперамент превратил его в авторитарного диктатора, однако этого было недостаточно для того, чтобы военный, женатый на парикмахерше, свергнул его, устроив переворот, и выбросил вон как старую, ненужную рухлядь.

Бен Али сразу не изменил ничего, когда захватил власть. Продолжил реформы Бургибы, особенно в области образо-

вания. Учредил Министерство образования с помощью активного борца за права человека М. Шарфи. Приказал ему «почистить» школьные учебники от идеологии исламских фундаменталистов-фанатиков. Полсотни учителей взялись за дело, и учебники стали пронизанными духом просвещения, что способствовало свободомыслию.

Бен Али рассматривал всё сквозь призму борьбы с исламским интегризмом. Однако вскоре эта борьба стала охотой на ведьм, и начались пытки в полицейских участках, последовали и тюремные заключения в невыносимых условиях. Объясняя всё это необходимостью борьбы с исламистской угрозой, Бен Али практически установил абсолютную диктаторскую власть, сеял в стране страх, запрещая продажу иностранной прессы, преследуя оппозиционеров, даже тех, кто не имел ничего общего с идеологией исламских фундаменталистов. И в результате репрессий, добившись некоторого подъема экономики и стабилизации, Бен Али был признан на Западе «оплотом избавления от исламизма». И так продолжалось в течение почти трех десятилетий. И Бен Али, подбадриваемый извне, под снисходительным взглядом Запада, подчинил свою страну такой диктатуре, при которой у тунисских граждан были отняты все права. Тунис как бы стал личной фазендой, частной собственностью Бен Али. Семья его всё расширялась, пользуясь бесстыдно всеми благами. Один из его братьев, схваченный во Франции на месте преступления за торговлю наркотиками, был освобожден парижским судом и благополучно перебрался в Тунис в свои поместья с позолоченными в интерьерах виллами. А в его стране продолжались аресты, дипломированная молодежь сидела без работы, усилилась подпольная эмиграция, и желающие покинуть страну рисковали жизнью, перебираясь за море. Сам же Бен Али постоянно ездил с официальными визитами в Европу, где его хвалили, ставили в пример, говоря о нем как о «символе прогресса и демократии». Может показаться ка-

ким-то сном, но когда Бен Али пришлось бежать из страны, как последнему вору (во всех смыслах), Запад транслировал по телевидению речи Ж. Ширака, Н. Саркози, Д. Штраус-Кахи, С. Берлускони и других политиков, которые раньше бездумно его восхваляли, а теперь что-то жалко лепетали по поводу бегства из Туниса этого негодяя. Но это у них называется «реальной политикой» (*real politik*).

Тунис давно превратился в прекрасную туристическую страну. Правда, туристы не замечали и не знали скандальных аспектов режима Бен Али. Они были для них скрыты. Надо было быть либо журналистом — политическим наблюдателем, либо писателем с таким же талантом, чтобы знать, что реально происходит в стране. Лично я поехал в Тунис еще в 2005 г. по приглашению французского культурного центра в Тунисе с лекцией для студентов. Меня посменно сопровождали полицейские в штатском. Студенты задавали вопросы исключительно по литературе, а после лекции пришли ко мне, чтобы пошептать на ухо всё то, о чем они думают... Я возненавидел это свое путешествие и эту свинцовую атмосферу, в которой пришлось общаться со студентами...

Многие годы журналисты, разоблачавшие эту гиперполицейскую систему правления Бен Али, подвергались преследованиям и были брошены в тюрьмы. Самым знаменитым был Бен Брик. Но французским средствам массовой информации удалось передать его протестные послания. Практически все уже знали, что в стране Бен Али пытаются и бросают в тюрьмы всех, кто противился режиму.

А во время покушения на синагогу на Джербе (11 апреля 2002 г.), когда погиб 21 человек, люди неожиданно узнали, что Бен Али, который раньше так умел подавлять террористов и замолчать исламских фундаменталистов в Тунисе, не справился с этим преступлением и не смог запретить Аль-Каиде кровавые акты. Достаточно сказать, что «ками-

кадзе», устроивший на Джербе взрыв, войдя в синагогу, был выходец из иммигрантской семьи во Франции и имел тесные отношения с немцем, обращенным в ислам.

Искра^{*}

Я никогда ничего не слышал о маленьком городке Сиди Бузид. Однако именно там всё и началось. В общем-то обычный инцидент, довольно частный, но когда частота уже зашкалила, то произошло непоправимое.

На этот раз все случилось с молодым, 28-летним человеком, с дипломом, но безработным, жившим в большой семье с матерью и сестрами. Чтобы как-то прокормить их, парень достал тележку, на которой разместил сезонные фрукты и овощи, и пошел их продавать. Стал передвижным торговцем, которых — множество повсюду в городах Магриба. Часто такими пользуются владельцы машин, которые что-то не успевают купить в магазинах и в последнюю минуту, подъезжая ближе к улице, покупают всё нужное к ужину. Передвижные продавцы не могут открыть свою лавочку, — у них нет средств для этого. Обычно они нищие люди и живут тем, что заработают за день. Нередко их тележки нарушают движение, но это не столь серьезно. Да и полицейскому, который где-то за углом следит за такого рода нарушениями, можно всегда что-нибудь дать в подарок из фруктов, и продавец с тележкой едет спокойно дальше на встречу с покупателем. Конечно, бывают случаи, когда бдительные полицейские запрещают передвижение, демонстрируют свою власть и суровость, и тогда продавцы уходят со своего маршрута. Однако есть такие выгодные места, что приходится и заплатить за них. И продавцы овощей и фруктов, и всякой зелени держат наготове несколько банкнот для полиции. Таким образом стабилизируют отношения власти и зависимости от нее, образуются

^{*} Это повествование лежит в основу повести «Огнем!» (Par le feu), написанной Т. Бенджеллуном в 2011 г.

даже квартальные ячейки, подобные мафии в городах Италии. Если хочешь работать — плати. Но если торговец противится, то его тележку либо переворачивают, либо конфликтуют за «нарушение на общественных дорогах».

Конечно, то, что зарабатывает на жизнь такой торговец, — невелико. Хватает только на еду для семьи. И еще никто и никогда не видел торговца с тележкой богатым. Мохаммед Буазизи тоже был из тех, кто зарабатывал на жизнь легким трудом, лишь бы не умереть с голода. Он не хотел нищенствовать, занимаясь попрошайничеством. Но не хотел и мафиозных сделок. И не любил тех, кто ворует, вообще занимается чем-то запретным, незаконным. Но он знал и видел, как Бен Али, правитель Туниса, как его семья, и семья его жены бесстыдно грабят его страну. Как и все граждане этой страны, Буазизи был в курсе того, как это многочисленное семейство со своими детьми, кузинами, зятями и кумовьями, и прочими родственниками и друзьями, разветвляясь, захватило своими щупальцами все богатства страны. И как оно не скрывало, а даже хвасталось своими миллионными доходами. Вся большая торговля все предприятия, все иностранные инвестиции были подвластны только Бен Али.

Все обо всём знали, говорили, и даже закрывали глаза, потому что, «несмотря ни на что, Тунис все-таки покончил с исламским фундаментализмом»... И жители даже таких известных тунисских городов, как Марса, Сизи Бусаид, Хаммаммет даже хвалились в моем присутствии тем, что живут в стране, где царит «безупречная безопасность», где нет ни воровства, ни нападений на улицах, где полиция «прекрасно делает свою работу». Это, конечно, говорили люди не бедные, обеспеченные, сотрудничавшие с режимом, обеспечивавшим им комфорт и немалый доход. Они, естественно, были признательны Бен Али, этому бывшему генералу, который снизошел до брака с парикмахершей, а

потом и сумели довольно быстро захватить всю полноту власти в стране и разграбить ее...

Французские и итальянские политики приводили Тунис в пример: он для них был образец того, как должен жить арабо-мусульманский мир. Один из лидеров фундаменталистов сбежал в Лондон. О нем не вспоминали, как и о его движении аль-Нахда («Возрождение»). Исламский радикализм как бы похоронили в Европе. Однако, во время моего визита в Тунис в 2005 году одна студентка поведала мне шепотом о том, что женщинам и девушкам полиция даже запрещает просто носить шарф на голове, лицо не закрывающий, но видя и в этом признак подчеркивания своего мусульманства, творя произвол тогда, когда люди не совершали никаких актов агрессии, не бросали бомбы, а просто уважали религиозные традиции своего народа, конечно, выражая и в этом свою оппозицию режиму Бен Али.

Мохаммед Буазизи завершил свою учебу тогда, когда умер его отец, батрак на сельхозработах. И сын оставался единственным кормильцем семьи из семи человек. И он решил тогда купить тележку и стать уличным торговцем овощами и фруктами. Но у него не было нужного разрешения. И, конечно, его часто преследовали муниципальные агенты. А парень не хотел вступать с ними в коррупционные сделки; кое-кто из агентов постепенно от него отвязался, но не все. Буазизи не сдавался. Хотя ему и угрожали конфисковать его имущество. В конце концов, в то утро 17 декабря 2010 г. ему пришлось с толкнуться с этими упорными его преследователями. И они не просто конфисковали и тележку, и весь товар, дорого доставшиеся Буазизи, но и ударили его, и толкнули, и плюнули на него. Это было демонстрацией высшей степени унижения. Буазизи захотел вернуть свою тележку, свое орудие труда, объяснив нападавшим агентам, что он кормит большую семью, что не делал ничего плохого... Но это еще больше взбесило агентов. И тогда Мохаммед решил обратиться в муниципалитет, но

там никто не стал его слушать. Буазизи пошел в губернскую управу. Но и там никто не хотел ничего знать. И даже не задумался над тем, что такого рода человеческое унижение может спровоцировать революцию в стране и за ее пределами со всеми вытекающими из этого последствиями.

Конечно, можно на многое не обращать внимания, быть рассудительным, внушать себе, что все зависит от судьбы, что жизнь состоит не только из неприятностей, что всё еще — впереди, и есть свет в конце туннеля. Не терять, словом, надежды на лучшее будущее, внушать себе, что вокруг тебя есть много прекрасного — и цветение деревьев, и полет бабочки, и улыбка на лице ребенка, верить в человечность, говорить себе, что «всё пройдет», надо только пережить неприятности. Господь — велик и откроет и тебе когда-нибудь врата рая»...

Всё это напрасно.

В тот день, когда с Буазизи случилась беда, он бился головой об стену, ища выхода из своей ситуации, раздумывал, что делать дальше. Никто на него не обращал внимания, и он сидел на земле в одиночестве, избитый. Никто не протянул ему руку, не приободрил. Словом, ждать справедливости не приходилось. Мохаммеду Буазизи, как и всем прочим обычным его согражданам, оставалось только набраться терпения и претерпевать или вспоминать страдальцев из священных писаний... Но Буазизи не хотел думать об этом. Ветхозаветный Иов был слишком далек от его познаний. Как были далеки и те, рядом с ним живущие или проходившие мимо него люди. Не было никого, кто бы решился помочь ему. Да и как он теперь будет смотреть на мать и сестер, если вернется домой? Сам Бог покинул его, думал Мохаммед. Даже был уверен в этом. Он посмотрел на небо в это холодное декабрьское утро. И не увидел там никакого доброго знака. Абсолютное одиночество. Умноженное на ужасное ощущение невыносимой несправедливости. Ему дали пощечину. На него плюнули. С ним посту-

пили хуже, чем с собакой. Его человеческое достоинство было помято, он, как личность, был просто стерт с лица земли... У него не осталось ничего, даже уважения к самому себе. Так ему казалось теперь, хотя он и возмущался всем тем, что с ним произошло. В эти минуты все смешалось: и чувство унижения, и чувство своего человеческого достоинства. Как обычно: и гнев, и задетая честь вместе просыпаются в человеке. А уж если тебя топтали ногами агенты муниципалитета местной управы, то они только разбудили в тебе твое чувство собственного достоинства. Недаром говорят в народе, что безумие творится тогда, когда зло совершают бедные люди в отношении еще более бедных людей. Ведь эти агенты — несчастные, в общем-то, твари, живущие за счет коррупции, рабы своих хозяев, приказывающих им делать то, что им угодно, — могут попросить принести им на стол чашку кофе, а могут и заставить сделать ремонт в квартире. И бедные служаки им повинуются, раздавятся в лепешку, но сделают всё, что прикажут их начальники. Надо просто закрыть глаза на всё, — ведь им дали место на этой работе. Быть вечным должником кому-то — это и есть новая форма рабства...

Мохаммед Буазизи решил с рабством покончить.

Но как решиться это сделать, превратив себя в пылающий факел заставив себя сгореть в пламени огня? В магрибинской культурной традиции это абсолютно невозможное деяние, уж не говоря об исламе, где самоубийство запрещено. Тот, кто посылает вызов Богу, по собственной воле идя на верную смерть, — будет гореть в вечном огне.

Наверное, Мохаммед Буазизи видел какие-то индийские фильмы или слышал, что в Индии могут сжечь себя¹. Конечно, деяние это весьма, должно быть, зрелищно и имеет прямое значение. Ведь огонь не оставляет от человека ничего. Ни следа. Но сжигая его живьем, заставляет и чудо-

¹ В средние века у индусов существовал обычай (сейчас запрещенный), когда вдовы сжигали себя в пламени костра, на котором жгли тело умершего мужа (С. П.).

вишно страдать. И Мохаммед это сделал публично, перед административным зданием — там, где ему отказали, не выслушали его, не решили по справедливости его жалобу и на полицейских-взяточников, и на преследовавших его агентов муниципалитета. Он знал теперь, что потерял всё, что ему никогда не вернут отнятую у него тележку, и что ему никто не пришел и не придет на помощь. Знал, что в этой несчастной стране бедняки обречены жить проклятыми только потому, что они — бедные. Его отчаяние должно было обрести такую крайнюю форму, которую люди не могли бы уже не заметить, и оно должно было поразить даже тех, кто был равнодушен, кто был несправедлив, кто просто шел своей дорогой, не замечая другого. Да и вообще, кому мог быть интересен передвижной торговец овощами?

Повеситься в своем доме? Кто бы заметил? Только родственники. Перерезать себе вены — абсолютно тоже никому ничего не докажешь. Напичкать себя снотворным? Надо было еще иметь деньги, чтобы купить таблетки; да и это тоже — всего лишь молчаливое самоубийство. Да еще и сказали бы: «Какая счастливая смерть, тихо скончался, во сне».

Нет, Мохаммед захотел умереть так, чтобы его смерть послужила бы уроком для других, была полезна всем таким же беднякам, как и он, полезна всей стране. Может быть, конечно, о стране он и не подумал, но, облив себя бензином и нажав на свою зажигалку, выпустив из нее огонек, он, наверное, успел подумать о матери, о семье, может быть и об отце, и даже о том, что скоро увидит его... Уж лучше добраться до него, чем жить униженным. Без человеческого достоинства, без чести. Без денег. Обреченным на вымогательства всяких мелких жуликов, трясущихся перед своими хозяевами — мошенниками покрупнее.

Огонь охватил его сразу. Но Мохаммед неподвижно стоял. Но когда люди прибежали, чтобы спасти его, было уже слишком поздно. Пламя полыхало быстрее, чем они спохватились, и огонь сделал уже свое дело. Человек еще дышал, но тело его всё обгорело. Жила только душа, которая слышала благоухание рая. А может быть, и видела адский огонь...

Его доставили в больницу г. Сфакса, потом — в ожоговый центр Бен Аруса неподалеку от столицы. Но тело его уже погибало, и в пепел превращалась его душа, мечущаяся, словно в мрачных застенках догорающих останков человека, — последний свидетель того, во что может его превратить унижение. А 11 миллионов людей захотело увидеть всё это своими глазами на экранах своих телевизоров, и многие думали, что Господь поможет этому несчастному, что он воспрянет, потому что его жизнь была отдана во имя спасения своих сограждан от позора человеческого унижения.

27 декабря жители родного города М. Буазизи вышли на демонстрацию. Это было началом того, что было названо потом «жасминовой революцией»².

Через день президент Бен Али посетил больницу, где лежал Буазизи. Картина визита была гротескной: Бен Али «по-отечески» заботился об умирающем, на самом деле проклиная этого несчастного, чье самосожжение заставило выйти на улицы народ страны, устроить массовые манифестации протеста ненавистному режиму. Тело умирающего походило на почерневшую мумию. До конца оставалось недолго. Мохаммед Буазизи скончался 4 января. И через десять дней режим Бен Али пал, отдал душу небу. Президент смылся, убежал из Туниса как настоящий вор, просил убежища в разных странах, потом обосновался в Джедде, в Саудовской Аравии, на исламской земле, которая не могла

² В стране жасминовые деревья, растущие повсюду, зацветают рано, предвещая весну (С. П.).

отказать просьбе мусульманина, хотя это надо бы было еще доказать, — верным ли был мусульманином Бен Али. (Что касается его жены и его семьи, то они все устроились в Дубае.)

Вот так М. Буазизи стал героем, несмотря на свое почти мертвое тело. Его жертва не была бесполезной. Наверное, он надеялся на это, но ни он сам, да и никто не мог себе представить все то, что случилось после его самосожжения. Историческое событие. Значимое не только для Туниса, но и для других стран, спокойно и достойно поднявшихся во имя своего освобождения. (Беспорядки, если и случались, то были спровоцированы действиями полиции, жесткость действий которой привела к смерти десятков людей и к сотням раненых.) Но народ, обреченный на 23 года безответственной диктатуры, смог, наконец, освободиться от Бен Али и его семейства от власти и засилья огромного марионеточного клана, грабившего его и страну.

Был обнародован весь масштаб зла, совершенного Бен Али. 7 февраля 2011 года было сообщено в тунисской прессе о реальных цифрах и безработицы, и эмиграции, и проблемах образования, и фальсификации с выборами и перевыборами Бен Али... Люди узнали, что почти полтора миллиона подростков покинули школы, а 70% тунисской молодежи предпочитали эмиграцию, мечтали любым способом покинуть страну...

Страна, где хвастались «экономическими успехами», многим обязана своему имиджу, благодаря поддержку Запада. Италия, к примеру, была вторым (после Франции) торговым партнером Туниса и третьим иностранным инвестором. Она надеялась, что Тунис поможет ей с поставкой газа из Алжира...

После всего произошедшего Тунис стал заразительным примером для многих стран. За ним последовал Египет, где «хозяин» страны был еще более могущественным, чем Бен Али, «Непромокаемым». И еще свирепее и упрямее.

Алжир

Из всех стран, которые должны бы были сменить режим, Алжир — та, где власть будет сопротивляться переменам еще больше и, не задумываясь, прольет кровь манифестантов протестов. Это — военный режим, и он контролирует страну с момента достижения ею Независимости (1962). Армия находилась вначале под властью полковника Хуари Бумедьена, свергнувшего Бен Беллу в 1965 году во время военного переворота, потом — в руках Шадли Бенджедида, а теперь (во времена тунисской «революции жасминов». — С. П.) под властью Абделазиза Бутефлики, который, в отличие от Бумедьена, — человек невоенный, бывший министром иностранных дел при правлении полковника, но исполняющий все приказы армии.

Единственный гражданский человек, отказавшийся от всевластия армии, был Мохаммед Будиаф, ставший на полгода президентом Алжирской Республики, но его убили во время публичного мероприятия с его участием (1992). Алжир — это то, что представляет собой его армия. Она — единственный источник законности миропорядка и представленному народу, и представляющему свою страну всему миру. Вне армии и ее законов ничего невозможно. Она контролирует всё, все проявления власти, оставаясь при этом в тени, оставляя гражданским лицам только внешние атрибуты власти. Да и сам Бутефлика — уже старый и больной человек — не может иметь кредит политического доверия, представлять свою страну так, как многие надеялись в самом начале его возвращения в страну из Швейцарии, после фактической своей ссылки туда во время падения режима полковника Бумедьена.

В течение 20 лет Алжир реально находится в аномальных условиях, когда Свобода принадлежит только воле армии, совершающей все свои деяния любой ценой во имя поддержания «порядка» в стране.

В субботу 12 февраля 2011 года армия мобилизовала 30 000 полицейских, чтобы они запретили 2000 алжирцам проводить демонстрацию. Были осуществлены сотни арестов, среди которых были и четверо депутатов парламента, и десятки раненых.

По случаю демонстраций против дороговизны жизни в стране в период с 6 по 9 января 2011 г. подобное уже случилось: 5 убитых и 800 раненых. По инициативе национального комитета по координации борьбы за демократию, — движения, представленного оппозиционными партиями и независимыми профсоюзами, — демонстрация была все-таки организована после 25 попыток самосожжения людей, которые просто больше не могли жить в стране, огромные, несметные богатства которой захвачены группой генералов, что породило бездну социальных противоречий, когда нищий народ живет в реально богатой стране. Среди тех, кто решился подвергнуть себя самосожжению, по примеру тунисца, четверо сгорели дотла...

А в ночь с 16 на 17 января 2011 г. 20 нелегальных эмигрантов, решившихся перебраться на лодке в Испанию, были найдены моряками национального флота в районе залива у Аннабы: они подожгли свою лодку, и некоторые сгорели живьем, а другие утонули в море. Один только выжил. И тот сказал: «Даже смерть меня не захотела забрать». Но он потом поджег себя перед муниципалитетом, что в 70 км от столицы. Его звали Карим Бендим.

Все, кто подверг себя самосожжению в Алжире (перед префектурой или муниципалитетом, или министерством) продемонстрировали одно и то же: люди жертвовали собой, обвиняя власть, в общем вынудившую их на совершение такого деяния, несовместимого ни с их религией, ни с их традиционной культурой. (В новейшей истории это случилось: так во Вьетнаме, в 1965 г., местный монах сам взмошел на костер во имя протеста против войны, которая велась в его стране.)

После того, что произошло в Алжире, различные культурные организации в ней, демократического толка, заявили, что подобные акции самосожжения напомнили Власти, оставшейся ничем не затронутой, что она просто «высасывает кровь из своей страны». О том, что современное государственное устройство страны оставляет молодежи «только возможность поскорее умереть путем самоубийства». О том, что необходима «смена Власти», всей системы управления Алжиром, либо найти какие-то «реальные средства и возможности, чтобы уберечь страну от народного горя и хаоса» (декларация от 28 января 2011 г. Народного собрания по защите культуры).

Алжир — это сложный комплекс последствий войны за Освобождение от французского господства, которые живы по сей день. Отношения с Францией остаются напряженными. Огромная часть эмигрировавшего из страны населения сталкивается с проблемами поколения своих детей, рожденных во Франции, имеющих уже французское гражданство. Отношения с соседним Марокко у Алжира решительно плохие из-за дележа территории Западной Сахары. Алжир поддерживает независимые движения фронта ПОЛИСАРИО и не хочет никаких компромиссов с Марокко. Границы страны закрыты для марокканцев, а Марокко, наоборот, открыло свои границы. Алжирская армия упрямо ненавидит Марокко, забывая о том, что оно оказало дружескую поддержку стране во время войны за Независимость.

Но у Алжира — замечательный народ, отважный и терпеливый, который хочет, чтобы дружеские отношения с Марокко восстановились. Однако Армия использует сахарский вопрос усиления напряжения на юге Алжира, отвлекая туда ресурсы, препятствуя таким образом и развитию и своей страны, и Марокко.

Конечно, всякий бунт долго не стихает и создает немалые трудности. Если бы в Египте Мубарак, а в Тунисе Бен Али не капитулировали, и в Алжире к этому бы принудили

и Армию, было бы по-другому. Но Алжирская Армия не-легко сдает свои позиции. Разве что внутри нее самой не созреет недовольство, и военные примкнут к протестующим народным массам. Но тогда может разразиться снова гражданская война, подобная той, которая происходила уже в стране после исламистского мятежа 1991 года. Эта война унесла сто тысяч жизней.

Но вспышки терроризма, порожденного этой войной, все угасли. И покушения на невинных граждан продолжаются.

Марокко

Когда тунисской революции удалось заставить Бен Али бежать из страны, а алжирцы начали манифестации у себя на родине, где в январе 2011 г. уже четверо молодых людей подожгли себя, мировая пресса обратила свой взор и на Марокко, полагая, что «зараза» может задеть и соседнюю страну. Но если в Марокко еще находилось под властью Хасана II, и «свинцовые годы» его правления еще длились, без сомнения марокканский народ тоже совершил бы свою революцию. Но нынешний король Мохаммед VI, взошедший на престол в июле 1999 г., открыл в Марокко новую эру, когда многое изменилось в стране.

Он рассмотрел папки с документами, свидетельствовавшими о репрессиях, царивших в годы правления своего отца и учредил комиссию по рассмотрению дел жертв этих репрессий и их свидетельствований о жестоких пытках и т.п. Были изучены и обнародованы 29 000 досье и несколько тысяч человек были оправданы. «Это больше никогда не случится», — таково было заявление нового монарха. И на самом деле, пытки больше не практиковались в полиции, не фиксировались и неоправданные аресты, исчезли и политзаключенные. Конечно, кое-где в стране полицейские проявляли свое излишнее «усердие» (достаточно почитать доклады международной Комиссии по амнистии или Независимой Марокканской Лиги по борьбе за права человека).

Но марокканская пресса не обнаружила в стране после тунисской революции каких-либо ущемлений свободы и, точнее сказать, обнаружила «некую» свободу. Однако, надо признать, что в национальных СМИ присутствует и некое табу по освещению жизни и королевской семьи, и религиозных устоев страны, и всего того, что касается ее целостности, в частности, в вопросе о спорной территории Западной Сахары. Всё другое «попадает» в поле зрения журналистов, и они пишут обо всем на свете и когда захотят, пока их не схватят за руку за диффамацию «ложных слухов». Но все это не означает, что в Марокко всё замечательно и прекрасно. Да и не все журналисты утверждали это. Некоторые газеты должны были прекратить свою деятельность из-за нападок власти, — она вовсе и не пыталась никогда покончить с цензурой, царившей ранее в стране до 1999 г. А некоторым изданиям был предъявлен огромный штраф. Но тем не менее, нельзя не признать, что свобода слова в стране так или иначе прокладывает себе дорогу, хотя и под пристальным наблюдением Власти.

В стране остается пока совсем нерешенной важная проблема: коррупция. Король создал комиссию по борьбе с коррупцией, но ее деятельность не увенчалась успехом. Эта проблема компрометирует работу и органов правосудия, и правительства.

Уровень безработицы в стране (особенно среди дипломированной молодежи) очень высок. Бедность затрагивает огромную часть населения Марокко. В то время как незначительное меньшинство жителей обогащается, создавая бездну социальных различий.

Конечно, положение женщин улучшилось после принятия Кодекса о личном статусе. Улучшилась и инфраструктура: построены дороги, порты и мн. др. Но истинным бичом для Марокко по-прежнему является безграмотность народа — почти 40% жителей королевства, особенно в сельской местности, не умеют ни читать, ни писать. Король

прилагает немало усилий для улучшения жизни своего народа, и разные политические партии вдохновляются его примером. Но исламисты тоже не дремлют и даже имеют свое представительство в парламенте. Пока не прибегают к насилию, соблюдая принципы демократии.

Однако демократия — это не игрушка. Это — особая культура. Марокко только-только обучается ее правилам, постигает ее основы. Марокканцы еще очень далеки от нее, и их государственное устройство еще не пример демократии, хотя прогресс в нем — налицо.

Вот такие дела. Тунисская, как и египетская и другие «цветные революции», конечно, имеют много общего между собой и в известной мере повлияли и на марокканскую политическую жизнь. Очевидно главное: надо продвигать социальные реформы и чаще прислушиваться к голосу народа.

Тахар Бенджелун

ПРОТИВ ЖИЗНИ*

Это против самого способа жизни, ее культуры и просто радости жить — в пятницу вечером террористы совершили свой преступный акт. Футбольный матч, концерт рок-музыки, ресторан, бар, кафе и даже просто улица, где были люди, — т.е. обычная жизнь парижан, проводящих свой вечер перед концом недели, чтобы отдохнуть, развлечься, что-то узнать новое, была подвергнута смерти. Сама жизнь, с ее маленькими привычками, простыми радостями, встречами друзей, дружескими посиделками, должна, с точки зрения убийц, быть подвергнутой нападению, смертельной атаке, как это уже случилось в январе, когда был совершен теракт против свободы печати, свободы слова, свободы юмора. Во всем этом есть своя логика, смысл которой от нас ускользает, потому что мы стараемся жить по-другому, руководствуясь здравым смыслом. Но можно постараться понять и объяснить ужас происходящего, даже если это не вписывается в понятие гуманизма, лишено человечности и есть проявление слабости человеческого разума. Другой образ жизни, другая культура, которая царит во Франции, свобода ее выражения, достигшая в долгих битвах прошлых веков, дорого доставшаяся людям эта демократия, которая управляет отношениями людей друг с другом, существование законов и прав, — короче, эта цивилизация, в которой мы живем, невыносима для солдат ненависти и варварства. Они противятся этой цивилизации, и противопоставляют ей религию, где уживаются вера в милосердие

* «Le I». № 83. 18/XI.2015.

Аллаха, смирение, но одновременно и циркулирует торговля наркотиками, существует проституция, сексуальное рабство, рынок детей, отрезанные головы, невежество, мрак предрассудков, насилие и грабеж, зверские убийства.

Разве это религия? Это скорее ее современный занавес, сокрытие того, что было реально в VII в., хотя там тоже были и свои войны, и своя борьба, беспощадная борьба за власть и могущество без границ.

Но все трансформации религии не случайны. Вспомним март 2003 г. и развязанную Бушем войну в Ираке. Можно вспомнить и еще более ранний, в 1952 г., переворот в Египте, за которым последовало установление тоталитарных режимов на Ближнем Востоке. В отсутствии демократии и свободы, когда арабская цивилизация больше не существует и никто не признает их влияния, расцветает идея «Халифата» — анахроничного и враждебного другим народам и их культурам... Страны Персидского Залива поддерживали эту идею оружием и деньгами. Конечно, не официально. Деньги были в руках дельцов, которые развивали мифическую идею «Халифата» и, как в казино, разыграли карту вложения миллиардов в разрушительную войну, вызывающую отвращение даже у самих арабов...

Теракты, осуществленные в пятницу, были тщательно подготовлены и синхронизированы. Они имели точный прицел: сеять страх среди простых людей, которые живут своей нормальной жизнью, разрушить эту норму, воцарить ужас там, где в общественных местах обычно собираются обычные люди. То есть те, кто с давних пор выбрали жизнь и заглушали в себе инстинкт страха смерти. Невинные ни в чем люди. Но именно их жизнь и не должна приниматься в расчет, их надо отправить в другой мир, на другую планету. Быть может там страх и ужас не существуют вовсе...

И именно сейчас, больше чем всегда, мусульманские страны, верующие в ислам люди, в то, что ислам сегодня не должен быть воинствующей религией, те, кто верует в мо-

нотеистическое братство, должны мобилизовать свои усилия, ибо мерзкие люди украли у них эту религию, несущую мир, изнасиловали ее, и именем Аллаха теперь убивают невинных...

Тахар Бенджеллун

«СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, ИЗВЕЧНОЕ МОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ»*

В 1920 г. Поль Валери¹ написал большое стихотворение или метафорическую поэму о Времени и Смерти. Он назвал это произведение «Морское кладбище», потому что был одержим тайной морских глубин, их очарованием, идеей бессмертия в них поглощенного. С тех пор, когда моряки гибнут в морских волнах, не возвращаются больше на берег, говорят, что море — это не только бездонная могила, но и безответная, беззвучная пропасть, не возвращающая эхо. Сегодня, глядя на фото тел мигрантов, нашедших свой «приют» в море, извлеченных из вод пролива Лаперуза, я думаю об этом стихотворении, прежде чем вообразить, как и зачем эти люди так трагически закончили свой земной путь. Мужчин и женщин плотно, наглухо замкнули высокие волны, обрекли на одиночество и гибель. Море стало их последним прибежищем, кладбищем всех их надежд и упований, могила всех их мечтаний о лучшей жизни. Глаза их закрыла вода, тела их застряли в водорослях. Их окружило молчание. Из их памяти были выплеснуты все воспоминания. Что сказать? Что написать? Сами небеса и боги безразличны к их судьбе...

Покинув ли свою Африку южнее Сахары, уехав ли из Ливии или Сирии, они все мечтали о Европе, она стояла у них перед глазами, была их иллюзией, их заблуждением. Но они знали, что другие, отважившись на это путешествие, завершили его, хотя другим не посчастливилось, и они

* «Le I», № 86. 19.V.2015 (фрагменты).

¹ Paul Valéry (1871–1945), крупный французский поэт.

погибли. Но разве можно назвать жизнью то, что оставалось этим людям, севшим в лодки, жизнью без достоинства и чести, без работы, без света в сердце? Когда уже совсем нечего терять, люди пытаются совершить невозможное. И тогда они выбирают дорогу изгнания и уплывают в море, и плывут до последнего вздоха.

Они долго шли к побережью, пересекая пустыню и горы, и вот, наконец, кого-то из них взяли на борт в эти утлые надувные лодчонки, не выдержавшие груза набившихся в них людей. И кто-то пошел ко дну, когда волны наклоняли и переворачивали эти посудины...

Те, кого не спасли, так и остались в глубинах моря. Они лежат на дне как сокровища в трюмах после кораблекрушений. Они — как вещественные доказательства в процессе, который никогда не будет иметь места в сегодняшней Истории. Они всё еще одеты в свои лохмотья. Но куда делись их мечты, которые питали их тела и сердца, звучали музыкой в их душе? Всё растворилось в бездне морской, поглотившей их жизни, беспощадной и безжалостной.

Войны, раздирающие Сирию, Ирак и Ливию, и не только эти страны, имеют неожиданные последствия: выбрасывают целые семьи на дорогу беженства из своей страны, бросают в руки мафиозных торговцев людским товаром, предлагающих обрести в Европе приют и надежное убежище.

На средиземноморском побережье нет тел людей, нелегально покидающих свои страны и погибающих от истощения; сегодня сирийские, ливийские и иракские беженцы гибнут в морской пучине. Их утопило путешествие в Европу. 1300 смертей только в 2015 г. В 2014 — еще больше: 3500 утонувших. Не проходит дня или ночи, чтобы кто-то не утонул; морской патруль не может подобрать всех, особенно если погодные условия трудные. И люди уходят в морские глубины. Европа объединяет усилия. Принимает решения. Не видя ничего экстраординарного в том, что лю-

ди гибнут недалеко от ее берегов каждый день. Драма продолжается. А надо бы по меньшей мере выработать политику экономической помощи и сотрудничества с теми странами, откуда непрерывно идет эмиграция, откуда бегут люди. Надо найти средства, чтобы вести эффективную борьбу с мафией новых работорговцев.

Дело осложнено не только войной в Сирии или Ираке. В Ливии вообще нет государства, а есть какой-то конгломерат племен с двумя правительствами, одно из которых признано в ООН, другое — нет... Европа еще раз показала свою неспособность решить тяжелые проблемы. Речь не идет о том, чтобы принять в свое лоно всю нищету мира. Но если Европа не будет решительно и целенаправленно действовать в искоренении Зла, порождающего эту нищету, то тысячи отчаявшихся людей будут продолжать испытывать свою судьбу и пересекать море. Смерть их уже давно не страшит.

Тахар Бенджеллун

ЛЕВЫЕ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ В ПОДЪЕЗДАХ*

В Марокко мое поколение было воспитано в духе французских левых. Они были нашей надеждой, нашим спасением. Мы питались их идеями. Мы понимали левое движение во Франции как социальный прогресс, справедливость, защиту неимущих и бедняков, равенство мужчин и женщин. Проявление их личностной индивидуальности, преобладание национального интереса над частным, солидарность с угнетенными народами и живущими еще под колониальным гнетом (Марокко получило независимость в 1956 г. — *С. П.*). В нашей душе левое движение во Франции (коммунисты и социалисты. — *С. П.*) представлялось дружбой без границ, щедростью человеческих сердец, отрицающих эгоцентризм Запада. Левое движение — это, в нашем понимании, особое мировидение, образ жизни, стремление изменить мир к лучшему, избавить его от горя и нищеты, сделать страдания человечества менее тяжелыми и, главное, идти вперед по дороге в будущее без войн.

Словом, левое движение было мечтой. Мечтой о радужном мире... Мы хотели света, то есть свободы, которую даровало правовое государство, справедливости, независимости от политики правящих кругов и их денег. Мы были наивными, и мы это знали. Но когда ты молод, все мечты дозволены, говорили мы себе.

Увиденные из Марокко, где мы жили под свинцовым колпаком власти, ценностные ориентиры левого движения, как мы их тогда представляли, могли быть только освобо-

* «Le I». № 147. 22.III.2017.

дительными и прогрессистскими. Но во Франции левое движение утрачивало мало-помалу свои истоки, теряя свои корни, свои изначальные качества. Вначале его представители ссылались на разоблачения политики сталинизма, потом социалисты мало-помалу скатывались на позиции потепления, отказываясь от фундаментальных требований по отношению к политической конъюнктуре в стране скатывались на дорогу краха левых идеалов. Это происходило в течение трех или четырех десятилетий после войны, но сегодня можно сказать, что левое движение осталось только в наших юношеских мечтах.

Сегодня считается нормальным и даже приемлемым факт, что каждый претендент на президентский пост исповедует и левые, и правые идеи, реализуя синтез, который ранее невозможно было даже представить. Перед лицом реальной опасности крайне правого наступления и сдачи позиций умеренно-правых консерваторов число мужчин и женщин, принадлежащих к так наз. «левым», считают выход на «средний путь» единственным решением.

Это конец «левых». И это надо признать. Будем реалистами. Нет больше идей, которые зовут к социальному прогрессу в будущее, идей, которые правили миром. Есть только мировой рынок денег, который решает судьбу народов.

Именно в этом контексте, становящемся все более и более жестоким, история стирает следы левого движения во всем мире. Национализм, связанный с популизмом, доходит в Европе до решений о закрытии границ. И не только меняют менталитет народов. Выборы Трампа в США, политика неприятия беженцев в Венгрии, в Польше и в ряде других стран, показатель числа голосующих за крайне правые партии, будь то в Голландии или во Франции, трагедии терроризма от имени религии, что невозможно принять, что противоречит здравому смыслу; все увеличивающийся наплыв беженцев в Европу, этих отчаявшихся в жизни у

себя в странах людей, — всё это внушает страх, питает все растущее чувство тревоги, а главное — незнания истинной реальности, на чем, собственно, и играют крайне правые партии, в то время как левых и даже крайне левых не слышно или они абсолютно не соответствуют реальности. Либо боятся, прячась где-то в подъездах...

Народ не постоянен. Мы думали, что простой народ всегда за «левых». Ошибались. Он может сменить свое мировидение и голосовать за крайне правых, аплодировать авторитарным режимам. Это самая печальная констатация сегодняшних дней, которую должна принять к сведению «борцы за лучшее будущее». Мир сегодня присутствует при разрушении демократии, при фальсификации истории, при ностальгии по фашизму... А я помню еще об эпохе, когда вся Франция каждую субботу выходила на улицы, чтобы протестовать против войны во Вьетнаме, против расизма, против диктатур в арабском и латиноамериканском мире. Это было в 70-х... Последнее эхо мая 68 года... Последних французских баррикад...

Тахар Бенджеллун

ОГРОМНОЕ И ПУСТОЕ ЗЕРКАЛО*

Когда-то аравийские бедуины жили в шатрах, перемещались по пустыне на верблюдах, и пока караван медленно шел, они, покачиваясь на верблюжьих спинах, мечтали о рае, который был, как кто-то им сказал, где-то там, вдали, за песками.

Они жили в святых для мусульман местах и стали их стражами. Их пустыня была их землей, их памятью и их культурой. В XVIII в. теолог Мохаммед Бен Абд аль-Ваххаб предложил старейшине семьи саудитов исповедовать ислам, следуя только законам шариата, истинным и чистым. Отсюда и пошло течение ваххабизма, который теперь практикуется не только в Саудовском королевстве, но и в Катаре. И вот однажды, когда черной струей мощно забил фонтан нефти прямо из-под этой земли, черные лужи расплылись по залитым солнечным светом пескам пустыни. Это был мрачный день, потому что был исполнен темной энергией нефти.

С тех пор палатки и шатры исчезли и верблюды вымерли от тоски и печали. Наступила власть денег, и пустыня с ее горизонтом, открытым небу, словно закатилась. Стал только сухой декорацией или далеким воспоминанием о другой жизни...

Ну, а о продолжении всего этого всем известно. Но деньги не приносят счастья. И «возвращение к чистым истокам» исламской веры стало иллюзорным. Водоворот наживы, замутненной деньгами, захватывал всех вокруг, и

* Un miroir immense et vide — in: Ben Jelloun Tahar. Un pays sur les nerfs. P., 2017, p. 109–114.

жизнь саудитов становилась все сложнее и круче. Дети их становились все толще и толще, а эмиров плодилось все больше и больше, и они уже не знали, что делать со своими деньгами. Тратили их и на свои дворцы, и на разного рода войны. Конечно, некоторые бедуинские традиции еще соблюдались, особенно если речь шла о статусе женщин. Еще отрубали кисти рук у воров, забрасывали камнями неверных жен, а по пятницам на площадях отрубали головы всяким «супостатам»...

Теперь, конечно, далекий образ этих мест, воссозданный арабским историком Ибд Халдуном (1332–1406), тот образ людей пустыни, который сопряжен с характеристикой «чистоты их духа и тела», в отличие от образа обитателей гор и долин, живущих «в изобилии» плодов земли, остался в прошлом.

Хотя пустыня по-прежнему неподвижна, словно не тронулась с места. Лишь исполнилась непристойностью экстравагантности не знающей предела жизни тех, кого захватила власть денег. А ведь это случилось именно там, где, казалось бы, сама земля призывала к аскезе, молчанию, тишине...

Даже Лоуренс Аравийский не мог изменить этих врожденных черт бедуинов...

Пустыня — Пространство, конечно, завораживающее. Но это не пустая бездна, на краю которой можно «опьянеть» и потерять рассудок. Здесь теперь раскинулись города, жители которых сходят с ума от денег и ищут свое забвение именно так. Возможно, это сочетание не только сложно, но и напряженно. Пустыня стала теперь понятием многозначным, сопряженным и с легендами, и мифами, и реальностью. Она, как зеркало — огромна. Вмести в себя и историю, и современность. Но, как и зеркало, пуста. Здесь просто сцена, где поочередно мелькают и тени прошлого, и плетутся невероятные интриги настоящего. Эзекиил, еще в VI в. до н.э. писал в своем пророчестве Египту: «И будет он

бесплодной пустыней, куда не ступят ни нога человека, ни лапа зверя. И разрушу я и его города, и руины их руин»...

Этот гнев сделал из пустыни символ враждебного человеку места, пространства безжизнья, пустоты. Это видение пустыни сохраняется и до сих пор, становясь чем-то и загадочным, и чуждым. Для некоторых пустыня означает самое худшее, что может быть. Сегодня бесконечные войны между суннитами и шиитами рискуют дополнить пророчество Эзекиила.

У арабов сегодня видение пустыни такое же, как и на Западе. Они больше не живут миражами и фантазмами, рожденными песками пустыни. Она больше не пространство ни отдыха, ни поисков оазисов, не медитации. С тех пор, как здесь были обнаружены месторождения нефти, арабы считают, что обрели сокровище, запасы которого — неиссякаемы. А оно, это сокровище, на самом деле парадоксально не прекращает только наносить и отяжелять проблемы арабо-исламского мира. Многие думали и полагали, что капиталы стран Залива помогут Палестине вернуть оккупированные территории, но Саудовская Аравия предпочла вложить деньги в бесполезную войну в Йемене. Катар предпочел вложить свои капиталы в банки Запада, скупая там дворцы, исторические места с музеями, футбольные команды, игроков и продолжая эксплуатировать у себя дома наемных рабочих-иммигрантов как своих рабов в былые времена...

А пустыня, называемая Сахарой, разделяя Магриб и черную Африку, кажется более человеческой, — возможно потому, что еще не залита, как Аравийская, нефтью, которую именуют «черным золотом». В Сахаре еще можно передвигаться, как в сказках «1001 ночи». Там еще пешком по пескам идут с юга на север те африканцы, которые мечтают дойти до моря и переправиться через Гибралтар в Европу. Теперь Пустыня даже стала просто «переходом», дорогой в добровольную «западную ссылку». А значит — и

путем навстречу смерти. К Пустыне жизни теперь поворачиваются спиной, пытаясь где-то на берегах, вдали, за морем различать горизонты своих миражей и мечтаний... Но новая Пустыня их не дарует...

Когда-то один из писателей, знавший пустыню «наизусть», отметил в своем дневнике: «Пустыня — это что-то прекрасное, что никогда не лжет, что всегда — чисто... И если отправляться в пустыню, то ее надо уважать. Это облегчит вашу жизнь»¹.

¹ А Сент-Экзюпери добавил бы: «В ней непременно отыщется оазис» (С. П.).

Произведения Тахара Бенджеллуна

- Ben Jelloun T. Hommes sous linceul de silence. Casablanca, 1971.
- Ben Jelloun T. Cicatrices du soleil. P., 1972.
- Ben Jelloun T. Harrouda. P., 1973.
- Ben Jelloun T. Les amandiers sont morts de leurs blessures. P., 1976.
- Ben Jelloun T. La réclusion solitaire. P., 1976.
- Ben Jelloun T. Moha le fou, Moha le sage. P., 1978.
- Ben Jelloun T. La prière de l'absent. P., 1981.
- Ben Jelloun T. L'écrivain public. P., 1983.
- Ben Jelloun T. L'enfant de sable. P., 1985.
- Ben Jelloun T. La nuit sacrée. P., 1987.
- Ben Jelloun T. Le jour du silence à Tanger. P., 1989.
- Ben Jelloun T. Les yeux baissés. P., 1991.
- Ben Jelloun T. L'ange aveugle. P., 1992.
- Ben Jelloun T. L'homme rompu. P., 1994.
- Ben Jelloun T. Le premier amour est toujours le dernier. P. 1995.
- Ben Jelloun T. La nuit de l'erreur. P., 1997.
- Ben Jelloun T. L'auberge des pauvres. P., 1999.
- Ben Jelloun T. Les raisins de la galère. P., 1997.
- Ben Jelloun T. Cette aveuglante absence de la lumière. P., 2001.
- Ben Jelloun T. Partir! P., 2006.
- Ben Jelloun T. Au pays. P., 2009.
- Ben Jelloun T. Tout sur ma mère. P., 2009.
- Ben Jelloun T. La Rivoluzione dei gelsomini. Milano, 2011.
- Ben Jelloun T. Par le feu. P., 2011.
- Ben Jelloun T. Islam, expliqué aux enfants. P., 2002, 2012.

Ben Jelloun T. Le bonheur conjugal. P., 2012.

Ben Jelloun T. La mariage de plaisir. P., 2016.

Ben Jelloun T. Un pays sur les nerfs. P., 2017.

Ben Jelloun T. Romans. P., Ed. Gallimard, 2017, 1312 pages + 49 documents.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тахар Бенджеллун — писатель, живущий на том счастливом «пограничье», где понятие Свободы сопряжено с возможностью *равножия* и на Родине, и на чужбине. При одном условии: повсюду работать и писать во имя Человека своей страны, его Свободы, его Счастья. А счастье это художник видит в ощущении, обретении или восстановлении «корней», связывающих людей со своей родной Землей, с ее историей, с ее настоящим, с ее будущим. В стихах и прозе марокканца Тахара Бенджеллуна «шрамы памяти» о прошлом Родины или об утраченной сегодня Человеком Отчизне горят и кровоточат во имя воссоединения его с той единственным Землей, где человек, ощущая свою к ней кровную принадлежность, считая себя ее Сыном, может полагать себя и ее Хозяином, творцом ее настоящей и будущей жизни, ответственным за ее и за свою судьбу. Во имя этой Земли, возрождающейся из мрака, восходящей к Свету, обретающей путь к свободе, и создает Бенджеллун свои книги. Его Отчизна — с ним всегда. Он только свершает свою Молитву об ее завтрашнем, но обязательно счастливым дне.

Conclusion. Tahar Ben Jelloun - un écrivain qui vit dans une espèce d'heureux «espace-frontière» où le concept de Liberté est associé à la possibilité de vivre tant au pays natal qu'à l'étranger. À une condition près: partout travailler et écrire au nom du Compatriote, de sa Liberté, de son Bonheur. Un bonheur que l'artiste perçoit dans le sensation, l'acquisition ou la restauration de racines qui relient les gens à leur terre natale, à leur histoire, à leur présent, à leur avenir. Dans les vers et dans la prose du marocain Tahar Ben Jelloun, les «cicatrices de la

mémoire» du passé, de la Patrie, ou de la Patrie aujourd'hui perdue, brûlent et saignent au nom de la réunification de l'Homme avec cette seule Terre où, en vertu de liens de sang avec elle, et en se considérant comme son Fils, il peut se considérer comme son Maître, comme créateur de sa propre vie, présente et future, et responsable soit de cette Terre que de son propre destin. C'est au nom de cette Terre ressuscitée des ténèbres, montant vers la Lumière, trouvant le chemin de la Liberté, que Ben Jelloun crée ses livres. Sa Patrie est toujours avec lui. Il ne fait que prier pour son lendemain, un lendemain néanmoins nécessairement heureux.

Conclusion. Tahar Ben Jelloun - a writer who exists in a kind of happy frontier, where the concept of Freedom is associated with the possibility of living both at home and abroad. With one condition: to work and write everywhere for the compatriot, his liberty, his happiness. It is happiness attained through the restoration of roots connecting people to their Motherland, to their history, to their present, and to their future. In the verses and prose of Tahar Ben Jelloun, a native Moroccan, the so-called burning scars of the memory - a memory of the past, of the Fatherland, or of a lost Motherland - are an image of a denied reunification of the Man with such a unique Land. A Land where, by blood ties, and considering himself as the Land's Son, he can consider himself as a Land's Master, a Master responsible of his own life, and of the Land's destiny. It is in the name of this ideal Land - a Land resurrected from darkness, ascending towards Light, finding the path to Freedom - that Ben Jelloun writes his books. His Homeland is always with him. All he does is pray for its tomorrow, a tomorrow nevertheless, and necessarily, a happy one.



Светлана Викторовна Прожогина — главный научный сотрудник ИВ РАН, доктор филологических наук, член Союза писателей РФ (Золотая медаль за служение отечественной словесности), окончила с отличием романо-германское отделение филфака МГУ им. М.В. Ломоносова в 1961 г. На 4-м курсе стажировалась в Сорбонне. В 1967 г. защитила кандидатскую диссертацию в заочной аспирантуре МГУ. С 1962 по 1976 г. работала в странах Северной Африки и Италии.

В 1976 г. поступила в ИВ РАН. В Отделе сравнительного культуроведения — с 2004 г. В 1981 г. защитила в ИВ РАН докторскую диссертацию «Типология развития франкоязычных литератур в странах Магриба». Диплом доктора наук по специальности «Литература зарубежных стран Азии и Африки». Имеет диплом профессора, выданный ВАК. Автор концепции национальных литературных систем и междисциплинарных общностей в поликультурных странах Востока и Африки. В отечественной ориенталистике впервые разработала системный анализ литературы восточной диаспоры на Западе (североафриканцы во Франции). Подготовила 16 кандидатов филологических наук по специальностям «Теории и истории современных литера-

тур стран Азии и Африки». Сегодня среди них — крупные ученые во многих регионах мира.

В Париже в 1997 г. впервые в истории литературоведения была издана книга, составленная С.В. Прождиной совместно с учеными из ИМЛИ «Русский взгляд на литературную франкофонию». Первые работы С.В. Прождиной появились еще на исходе 1960-х гг. За годы работы в ИВ РАН ею написаны многочисленные статьи и монографии, среди которых в последнее десятилетие изданы «Алжирская сюита» (2014), «Марокканский ноктюрн» (2015), «Тунисская элегия» (2016), «Магрибинки рассказывают...» (2019), «Время не жить и Время не умирать» (2021) и др.

Под руководством С.В. Прождиной была издана трехтомная «История национальных литератур стран Магриба (Алжир, Марокко, Тунис» (колл. авторов, 1993), а также собрана Антология берберской словесности (Риф, Кабилия, Туареги) (2001–2004). Написаны разделы, предисловия, произведено ответственное редактирование многочисленных коллективных трудов в ИВ РАН, ИМЛИ, Институте Африки РАН, а также статьи для коллективных трудов других академических институтов. Опубликованы многочисленные переводы писателей-магрибинцев на русский язык.

Награждена Медалью Кембриджа за научные достижения XX века.

С. В. Прождина принимала активное участие, выступая с докладами на международных конференциях и конгрессах востоковедов и африканистов в Москве, Казани, Дели, Монреале, Праге, Братиславе, Александрии. Ее книги переведены на французский, португальский и арабский языки. Находятся в библиотеках России, Франции, Магриба, в библиотеке Александрии и Конгресса США.

Для заметок

Для заметок

Светлана Викторовна ПРОЖОГИНА

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЗЯТИЕ СЛОВА

(о творчестве марокканца Тахара Бенджеллуна)

*Работа выполнена в Отделе сравнительного
культуроведения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт востоковедения
Российской Академии наук.*

Компьютерный набор - З.А. Исаева, Н.В. Прожогина
Оформление и оригинал-макет - В.С. Булатов

Подписано к печати - 27.10. 2021 г.

На обложке - литография 1848 г. выступление Шандора Пётефи.
На обороте - фото писателя Тахара Бенджеллуна 2021г.

Отпечатано в ООО «Белый ветер»
Заказ №5341 Тираж 500 экз.